Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского

Материалы
Международной
научной
конференции

ПОСОЛЬСТВО ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОМ ЮРГИСА БАЛТРУШАЙТИСА

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО

Материалы международной научной конференции

МОСКВА 2006

http://www.bibliorossica.com

ББК 63.3(4)
Э 91

Редколлегия:
Ю. Будрайтис, М. В. Завьялова, Е. Л. Назарова

Этнокультурые и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского. Материалы международной научной конференции. – М.: Новое издательство, 2006. – 224 с.

ISBN 5 98379-075-7

Настоящий сборник содержит материалы Международной конференции «Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского», состоявшейся 25–27 апреля в Посольстве Литовской Республики в Российской Федерации, в Доме Юргиса Балтрушайтиса. В организации конференции принимали участие фонд «Сотворение мира», Комиссия по изучению художественного творчества при Научном Совете по истории мировой культуры РАН, Центр русской культуры (Вильнюс), Институт славяноведения РАН, Институт всеобщей истории РАН.

ISBN 5 98379-075-7 ©Дом Юргиса Балтрушайтиса, 2006

http://www.bibliorossica.com

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

А.В. Липатов (Москва)
Великое княжество Литовское: исторический феномен симбиоза этнических культур (К вопросу о национальных путях возвращения в наднациональную Европу) 6

Т.Ф. Милова, С.А. Подокшин (Минск)
Становление либеральных ценностей в социально-политической и правовой мысли Великого княжества Литовского 20

А.Б. Закшевский (Варшава). Великое княжество Литовское в XIV–XVIII вв. Своеобразие права и государственного строя 25

С. Carpini (Palermo)
Contra Gentem Potentem et Durissime Cervicis: the image of Lithuania and its people through myth, propaganda and cultural models 37

Ю. Кяупене (Вильнюс)
Двор Великого княжества Литовского в XV–XVI вв. — пространство взаимодействия культур 44

М. Сирутавичюс (Каунас)
Проблема военнопленных в дипломатических отношениях между Великим княжеством Литовским и Московским государством в первой половине XVI века 53

А. Дубонис (Вильнюс)
Потребность в литовском языке и масштабы его использования в конце XV в. и в первой половине XVI в. в Великом княжестве Литовском 65

С. Каралюнас (Вильнюс)
К проблеме происхождения названия *Lietuvà* ‘Литва’ 77

P.U. Dini (Pisa)
A lesser known Variant (the Valachian Connection) and its Place within the Renaissance Theory of the Roman Origin of Lithuanian 87

Д. Разаускас (Вильнюс).
Сомнения в заимствовании лит. *miẽstas* ‘город’ из славянского 102

М. Мозер (Вена).
О «простой мове» 112

http://www.imwerden.info/russica.com

В. Мякишев (Краков).
Неизвестные страницы мамоничевской первопечати
в Литовском Статуте 1588 года 131

Л.Л. Щавинская (Москва).
Отображение языковой и культурной полифонии
Великого княжества Литовского в крупнейшем собрании его
документальных памятников: первые годы существования
Виленского Центрального архива древних актовых книг 147

Е. Целунова (Прага).
О языке Апокрисиса Христофора Филалета
(на материале «произвольников») 154

А. Золтан (Будапешт).
О технике перевода с польского на старобелорусский в XVI в.
(на материале «Историы о Атыли короли угорском») 165

С. Темчин (Вильнюс).
О бытовании древнеболгарского Супрасльского сборника
в Великом княжестве Литовском в XV–XVI вв. 175

Е.В. Русина (Киев).
К характеристике канцелярии Великого княжества Литовского
на рубеже XV–XVI вв.: литературная деятельность
писаря Василия Никольского 190

А. Пажерайте (Вильнюс).
Диспуты Иудеев (караимов) и христиан в Великом княжестве
Литовском: Исаак Трокский (из Тракай) 199

Г. Поташенко (Вильнюс).
Русские старообрядцы в Великом княжестве Литовском:
становление древлеправославной традиции 214

http://www.bibliorossica.com

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Редактор Мария Завьялова
Верстка Полина Иванова
Производство Семен Дымант

Новое издательство
103009, Москва
Брюсов переулок, дом 8/10, строение 2
Телефон 229 6493
e-mail: info@novizdat.ru

Подписано в печать 30.10.2006
Формат 60х90 1/16
Гарнитура Times
Объем 14,0 условных печатных листа
Бумага офсетная
Печать офсетная
Тираж 500 экз.
Заказ №

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии «Момент»
Химки, улица Нахимова, дом 2

http://www.bibliorossica.com

Великое княжество Литовское: исторический феномен симбиоза этнических культур (К вопросу о национальных путях возвращения в наднациональную Европу)

А.В. Липатов (Москва)

Последнее десятилетие XX в. в той части Европы, которая оказалась насильственно от нее отгороженной, ознаменовалось возобладавшим стремлением к возвращению в общецивилизационное пространство. В начале XX в. эта вышедшая из глубин национально пережитого стихия обретает характер мировоззренчески, социально и экономически осмысливаемого процесса, реализуемого в практике политического класса теперь уже независимых государств.

Освобождаясь от схем, стереотипов и мифологем утопии, созданной в кабинетной тиши прекраснодушными идеалистами и затем варварски воплощенной в жизнь их фанатическими учениками, а одновременно переосмысливая и преодолевая идеологические концепции и национально-государственные доктрины, которые спровоцировали возникновение и распространение сил, разрушающих общецивилизационные ценности и взаимосвязанные с ними национальные культуры, политические и интеллектуальные элиты обращаются к истории и традиции своих государств и народов.

Такой поворот естественен и закономерен не только как ответная реакция на лишенную исторических корней, искусственно созданную, конструктивистскую идею мироустройства, но и как поиск своего – национального – ответа на выход из исторического тупика и выбор своего пути возвращения в Европу. Тем самым обретение своего в ней места взаимосвязано с достижением такого уровня самосознания, когда ценности универсальные и национальные предстают в свете их диалектического единства, а не в ракурсе их дихотомии.

Выработка такого самосознания осуществима только на пути осмысления своей истории как локальной составляющей системы общеевропей-

ской цивилизации. Это открывает перспективу познания позитивных и негативных факторов, предопределивших соответственно процессы и явления гравитации и конфронтации – диалектического единства и дихотомии – в национальном самоопределении, менталитете и в самих отношениях своего народа с соседями по общей цивилизации на протяжении «времени большой длительности»[1]. Такое рациональное (а тем самым – критичное) осмысление истории своего народа в общецивилизационном контексте способствует органичной актуализации позитивных идей и конкретных обретений своего собственного прошлого (в отличие от конструктивистской «трансплантации» концепций внеисторичных, а поэтому чужих для этноса и чуждых исконным ценностям цивилизации, частью которой он является).

Симбиоз наций, религиозная толерантность, демократическая система государства и права, культурная открытость – ценности, олицетворяющие вызов нынешней Объединенной Европы и являющие собой фундамент общеевропейского дома, – имеют глубокие исторические корни и цивилизационно давние исторические традиции. Обретая решающий удельный вес после двух мировых войн и социальных потрясений XX в., они создают реальную систему организации межнационального бытия, противостоящего ксенофобии, религиозной нетерпимости, социальному бесправию и экономической отсталости. Тем самым цивилизация достигла той стадии своей истории, когда давшие ей начало идеи и изначально свойственные ей ценности обретают практическую реализацию благодаря совместным усилиям составляющих ее наций.

Двухтысячелетний «разрыв» между аксиологической завершенностью идеи и практической полнотой ее осуществления естественен и закономерен, ибо история самой цивилизации реализуется не только посредством эволюции, но и инволюции, не только путем уяснения и развития уже созданного, но и через его забвение, а тем самым – смену ориентиров движения во времени и самого вектора этого движения. Позднее под воздействием историко-культурых обстоятельств, способствующих осознанию неизбежного приближения исторического тупика, происходит новое открытие некогда уже обретенного. Это пробуждает «воспоминание» о нем и его использование применительно к современности путем включения в национальное мышление в качестве своей исконной традиции как действенного обоснования очередной смены ориентиров и самого вектора «национальной идеи».

Та или иная исконная традиция «оживляется», когда возникает потребность преодоления другой исконной традиции, которая в изменившихся условиях становится препятствием для развития национального

[1] Термин Школы «Анналов», по сути своей близкий тому научному мышлению, которое оперирует понятием процесса.

бытия. В этом процессе актуализаций тех или иных позитивов национального прошлого особая роль принадлежит историкам, ибо для политического класса история, увы, далеко не всегда «учительница жизни». Широкое распространение современных представлений об исторически минувшем способствует формированию современного мышления нации и осознанию ею себя в современном мире.

В трудном освобождении Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы от балласта тоталитаризма и значительно более давнего наследия ксенофобии, шовинизма, антисемитизма, религиозной нетерпимости особый интерес представляет исторический опыт Великого княжества Литовского. Он привлекает внимание как своими свершениями в области государственного устройства, права, политики, культуры, так и тем, что он значил не только для титульной нации, но и для других народов, с которыми свела литовцев история, а в первую очередь – белорусов, украинцев, русских, евреев, немцев, татар, караимов, армян, составляющих народонаселение Великого княжества Литовского.

Своеобразие формирования литовской государственности и взаимосвязанных с нею правовых и культурных представлений того народа Европы, который последним расставался со своим языческим укладом Средневековья, обусловливалось геополитической спецификой занимаемого им географического пространства. В этой части континента соприкасались, взаимонакладывались и взаимодействовали Pax Orthodoxa и Pax Latina – два круга культуры внутренне дифференцированной целостности христианской цивилизации, в которых аксиологически общие ценности по мере своего усвоения и развития в границах отдельных государственных объединений разных этносов обретали локальный колорит.

Литва особенно тесно соприкасалась прежде всего с двумя славянскими вариантами усвоения и развития цивилизационных эталонов – польским (как составляющим Pax Latina) и восточнославянским (как составляющим Pax Orthodoxa). Первоначально в культурно-политическом плане значимая для Литвы (с XIII в.) была и романо-германская составляющая Pax Latina в лице орденов меченосцев и крестоносцев, а позднее Герцогства Пруссия. Включение восточнославянских земель в состав литовского государства имело обустороннее историческое значение: это оградило часть Древней Руси от тех последствий, которые были связаны с монголо-татарским нашествием, создало предпосылки и обеспечило условия для формирования украинской и белорусской народностей, дальнейшего (после монголо-татарского разорения) развития их культур; сама же уже сложившаяся на христианской основе восточнославянская культура стала составляющей литовской государственности (язык великокняжеской канцелярии, административно-правовые концепции и установления). Тем самым восточное христианство в его украинско-белорусском варианте стало внутренним фактором государственной и культурной жизни литов-

ской политической элиты. Его внешней и усиливающей удельный вес составляющей были династические, политические и персональные (служилые князья) связи Литвы с Московским государством (а также Псковом и Новгородом до их завоевания Москвой). Однако с точки зрения культуры политической и государственно-правовой внутренние и внешние восточнославянские составляющие литовской ориентации не были взаимодополняющими. Pax Slavia Orthodoxa постепенно – на протяжении Средневековья – дифференцировалась внутренне.

Юго-Западная Русь в составе Великого княжества Литовского сохраняла правовые традиции Древнерусского государства, тогда как Московия в составе Золотой Орды усвоила многое из того, что было свойственно созданной Чингисханом державе – ее системе власти, стилю правления, характеру отношений и менталитету политической элиты, – равно как и особенности понимания права и самого характера правосознания[2]. Поэтому-то российская самодержавная монархия была, по словам А. Хомякова (1804–1860), государством безгосударственного народа, а сословная структура в России до XVIII в. не имела юридического оформления, тогда как в Литовском государстве сословный порядок и права обрели юридическую основу и периодически конкретизировались уже в статутах ренессансного XVI века. Это было следствием как восприятия и последующего применительно к местным условиям развития культуры древнерусских земель в составе Великого княжества Литовского[3], так и политического выбора элиты власти между привлекавшим ее внимание московским опытом подчинения различных территорий путем создания предельно централизованной – жесткой и жестокой – великокняжеской власти, с одной стороны, а с другой – сохранившимся домонгольским опытом украинско-белорусских земель внутри страны, а вне ее – особенно привлекательной для литовско-украинско-белорусского дворянства современной системой шляхетской демократии в Польше. Оборотной стороной московского типа правления было подавление личности, полное исключение плюрализма в общественно-политической и духовной жизни, строжайшие ограничения в культуре, вследствие чего государство, по словам нашедшего убежище в Литве князя Андрея Курбского, было затворено «аки во ади твердыни» (Переписка 1979, 110).

Иную картину представляло собой Великое княжество Литовское. Оно исторически складывалось как этнокультурный симбиоз разных народов, каждый из которых имел юридически закрепленную гарантию автономности своего традиционного бытия в рамках единой и общей для них конфессионально толерантной государственности. Украинско-белорусские земли сохраняли свой административно-правовой статус и

[2] См. Гумилев 1992; Вернадский 1997; Трубецкой 1999; Похлебкин 2001; Хара-Даван 2002.

[3] Samsonowicz 1971; Батура, Пашуто 1977; Бычкова 1996; Wisner 1999.

княжеские династии со времен Древней Руси. Народы, приглашенные великими князьями литовскими в целях развития городов, экономики, торговли, ремесел (немцы, караимы), селились на основе магдебургского права. Татары за несение воинских обязанностей и за службу в великокняжеской канцелярии получали земельные наделы. В рамках конфессионально-культурной автономии они имели свои (независимые от государства) контакты с Золотой Ордой, а позднее с Крымом. Спасавшиеся от гонений на Западе евреи имели свою структуру самоуправления (низший орган – кагал; далее – земства или провинции, в которых созывались сеймики). Крестившиеся евреи переходили в шляхетское сословие.

Симбиозу этническому в Литве соответствовал симбиоз конфессиональный.

Все это имело прочную правовую основу. Причем уже в позднесредневековой Литве законные права сословия порой препятствовали выполнению указов, принятых под воздействием католической Церкви. Так, вследствие расширения прав шляхты (1425, 1430, 1433 гг.) практически невыполнимым оказался эдикт, предписывающий карать еретиков (Tazbir 1967, 61–62). В период ренессансного расцвета общественно-правовой мысли, науки и культуры XVI в. было законодательно закреплено равноправие всех христианских конфессий. Все это – следствия специфики вхождения Литовского государства в Европу, и своеобразия самих путей этого вхождения.

Приобщение Литвы к христианству постепенно подготавливалось изнутри (украинско-белорусский фактор и его роль в государственной культуре), а поэтому вхождение литовской элиты в круг новой культуры было достаточно длительным и эволюционным, что снижало саму возможность эксцессов. В этом отношении симптоматична политика принявшего католичество Витовта. Как отмечает Т. Трайдос, «прагматизм Витовта не являл собой эклектику отсутствовавшей концепции; он постоянно поддерживал католичество на землях, где существовали возможности поддержки, а в то же время терпеливо выжидал там, где таких возможностей не видел» (Trajdos 1982, 37).

Выбор латинского варианта христианства (1387 г.) отражал культурный уровень литовской элиты, прозорливое осознание ею того непреложного факта, что с ослаблением Византии византинизм постепенно утрачивал ту политическую роль и ту культуротворческую динамику, которые были свойственны современному Западу, предопределявшему ближайшее будущее европейской цивилизации. В этом отношении соседние Польша и Московия являли собой два противоположных и достаточно красноречивых примера. Первая – одно из крупнейших государств Европы, обладающее широкими связями в политике, экономике и культуре на всем пространстве латинского мира, известное своим университетом, высокообразованностью государственных и религиозных деятелей, вхождением

шляхты в круг романо-германского рыцарства. Вторая же была связана с Золотой Ордой, а поэтому еще окончательно не сформировалась как вполне самостоятельный государственный организм. В своей политической практике, государственном строительстве, правовых представлениях она приспосабливалась к восточным завоевателям, ориентировалась на их опыт и опиралась на исторически свою традицию византинизма. Изолированная от Запада вследствие конфессионального с ним конфликта, она неизменно была обращена к поработившему ее Востоку. Уже позднее – в следующем столетии – во времена Ивана III Московия как единственное независимое восточнохристианское государство начинает медленно и осторожно поворачиваться к Западу, стремясь войти в европейскую современность. Однако лишь XVII в. станет исходным пунктом последовательного эволюционного приближения к Европе, которое во времена Петра I обретет революционный характер со всеми плюсами и минусами, свойственными такому пути.

В категориях времени большой длительности Литва на века опередила Россию, сделав исторически наиболее перспективный выбор, который предопределил ненасильственную постепенность, а тем самым естественность и непрерывность эволюционного пути вхождения Великого княжества Литовского в Европу. Сам же этот выбор являлся не только следствием ориентации властной элиты на чужой (в данном случае – польский) пример, но и основывался на ее собственном культурно-политическом опыте.

Тип великокняжеского правления в средневековой Литве в силу уже отмеченных внутренних факторов эволюционировал не в сторону самодержавия (как в соседней Московии), а сословной монархии (как в соседней Польше). Это отражает сама структура власти. Сравнение великокняжеской Думы в Московском государстве и панов Рады в Литве показывает, что первая была совещательным центральным органом, состоящим из членов знатных семей, подчиненных великому князю, а вторая – государственным органом, который составляли высшие административные чины государства, представляющие учреждения локального самоуправления, В отличие от Думы Рада наряду с великокняжеской канцелярией была государственным институтом, организующим жизнедеятельность страны и координирующим функционирование локальных центров самоуправления[4]. С привилея (1387 г.) Владислава Ягайлы начинаются ограничения великокняжеской власти.

На протяжении XV – первой половины XVI в. великокняжеский совет превращается в самостоятельный государственный институт, действующий независимо от великого князя. Формируется система центральных

---

[4] Сравнительный анализ Боярской Думы и панов Рады см. в: Малиновский 1903, 1904. См. также: Бычкова 1996.

учреждений типа министерств. Сближение с Польшей в рамках межгосударственного объединения способствовало усвоению польского опыта организации управления отдельными территориями: создаются администрации воевод и кастелянов, местные сеймы порождают всеобщий сейм Великого княжества Литовского. При этом, с точки зрения темпов создания и завершенности системы управления, Литва далеко опередила Польшу (Wisner 1999, 53). Вместе со складывающейся парламентарной системой и модернизирующимся местным самоуправлением развивается правовая мысль и законотворчество, что обретает отражение в трех статутах (изд. 1529, 1566, 1588). Здесь Литва также опережает Польшу. Опыт кодификации польского законодательства – Статут Лаского (1506) – так и не был утвержден сеймом. В итоге, как это ни покажется парадоксальным, поляки, имея в XVI в. правоведов, снискавших европейскую известность (как, например, А. Фрыч Моджевский), не смогли создать то, что стало уделом литовцев: кодифицированное право в форме Статутов.

В условиях такой государственной системы формирование правящего сословия, которое после персональной унии Литвы и Польши (брак Ягайло с Ядвигой) постепенно обретает особые права (начало этому процессу положила Городельская уния 1413 г.), предопределило наряду с социальным (и во взаимосвязи с ним) культурный вектор эволюции духовной жизни Великого княжества Литовского. Соответствующей ему основой в реалиях современной Европы мог стать только латинский выбор. Его следствием было стремительное – в западноевропейском духе – развитие общественное, хозяйственно-экономическое, культурное (школы всех уровней, университет, книгопечатание, театры, сообщества литераторов при магнатских дворах). Одновременно сохраняются собственные государственно-политические традиции, отличные от охваченного религиозными войнами Запада. Существующее прежде равенство в правах католиков и православных подтверждается рядом привилеев XV в. (Любавский 1909, 2-4, 6-8) В следующем столетии толерантность получает дальнейшее развитие во взаимосвязи с аналогичными традициями Польши: свобода совести и равноправие различных христианских конфессий утверждаются актом Варшавской конфедерации (1573 г.).

Люблинская уния (1569 г.) не только завершила почти двухвековой процесс политического, правово-административного, хозяйственно-экономического и культурного сближения двух государств на федеративной основе, но и интенсифицировала дальнейшее общее развитие[5]. При этом Литва до конца существования Речи Посполитой (как стало называться межгосударственное объединение) сохраняло свое суверенное са-

---

[5] В культурном плане это могут символизировать научные и литературные круги, связанные с Вильненским университетом, Полоцкой коллегией, Супрасльским монастырем либо магнатским меценатством.

моуправление, что было предварительно оговорено, юридически закреплено и политически гарантировано самим совместно утвержденным актом федерации. На переговорах по разработке и утверждению правовых основ межгосударственного объединения литовская сторона последовательно и твердо отстаивала принципы политического равенства Литвы с Польшей, противостояла всяческим попыткам инкорпорации и унификации даже самого наименования (одно время польская сторона предлагала назвать Литву – уже как составную часть объединенного государства – «Новой Польшей» наряду с историческими названиями земель «Большой Польши» и «Малой Польши»). Согласованные принципы унии[6], утвержденные сеймами Литвы и Польши, устанавливали равенство двух государств и двух политических наций в общих границах одного объединения (отсюда расхожее определение федерации – «Речь Посполитая Двух Народов»). В правовом отношении объединительным началом были: сообща избираемый монарх, который короновался одновременно как польский король и великий князь литовский; общий сенат; общий сейм, который собирался в Варшаве; общая иностранная политика; общие права польской и литовской шляхты; право приобретения земли поляками в Литве, литовцами в Польше. Сохранялись и признавались равнозначными по отношению к сложившейся в Польше системе такие государственно-правовые особенности Литвы, как прежние центральные учреждения и административное деление, органы самоуправления от локальных сеймиков до генерального сеймика, а также законодательство и судопроизводство, армия и финансы.

В перспективе дальнейшей истории этот союз двух государств при наличии определенных трений и некоторых конфликтов был постоянным и прочным. Встречающаяся порой констатация, что с принятием Конституции 3 мая 1791 г. наступила унификация, в корне не верна. Отсутствие в Конституции пункта о межгосударственном объединении Литвы и Польши было восполнено утвержденным на заседании Сейма актом от 20.X.1791 г.: «Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów» («Взаимная Гарантия Двух Народов»). Этот документ обращается к актам Люблинской унии 1569 г. и подтверждает федеративные принципы государственного устройства Речи Посполитой. Отсюда следует, что Литва как государство не была поглощена Польшей. Более того – в силу правовых основ и реальной политической практики совместного своего с Польшей бытия (ко-

[6] Согласно выводам Ю. Бардаха «окончательная форма польско-литовской унии… была установлена со стороны Польши коронным сенатом и королем, а со стороны Великого княжества Литовского – литовской шляхтой, нажим которой преодолел сопротивление большинства литовских магнатов, а одновременно отбросил максималистские требования депутатов, представляющих движение за исполнение законов (egzekucjoniści)». См. Bardach 1986, 138.

торое продолжалось свыше двухсот лет) она и не могла быть ею поглощена. (Не говоря уже о том, что со стороны Польши не было таких поползновений). Сословно-демократическая государственность Литвы, как и аналогичная государственность Польши были одновременно уничтожены вследствие согласованной политики трех абсолютистских монархий – Австрии, Пруссии и России.

Уния Литвы и Польши обросла обширнейшей научной литературой[7] и до сих пор является объектом дискуссий. Не покушаясь на арбитражность в этом вопросе, остановлюсь лишь на некоторых моментах, свидетельствующих о сохранении Литвой в рамках федерации фактической независимости там, где затрагивались ее собственные государственные интересы.

Так, например, вследствие разногласий с Польшей относительно московской политики Литвы, а также требований, чтобы Польша отказалась от претензий помимо Литвы управлять Ливонией, равно как и в силу разногласий по ряду других вопросов литовская сторона отказалась принять участие в заседании сейма, который был созван 10 декабря 1587 г. в Кракове. В результате король и польская сторона пошли на уступки на заседании сейма в январе следующего года, когда здесь же был утвержден и Третий Литовский Статут[8]. В связи с этим следует отметить, что Постановление 1569 г. о создании общего для Литвы и Польши законодательства так и не было реализовано. Между тем Третий Статут содержал пункт о возвращении Литве земель, завоеванных Москвой и инкорпорированных Польшей в 1569 г. Этим же Статутом в качестве языка государственного делопроизводства был утвержден уже традиционный для Литвы церковнославянский в его белорусском варианте (формально он выступал в такой функции до 1697 г.). Вслед за Вторым Статутом запрещалось как чужим, так и «соседним» (т. е. польским) вооруженным силам пребывать на литовской территории без согласия панов Рады – традиционного для Литвы института государственной власти, который отсутствовал в пунктах унии. В противоречии с люблинскими соглашениями утверждалось предоставление должностей и поместий только исконным жителям Литвы. И также вопреки люблинским актам этот Статут провозглашался как единственный на литовских землях свод законов, все же другие квалифицировались как неправомочные. Более того – в Статуте акты Люблинской унии даже не упомянуты. Тем самым правовую основу обретают и отступления Великого княжества Литовского от закрепленного унией 1569 г. обязательства в проведении общей с Польшей иностранной политики. Примером является заключенный в 1627 г. литовскими сенаторами мирный договор со Швецией, который развязывал руки шведам в их войне против Польши. В период Северной войны (1700–1721 гг.)

---

[7] Из новейших работ, в частности, см. Wisner 1999; Kallas 2001.

[8] Лаппо 1937; Wisner 1999.

Литва будет самостоятельно вести переговоры и заключать соглашения с Россией. Одним из проявлений самостоятельности Литвы, которая в важных для нее обстоятельствах не сковывала себя люблинскими обязательствами, было появление в1580 г. такого государственного института, как Главный Съезд Великого княжества Литовского. Позднее он обрел название вильненского созыва (или сейма), что являло собой своеобразное возрождение традиций существовавшего до Люблинской унии сейма и вступало в противоречие с ее положениями.

Объективное осмысление статуса Литвы в рамках федерации и конкретные примеры масштаба ее государственной самостоятельности тех времен способствуют преодолению возникших во времена романтизма национально ориентированных представлений, которые прогрессировали вплоть до нашего времени, порождая мировоззренческие стереотипы, искажающие прошлое в угоду идеологическим потребностям настоящего.

Эта новая оптика – иное по отношению ко всему минувшему видение истории и культуры своего народа, становящегося позднее нацией, вырабатывая программы единения на сугубо национальной почве и идеи обретения мононациональной государственности, в то же время антагонизировала народы. Исторически позитивный аверс обретал исторически негативный реверс. Это было естественным и логичным следствием мышления, предполагавшего концептуально, а поэтому и создававшего практически образ врага в лице другого народа, на который возлагалась вся ответственность за существующее ныне (т. е. соответственно в XIX–XX вв.) негативное положение вещей. Причем нынешнее – национальное – мышление проецировалось в прошлое, которому был присущ такой тип самоопределения, где государственная принадлежность довлела над принадлежностью этнической и конфессиональной. Отсюда парадоксальность – но только с точки зрения национализма – безоговорочной поддержки Речи Посполитой ее немецким народонаселением в войнах с крестоносцами или же аналогичный государственный (а не этнический) патриотизм православных восточнославянских народов Литвы и Польши в войнах с Московией.

Возникновение обоюдной польско-литовской конфликтности и все обостряющихся антагонизмов, которые привели к череде известных исторических событий XX в., до сих пор отбрасывающих тень на взаимопредставления двух соседних народов, было производным общеевропейского процесса эпохи формирования наций[9]. Это же относится и к украинской, белорусской, еврейской и немецкой составляющим давнего симбиоза этносов.

---

[9] См. Культура и общество 1974; Формирование культур 1977; Национальное возрождение 1978; Формирование наций 1981; Литература 1982; Славянские литературы 1982; Липатов 1993.

Вектор национального мышления породил стереотипы, асинхронно проецирующие анахроничные представления, которые возникли во времена романтизма, на все предшествующее прошлое. Вследствие такой смены мировоззренческой оптики вся история предстает в обратной перспективе национализмов и порожденных ими политических конфликтов XIX–XX вв. События, факты и люди исторически, культурологически и ментально совершенно иных времен, которым свойственны совершенно иные типы мышления и иные особенности отношений, рассматриваются в перспективе современности уже не своей, а своих далеких потомков. Настоящее этих далеких потомков «опрокидывается» в настоящее их далеких предков. Национальная идеология в призме своих догматов и потребностей преломляет подлинную конкретность истории, создавая уже свою – виртуальную – реальность, которая деформирует представления о прошлом, конструируя настоящее и планируя будущее. Поэтому-то идеалистичность познания сменяется идеологичностью прагматики, а бескорыстное осознание правды истории вытесняется целенаправленностью социотехнического воздействия на общественную память[10] в целях практического решения идейных программ.

Так на очередном витке истории происходит «забывание» прошлого исторического опыта, чтобы позднее – на ином витке – заново открывать то, что некогда уже было постигнуто и реализовано, хотя и в иных условиях, да и в ином масштабе.

Сейчас – когда пришли времена строительства общеевропейского дома – может быть, пришла и пора современного осознания опыта давней литовской государственности, который может оказаться небесполезным по крайней мере в той части континента, которая выходит из реальных развалин тоталитарной утопии.

Государственно-правовая система Великого княжества Литовского обусловливала, поддерживала и закрепляла двуединость процесса взаимоотношений и предопределяемых ими взаимопредставлений разных народов, проживающих на общей для них территории. Межэтническая интеграция и этническая дифференциация являли собой составляющие формирования общего сознания государственной принадлежности, общих по отношению к государству обязанностей, а тем самым предопределяли формирование общей (разноэтничной) политической нации.

Система соотношений этих составляющих – межэтнической интеграции и этнической дифференциации – представляла собой гармонично уравновешенное целое. А это означало не только внутриполитическую стабильность многоэтничного государства, которая гарантировала существование разных этнических культур, но и их взаимодействие. (Знаменательный факт: испытав как межнациональные, так и внутринациональные

[10] Об этой категории см.: Memory 1989; Fentress, Wichham 1992; Baczko 1994; Szacka 1995.

трения вследствие конфессиональных конфликтов во времена Реформации, Контрреформации и Брестской унии, Великое княжество Литовское за всю свою историю – в отличие от других государств Европы – не знало ни религиозных войн, ни национальных восстаний).

Уничтожение польско-литовской федеративной государственности пагубно отразилось на присущем ей этнокультурном симбиозе. Общее пространство исторического бытия разных этносов было разорвано границами трех государств, разделено различными правовыми системами и политическими установлениями.

Следующим же фактором теперь уже глобальной – общеевропейской – деформации предшествующих культурно-исторических традиций сосуществования разноэтничного народонаселения стали локальные отзвуки и специфические воздействия всеевропейской эпохи национализмов. К ее плюсам следует отнести дальнейшую эволюцию отдельных этнических культур на основе формирования и развития теперь уже национального самосознания, что в начальном периоде следующего столетия привело к обретению собственной государственности поляками и литовцами, а в периоде заключительном – украинцами и белорусами. К ее минусам – оборотной стороне этого процесса – относится разрушение самих условий и устоев межэтнического симбиоза сперва на пути национального самоопределения (неизбежной «теневой» составляющей которого явилась все нарастающая ксенофобия), потом – усилий по созданию государства на основе мононациональной – в отличие от литовской исторической традиции – идеологии. Следствием этого уже в рамках так понимаемой своей собственной государственности было обострение антагонизмов титульной нации со своими историческими согражданами других национальностей. Так давний двуединый процесс межэтнической интеграции и этнической дифференциации распадается на свои составляющие, утрачивая системное единство. Центростремительные силы, свойственные общегосударственному сознанию межэтнической интеграции, сменяются силами центробежными, порожденными такой дифференциацией, которая обрела уже иное (в отличие от этнического) – национальное – качество.

Негативные, а нередко и трагические последствия этого процесса хорошо известны. Они до сих пор отбрасывают тень не только на национальные взаимопредставления и взаимоотношения разных народов в культурно-историческом пространстве бывшего Польско-Литовского государства, но и на имидж титульных наций нынешних Литвы и Польши в современном мире.

Изжить предубеждения, возникшие на протяжении XIX–XX вв., и залечить раны свойственного этим векам национального прошлого поможет не только то современное мышление, которое ведет к созданию общеевропейского дома, но и традиции своей собственной – исторически первой – государственности. Искаженная безгосударственным прошлым, дефор-

мированная бытием некогда титульной нации в границах чужого, поглотившего его государства, эта первая и первичная традиция, очищаемая историками от позднейших идеологических наслоений и узконационалистических искажений, должна быть возвращена нации и войти в ее сознание не только во имя бескорыстной научной правды. Это возвращенное настоящему прошлое будет способствовать такому движению к будущему, в котором национальное и общеевропейское осознаются не в манихейском разделении и аксиологическом противопоставлении своего универсальным ценностям цивилизации, а в диалектическом с ними единстве. Так было во времена симбиоза этнических культур на территориях Литвы и Польши. Наряду с Новгородом федерация этих государств на Востоке Европы при всех своих особенностях являет собой исторически своеобразную параллель государственно-правовому устройству Венеции, Флоренции, Дубровника, Швейцарии и Голландии на ее Западе.

В отличие от империальных опытов объединения народов Европы во времена античности, средневековья, новой и новейшей истории, спустя века, именно республиканско-демократическая система проявилась как наиболее перспективная. И именно она стала исходным пунктом процесса общеевропейского сближения и единения в сфере права, экономики, культуры, чему в сфере интеллектуальной, духовной, политической сопутствует процесс воссоздания того зеркала, отражающего мышление в категориях общей цивилизации, которое было расколото романтизмом на национальные осколки.

Исторический опыт разъединенных наций привел к осознанию необходимости создания наций объединенных. То, что было создано благодаря собственно этническим усилиям прежде, теперь заново переосмысливаемое способствует национальному вхождению в объединяющуюся наднациональную Европу, а одновременно обогащает опыт самой этой Новой Европы, способствуя органичности формирования ее межнациональной общности. Каждый национальный опыт не мыслим вне своего наднационального составляющего – общецивилизационного контекста. Опыт Великого княжества Литовского как синтез этногосударственного «своего» и того универсально-европейского, где встречались, взаимонакладывались и взаимодействовали Pax Orthodoxa u Pax Latina, народы балтские, славянские, романо-германские и ориентальные, где христианство мирно сосуществовало с иудаизмом и исламом – этот уникальный исторический опыт может оказаться небесполезным для нынешней Литвы и привлекательным для современной Европы… Может, если только действительно historia est magistra vitae.

Литература

Батура, Пашуто 1977 – Батура Р.К., Пашуто В.Т. Культура Великого княжества Литовского // Вопросы истории, 1977, № 4.

Бычкова 1996 – Бычкова М.Е. Русское государство и великое княжество Литовское с конца XV в. до 1569 г. Москва, 1996.

Вернадский 1997 – Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь. Москва, 1997.

Гумилев 1992 – Гумилев Л.Н. От Руси к России. Москва, 1992.

Культура и общество 1974 – Культура и общество в эпоху становления наций (Центральная и Юго-Восточная Европа в конце XVIII – 70-х годах XIX в.). Москва, 1974.

Лаппо 1937 – Лаппо И.И. Литовский статут 1588 г. Каунас, 1937.

Липатов 1993 – Липатов А.В. Литература в кругу шляхетской демократии (Позднее Барокко. Просвещение. Предромантизм). Москва, 1993.

Литература 1982 – Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Просвещение. Национальное возрождение. Москва, 1982.

Любавский 1909 – Любавский М.К. К вопросу об ограничении политических прав православных князей, панов и шляхты в Великом княжестве Литовском до Люблинской унии // Сборник статей, посвященных В.О. Ключевскому. Москва, 1909.

Малиновский 1903, 1904 – Малиновский И. Рада Великого княжества Литовского в связи с Боярской думой Древней Руси. Ч.1. Томск, 1903; Ч.2. Томск, 1904.

Национальное возрождение 1978 – Национальное возрождение и формирование славянских языков. Москва, 1978.

Переписка 1979 – Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Ленинград, 1979.

Похлебкин 2001 – Похлебкин В.В. Татары и Русь. Москва, 2001.

Славянские литературы 1987 – Славянские литературы в процессе становления и развития. Москва, 1987.

Трубецкой 1999 – Трубецкой Н. Наследие Чингисхана. Москва, 1999.

Формирование культур 1977 – Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Москва, 1977.

Формирование наций 1981 – Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Москва, 1981.

Хара-Даван 2002 – Хара-Даван Э. Русь монгольская. Москва, 2002.

Baczko 1994 – Baczko B. Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej. Warszawa, 1994.

Bardach 1986 – Bardach J. Związek Polski z Litwą // Polska w epoce Odrodzenia: państwo, społeczeństwo, kultura. Warszawa, 1986.

Fentress, Wichham 1992 – Fentress J., Wichham Ch. Social Memory. Oxford, 1992.

Kallas 2001 – Kallas M. Historia ustroju Polski X–XX w. Wyd. IV zmienione. Warszawa, 2001.

Memory 1989 – Memory: History, Culture and the Mind. Oxford, 1989.

Samsonowicz 1971 – Samsonowicz H. Złota jesień polskiego średniowiecza. Warszawa, 1971.

Szacka 1995 – Szacka B. O pamięci społecznej // Znak, N 5, 1995.

Tazbir 1967 – Tazbir J. Państwo bez stosów. Warszawa, 1967.

Trajdos 1982 – Trajdos T. Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława III Jagielly (1386–1434). Warszawa, 1982. T.1.

Wisner 1999 – Wisner H. Litwa. Dzieje państwa i narodu. Warszawa, 1999.

Предисловие

Настоящий сборник содержит материалы Международной конференции «Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского», состоявшейся 25–27 апреля в Посольстве Литовской Республики в Российской Федерации, в «Доме Юргиса Балтрушайтиса». В организации конференции принимали участие фонд «Сотворение мира», Комиссия по изучению художественного творчества при Научном Совете по истории мировой культуры РАН, Центр русской культуры (Вильнюс), Институт славяноведения РАН, Институт всеобщей истории РАН. Конференция проходила при финансовой поддержке Института Открытое Общество – Россия.

Конференция была второй из цикла, посвященного историческому, культурному и языковому наследию Великого княжества Литовского (первая конференция состоялась в «Доме Юргиса Балтрушайтиса» в декабре 2000 года). Ныне эта территория принадлежит нескольким государствам, однако когда-то она была объединена в единое целое, мультикультурное, мультинациональное и мультиконфессиональное пространство. Изучение исторического опыта этого объединения особенно актуально в наше время, когда перед многими государствами стоят похожие задачи. Отличительной особенностью конференций этого цикла является не только широкая география участников, но и междисциплинарный подход, необходимый для создания наиболее объемного представления о явлениях и фактах, всестороннего изучения проблемы, предполагающей не только диалог представителей разных стран, но и разных научных направлений: истории, филологии, этнологии, культурологии.

Становление либеральных ценностей в социально-политической и правовой мысли Великого княжества Литовского

Т.Ф. Милова, С.А. Подокшин (Минск)

Европейское Возрождение было колыбелью демократических и либеральных ценностей. Их становление было связано с эмансипацией человека, акцентацией в нем собственного духовно-творческого начала, выделением и автономизацией частной жизни. Ренессансный антропоцентризм включал свободу в систему сущностных оснований человека. В трактовке мыслителей эпохи Возрождения свобода впервые приобрела высокий статус, сопоставимый с такими безусловными ценностями, как счастье, достоинство, добродетель, истина, справедливость. Четырьмя веками позже свобода призвана была стать системообразующим началом идеологии, которая получила название либерализма. Компромисс между собственными ориентациями субъекта и интересами других участников социальных процессов представлял собой попытку примирения основных ценностей, связанных с личной свободой: индивидуального достоинства, воплощавшего суверенитет личности, и равенства, означавшего социальное многообразие. Они была востребованы развивающейся концепцией индивидуализма, которая утверждала автономию персональности, неограниченное право личности на свободное производство ценностей, идеалов и на приоритет собственных интересов, провозглашала инициативу, самореализацию сутью всего происходящего в обществе.

Анализируя процесс становления либеральных ценностей в общественной мысли ВКЛ, необходимо иметь в виду специфику его социально-политической и правовой культуры в отличие от культуры Великого княжества Московского, с течением времени превратившегося в Русское национальное государство, а затем и в многонациональную Российскую империю. Киевская Русь оставила после себя политико-правовое наследие в форме двух начал: вечевого и княжеского. Если в Северо-Восточной Руси республиканско-вечевая традиция Новгорода Великого и Пскова

была в итоге подавлена самодержавно-княжеской, то иначе сложилась судьба *вечевого* опыта белорусско-литовских земель, в частности Полоцкого княжества.

Он был аккумулирован и использован в новом, интегрированном государственном образовании – Великом княжестве Литовском, Русском и Жамойтском. Более того, с течением исторического времени опыт этот дополнялся взаимодействием со странами Центральной и Западной Европы, Польшей, изучением и освоением (посредством университетского образования, путешествий, книгопользования) богатейшего философского, политического, правового, теологического, научного наследия античности, Возрождения, Реформации, раннего Просвещения. В конечном счете, политическая система ВКЛ обрела форму конституционной монархии, в которой существенную роль играли представительные органы (сеймики, Сейм), право (привилеи, Статуты 1529, 1566, 1588), выборные суды, городское самоуправление. Таким образом, складывались необходимые предпосылки формирования либеральных ценностей в социально-политической и духовно-культурной практике. Уже великокняжеские привилеи 1432, 1434, 1447 гг. содержали принципиальное положение о том, что ни подозрение, ни донос не являются основанием для обвинения; что шляхтич и мещанин могут быть привлечены к ответственности только через суд, «водлуг права». Это законодательное выражение права на жизнь очень близко к хрестоматийному английскому «Habeas corpus act». Утверждалось, что за преступление человека не отвечают ни его дети, ни жена, ни отец, ни слуги (Иван Грозный, как известно, казнил не только «виновного» боярина, но и уничтожал все его семейство). В этих же привилеях было записано, что «княжаты, рыцары, бояры, шляхтичи» имеют право свободного выезда за границу «для лепшего шчастя набытия». Статутом 1566 г. право свободного выезда за рубеж было распространено на все сословия – фактически это означало фундаментальное признание самостоятельных оснований жизнеустройства любого человека.

С эпохой Возрождения связано начало формирования таких основополагающих либеральных ценностей, как терпимость и ненасилие. Возвышение этих ценностей связано с признанием суверенитета индивидов, активность которых рассматривалась в качестве источника всего существующего в социальной действительности. В основе терпимости лежало признание общности в чем-то существенном, и эта общность позволяла мириться с определенными отличиями – как в мышлении, так и в образе действий, как в религиозной, так и в светской жизни. Огромное воздействие на формирование либерального климата ВКЛ XV–XVI вв. оказали Возрождение и Реформация, которые подняли на щит понятие свободы в различных аспектах: индивидуально-творческом, политическом, правовом, духовном, и, прежде всего, религиозном. В это время и в собственно белорусской, и в собственно литовской культуре формируется идея *на-*

ционально-культурной свободы (развития национальной культуры, отправления богослужения, книгоиздания на родном языке). Своим переводом Библии на весьма близкий к белорусскому язык Франциск Скорина предпринял героическую попытку утверждения не только национально-культурной, но и духовной свободы человека. Позже такого рода попытки предпринимаются и в собственно литовской культуре. В Статуте 1588 г. была помещена знаменитая Варшавская конфедерация, провозглашавшая в ВКЛ равенство всех христианских вероисповеданий – православного, католического, протестантского. В предисловии его автор Лев Сапега выражал удовлетворение и гордость тем, что Статут написан и издан на родном, белорусском языке.

Подобно тому, как свобода является символом ценностей, связанных с самодостаточностью личности, демократия – символ ценностей, относящихся к социальной справедливости и возможности ее реализации в политической жизни общества. В этом ряду – идеи верховенства закона, гражданского равенства, народовластия, разделения властей, защиты прав человека и некоторые другие.

Неоценимый вклад в становление либеральных ценностей на отечественной почве внесли Статуты Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского 1529, 1566, 1588 гг. В них зафиксированы некоторые права и свободы, которые впоследствии стали основополагающими принципами европейского и американского либерализма: право защиты средствами закона и власти жизни, собственности, достоинства, духовной свободы человека, религиозной терпимости.

Система ценностей демократического устройства общества опирается на представление об источнике суверенитета. Идеологи Возрождения признали суверенитет за человеком без всяких предварительных условий. Для них было очевидным, что человек обладает свободой просто потому, что он способен быть самостоятельным. В этих условиях закон оказывался выражением целей и форм деятельности, которые соответствуют воле каждого гражданина. Сущностная связь закона и личного суверенитета соответствует идее верховенства закона, по сути оно утверждает безусловный приоритет всеобщих начал личной свободы по отношению ко всем формам власти, в том числе и государственной. Сочетание его с ценностями равенства перед законом и народовластия обеспечивало полноту возможностей реализации суверенитета отдельного человека.

Либерально-гуманистический характер носили взгляды канцлера ВКЛ, главного редактора Статута 1588 г. Льва Ивановича Сапеги. В предисловиях к статуту он изложил свой социально-политический идеал, который во многом предвосхищал новоевропейские либеральные теории. Судьба народа и общества, утверждал мыслитель, должна зависеть не от воли короля, а *от разумно организованной системы власти, основанной на верховенстве закона.* Достойным человека является общество, в кото-

ром властвует закон, а не единоличная воля. «Великий философ Аристотель, – писал Сапега, – говорил, что общество, которое управляется волей одного человека, напоминает звериную стаю, там же, где господствует закон – правит сам Бог». Власть закона, полагал мыслитель, не есть самоцель, она является лишь средством решения главной социально-этической задачи – защитить жизнь, здоровье, достоинство, собственность каждого и всех. Именно в этом и состоит наша свобода, которою мы гордимся и отличаемся от других христианских народов (по всей вероятности, намек на самодержавную Россию). Сапега цитирует Цицерона: «Естесьмо невольниками прав для того, абысмы вольности уживати могли».

Ведущей задачей демократического устройства общества является защита отдельного человека, его устремлений, мыслей и действий. Именно это составляет главное содержание права как юридической системы. Принципы разделения властей, их выборности и ответственности означают ограничение возможной экспансии власти. Принципы законодательной защиты личности и прав человека запрещают властям покушаться на неприкосновенные области личной и имущественной свободы. В Западной Европе идея прав человека получила системную проработку в трудах английских и французских просветителей. Центральную группу прав в их учениях представляют естественные права на жизнь, свободу и стремление к счастью. Они ничем и никем не создаются, поэтому не могут быть ограничены ни государственной властью, ни законом, но подлежат защите со стороны государства. Ближайшим к этой группе является право собственности. Большая группа социальных прав, таких, как свобода вероисповедания, национального самоопределения, реализуется в индивидуальной деятельности и тоже не может создаваться обществом. В отличие от них, политические, или гражданские, права возникают из отношений гражданина и государства. Их особенности – законодательное происхождение, стремление уравновесить личность и государственную власть в случае их противоречия. Основными политическими правами считаются избирательное право, свобода слова, свобода печати, свобода собраний и объединений, свобода митингов и демонстраций, а также уже упоминавшиеся равенство перед законом и право на справедливый суд.

Социально-политическая и правовая культура ВКЛ не знала понятия «прав человека» в современном смысле слова. В ней существовали понятия «привилеев», «свобод», «вольностей», которые даровались обывателям великокняжеской или королевской властью по феодальному, сословному принципу, в отличие от новоевропейской буржуазной юридической культуры, которая уже ориентировалась на человека-гражданина, независимо от его общественного положения. И, тем не менее, современное понятие «прав человека» исторически и генетически связано с феодально-сословными «привилеями», «свободами», «вольностями». Когда белорусские и литовские (как, впрочем, и английские) феодалы и горожане на

протяжении столетий добивались от власти «привилеев», «свобод», «вольностей», последние, будучи закрепленными в законодательных актах, с течением времени получали статус всеобщности, превращались в политические и правовые требования всех социальных слоев общества и в своем развитии приобретали характер «прав человека».

Этапным в становлении либеральных ценностей на отечественной почве является сочинение Андрея Волана «О политической, или гражданской свободе» (1572), в котором он писал: «Никто из разумных людей не сомневается в том, что свобода больше всего отвечает человеческой природе, ибо никто не рождается рабом… Первый и главный критерий нашей свободы заключается в том, чтобы наша жизнь была свободна от всякого покушения на нее. Далее, чтобы наша собственность и богатство не подвергались какому-либо грабежу и насилию». Естественное право, или «закон природы», по мнению Волана, обязывает а) не пользоваться насилием, но прибегать к правосудию, б) отдавать каждому по достоинству, в) сдерживать страсти, г) заботиться о своем и не посягать на чужое. В понятие свободы и вытекающее из него понятие равенства мыслитель вкладывал преимущественно правовой, юридический, а не социальный смысл. Т.е. он считал свободной такую общественную жизнь, при которой закон и власть гарантируют человеку любого сословия *неприкосновенность личности и частной собственности.*

Гениальным прозрением Волана является его мысль о возможности превращения свободы в свою противоположность. На эту мысль его навела не только платоновская идея, но и усугубляющаяся политическая ситуация в стране, реальная угроза вырождения «шляхецкой свободы» в анархию, которая в конечном счете явилась одной из причин распада Речи Посполитой.

Несколько веков общего для наших народов государственного, социального и культурного развития демонстрируют хорошо обоснованное теоретическое воплощение и многочисленные формы практической реализации ведущих либеральных ценностей: свободы, терпимости, уважения к человеческой личности и защиты прав человека. В работах отечественных социально-политических мыслителей и философов XVI–XVII веков предвосхищены некоторые положения либеральной мысли XVIII и XIX столетий. Такое наследие обязывает нас не только к почтительному уважению, но и к возрождению и развитию плодотворного научно-исследовательского взаимодействия, сохранению и преумножению исторического творения гения белорусского, литовского и польского народов.

http://www.bibliorossica.com

Великое княжество Литовское в XIV–XVIII вв. Своеобразие права и государственного строя

А.Б. Закшевский (Варшава)

Многовековая история Великого княжества Литовского – государства, расположенного на пограничье языков и культур, – это также история заимствования разнообразных элементов права и государственного строя. Хотелось бы показать, как пользовалась ими историческая Литва, создавая своеобразную целостность, отвечавшую ее собственным потребностям, и даже – привлекательную для соседей.

Потребность в новых институтах возникла в результате увеличения территории Великого княжества. В XIII–XIV вв. языческая Литва приступила к захвату западнорусских земель. Литовцы сравнительно быстро подчинили себе огромные территории западной и южной Руси. Территориально разраставшемуся государству были необходимы новые правовые и государственные институты. Прежние институты уже не отвечали потребностям восточноевропейского гиганта.

Литва пользовалась образцами Руси, государства ордена крестоносцев, Польского Королевства (Короны) и Западной Европы. Начало рецепции западнорусских институтов исследователи датируют первой половиной XIV столетия, временем правления Гедимина. Одновременно с русскими или немного позднее, институты заимствовались у соседнего государства ордена крестоносцев (Тевтонского ордена) (Ochmański 1986, 75–78, там же литература). В дальнейшем внимание было обращено к Польскому Королевству. Уния с ним, порой, достаточно свободная или – дважды – расторгавшаяся, привела к тому, что в Великом княжестве Литовском знали и использовали некоторые институты, которые функционировали на территории Королевства. Таким образом, в течение определенного времени Литва заимствовала – параллельно – институты Руси, Ордена, Западной Европы и Польского Королевства. Литература вопроса

указывает также на наличие чешского влияния[1] – однако это требует дальнейших, и притом критических, исследований.

Трудности в оценке происхождения отдельных институтов (как и при исследовании каждой рецепции) заключаются в том, как отличить элементы, возникшие в результате самостоятельного развития, от элементов, привнесенных извне, а также – от элементов, возникших под влиянием иностранных образцов. Лишь иногда можно определить, были ли институты заимствованы прямо или опосредованно. В исследовании заимствований нелегко отделить влияние Византии – через Русь – от того, что привнесли контакты с Западной Европой (Kutrzeba 1914, 33), поскольку иногда форма института скрывала содержание совершенно иного происхождения. Еще Станислав Кутшеба обратил внимание, что в земских привилеях под западной формой встречается *исконно русское* [т. е. – западнорусское] *содержание – остатки рядов* [-договоров] (Kutrzeba 1911, 17).

Не всегда также известно, когда имела место действительная рецепция, а когда – лишь заимствование терминологии, поскольку не всегда заимствованный термин определял в Литве то же самое, что и в стране происхождения. Созданные в 1413 г. Виленское и Трокское воеводства были чем-то совершенно иным, нежели такие же административные единицы в Короне – хотя они также вели свое начало с территорий давних княжеств (Pietkiewicz 1995, 49–53). Литовские *воевода – староста – маршалек* тогда имели мало общего со своими эквивалентами в Короне (см.: Wojtkowiak 1980, 31–37). Освальд Бальцер отмечал, что литовский *боярин путный* (т. е. слуга, уже не принадлежавший к шляхетскому сословию) определялся в латинском формуляре 1599 года как *scartabellus* (Balzer 1911, 41–44), а значит – в Короне – как худший, неполный шляхтич.

Активную дискуссию вызывает по сей день проблема тевтонского происхождения некоторых видов дани (*дзякла*) и хозяйственных единиц (*службы*) (Jurkiewicz 1991, 30 и далее, 52 и далее); также не решен вопрос о том, возник ли великокняжеский совет в Литве на местной основе или же в результате польского влияния (Korczak 2000, 145–147).

Заимствованные у Короны институты отнюдь не всегда имели польское происхождение. Магдебургское право, заимствованное в 1387 г. городом Вильно, основывалось на практике Кракова; полученное в 1408 г. городом Брестом – на практике Люблина. Проведенная же землемерами Короны в середине XVI столетия *волочная помера* была в действительности (если речь идет о форме села и стабильности повинностей) литовским вариантом колонизации села по немецкому праву.

По отношению к иностранным образцам литовцы проявляли определенную сдержанность. Об этом свидетельствует приведенное хронистом

[1] Одна из последних работ: Nepirožnia 1998, 24–37, там же литература.

XVI века, апологетом литовской истории Матвеем Стрыйковским пожелание, сделанное в 1492 г. Александру Ягеллончику во время вступления на великокняжеский престол. Земский маршалек Петр Янович Монтыгердович призвал тогда господаря, чтобы он правил «не по итальянскому обычаю, который является лицемерным, и не по чешскому или по немецкому, а по настоящему литовскому и Витольдову примеру» (Stryjkowski 1846, 294)[2]. Следует заметить, что тот *Витольдов обычай* включал в себя немало заимствованных элементов, которые со временем так вросли в государственный строй и общественную жизнь исторической Литвы, что их считали истинно литовскими институтами, поскольку Витольд, так же как и его преемники, выбирал такие институты, которые приносят пользу, невзирая на их происхождение. Поэтому в 1424 г. он перенес Соколов вместе с двумя селами *de iure Polonico vel Ruthenico in ius Theutonicum quod Sridense dicitur* (Vitoldiana 1986, 95)[3]. Правда, великие князья оговаривались, что они не нарушают традиции – *старины* (см.: Кром 1994, 68-85, там же литература) – и не вводят *новины*, однако в действительности они охотно модернизировали государство. Великие князья получали поддержку для этого со стороны тех, кто был заинтересован во внедрении новых, более совершенных институтов. Именно по просьбе горожан Минска Сигизмунд Август подтвердил предоставление его предшественниками магдебургского права этому городу. Привилей 1552 года, в частности, устанавливал: *напервей выймуемъ тое место нашо Менскъ с права литовского и руского* [...] *у право немецкое майтбарское переменяем* (Мянжынскi 2000, 141).

«Политическая нация» Великого княжества Литовского практически сразу же принимала новые заимствования, если только видела в них необходимость. Современные исследования Генриха Лулевича указывают на применение образцов Короны, касавшихся государственного строя и функционирования государства в периоды междуцарствия: литовцы после бегства Генриха Валуа, несмотря на возражения, использовали – если речь шла о судопроизводстве – институты Короны (Lulewicz 2002, 184 и далее).

Если говорить о западнорусских элементах – историк из Познани Ежи Охманьский меньше всего заимствований обнаружил в системе придворного управления, в компетенции которого входило руководство государством, немного – в сфере финансов, значительно больше – в судопроизводстве. В системе территориального управления исследователь тоже заметил отступления от образцов, действовавших на Руси. Одной из причин этого, по его мнению, было относительно позднее формирование придворного управления (Ochmański 1986, 77–81). У Руси литовцы заим-

---

[2] Это было, конечно, отступление к взглядам прошлого, типичным для XVI столетия, см.: Błaszczyk 2000a, 55.

[3] Мы не вступаем в (здесь не существенную) дисскуссию о подлинности документа.

ствовали такие институты, как: *тиун, городничий, ключник, конюший, подконюший, пристав, десятник, дьяк, детский* (Ochmański 1986, 78 и далее). Однако не каждый элемент, заимствованный у Руси, возник именно там, поскольку некоторые институты имели более древнее происхождение. *Тиун* – чиновник, функционировавший в Жемайтии, а также в Виленском и Трокском воеводствах, происходил из Скандинавии, откуда вместе с варягами попал на Русь (Lizisowa 1984, 229)[4]. Заимствованные элементы Литва, естественно, преобразовывала в соответствии со своими потребностями. Литовское *чоломбитъе* отличалось от того, что обозначалось тем же самым названием в Москве (Bardach 1970, 380–381).

Из Польши первые институты были реципированы чуть ли не одновременно с Кревским актом. Права боярства-шляхты Великого княжества конструировались на основе свобод шляхты Польского Королевства. В 1387 г. бояре-католики получили свободу распоряжения наследственным имуществом, выдачи дочерей замуж, освобождение от некоторых податей и услуг. Ягайло обосновывал предоставление привилегии именно тем, чтобы поляки и литовцы *ne videantur in iuribus dispares, quos eidem Coronae subiectos fecit unum* (LM 25, 35). Однако некоторые из этих прав остались тогда не столько на бумаге, сколько на пергаменте. В 1434 г. права католиков были предоставлены православным, тогда же все (православные и католики) получили освобождение от очередных податей и личную неприкосновенность, только что установленную в Короне. Эти права подтверждались еще несколько раз, тем не менее лишь в шестидесятые годы XVI столетия литовская шляхта обрела гражданские права, аналогичные правам шляхты Короны. Также лишь в XVI веке произошло ускорение рецепции государственных образцов из Польского Королевства. С 1566 года была унифицирована сложная структура единиц территориального деления: учреждены новые воеводства, состоявшие, в свою очередь, из поветов. Новый повет стал округом – не только как в Короне – судебным, но также сеймиковым, административным и военным. Тогда же была создана структура судопроизводства, образцом которой послужила структура в Короне. Возникли суды: земские, гродские и подкоморские. Их судьи выбирались шляхтой. Таким образом, унификация боярских прав *iuxta consuetudinem Regni Poloniae* растянулась почти на два столетия.

Трибунал Великого княжества Литовского был создан всего лишь через три года после создания Трибунала в Короне (Raudeliūnas, Wisner 1986, 947 и далее, там же литература). Оттуда также были заимствованы, или сделана попытка заимствовать, некоторые фискальные институты: *ревизия пожалованных земель* (поместий), *кварта – донатыва* (налог на артиллерию) (Filipczak-Kocur 1994, 13, 40–43). Список должностных лиц Великого княжества Литовского с XVI века до XVIII века указывает на

---

[4] См.: Пашуто, Флоря, Хорошкевич 1982, 117.

то, что определенная часть должностей возникла *ad instar* должностей Короны, хотя само определение употреблялось весьма редко (Urzędnicy 1994, напр. 105). Ни разу эти институты не начали функционировать в том виде, в котором были созданы творцами реформы. На иной, нежели в Короне, способ функционирования новых институтов в Литве указывают исследования Юрате Кяупене и Генриха Лулевича. Лулевич отметил, что причиной этого (говоря о сеймиках) была социальная структура шляхетского сословия и вытекавшие из нее представления, в частности, об отсутствии внутрисословного равенства (Lulewicz 2002, 75). До сейма 1572 года сеймики собирались воеводствами, а не поветами (как предусматривалось). С одной стороны, это давало возможность элите осуществлять контроль над шляхтой, а с другой – ускоряло принятие решения в чрезвычайной ситуации. Однако этот способ применялся от случая к случаю, лишь во время первых междуцарствий (Lulewicz 2002, 75). Стирание различий между процедурой Трибуналов, принципами выдачи актов об изгнании, а также компетенциями гетманских судов в обеих частях единой Речи Посполитой продолжалось значительно дольше. Это было сделано в рамках *coaequatio iurium* Великого княжества Литовского с Польской Короной в 1697 г. (Malec 1999, 45–50).

Общим правом для Западной Европы, а позднее и для Центральной на рубеже Средневековья и эпохи Раннего нового времени было, несомненно, римское право, а также каноническое право; если же говорить об организации городов и местечек: *ius teutonicum* – магдебургское и саксонское право. Более широкую рецепцию западноевропейского права принесло открытие Литвы на Запад, ставшее следствием политического союза с Польшей. Рецепция римского права пришлась в основном на XVI столетие, опуская, конечно, элементы, заимствованные ранее у Византии через Русь.

Хотелось бы несколько шире представить римские элементы в праве древней Литвы[5]. Известно, что шляхта Короны была против римского права. На это обратил внимание в XVI веке испанский юрист Петр Ройзий, отметив, что *скорняк у эфиопов и юрист у поляков одинаковым пользуются почтением*. В Великом княжестве Литовском ситуация выглядела по-другому. Уже I Литовский статут 1529 года находился под влиянием римского права. У Византии – через «Русскую Правду»[6] – литовское право уже в середине XV века заимствовало определенные принципы опекунского права, позднее они попали в I Статут (см.: Godek 2000, 123–149). Вероятно, оттуда – но через русскую «Кормчую Книгу» – попало в этот Статут положение о лишении наследства непослушного сына. Быть может, таким же путем (или через Корону из Западной Европы) литовское право заимство-

---

[5] Самый новый подход: Godek 2004, на нем основаны нижеследующие выводы. Там же дана обширная литература.

[6] Сомнения: Живов 1988, 46–128.

вало *третину* – возможность свободного отчуждения 1/3 имущества, ограничивавшее право близости (Bardach 1988a, 124). Определение круга лиц, имеющих право делать завещание и быть свидетелем в таких случаях, также основывалось на римском праве. В свою очередь, в уголовном праве уже почти 70 лет назад Кароль Кораныи отмечал влияние римского права на стремление к индивидуализации ответственности и ограничение коллективной ответственности (Koranyi 1935, 123–157).

Несомненно, большее влияние норм римского права заметно во II Статуте 1566 года. Римское происхождение имели нормы, касавшиеся, в частности, срока давности, завещаний, лишения наследства, кровосмесительных связей, приданого, законной опеки (хотя здесь обозначились особенности (Bardach 1999, 144–145)), правовых санкций в отношении недобросовестных опекунов, *peculium castrense, peculium adventicium*, наказания отцеубийц, оскорбления величества, наказания за некоторые проступки и за укрытие беглого раба, острова, созданного на реке, намыва, обнаружения клада, вступления в соглашение с врагом.

К римско-каноническому праву восходил посессорный процесс, хотя здесь имела место косвенная рецепция – из Короны (Uruszczak 1974, 244, прим. 73, 227, прим. 1). Римские правоположения нашли свое отражение в тексте Статута. Принцип: *qui prior tempore – potior iure* звучал на языке руского оригинала (раздел VII, статья 11): *хто будет мети первшый слушный и правный запис* [...] *тот за первшым записом своим при таковом именъю зостати маетъ*. Все установления права римского происхождения без существенных изменений перешли в III Статут 1588 года. Проблема романизации права Великого княжества требует еще серьезного изучения.

Новаторские правовые идеи, по всей вероятности, имели в Литве также больший успех, чем в Короне. Поэтому именно в местечке Лоск на территории ВКЛ в 1577 г. был издан польский перевод «De Republica emendanda» Анджея Фрича Моджевского 1577 года. Он должен был служить усвоению концепции Моджевского на литовской почве, где латинский язык был распространен во второй половине XVI в. почти исключительно в среде элит. Моджевский предлагал: уравнение в степени наказания за умышленное убийство, невзирая на сословную принадлежность убийцы и жертвы, уничтожение рабства путем замены его на крепостничество. Если говорить о создании права, то Моджевский выступал за его кодификацию посредством квалифицированной комиссии, что как раз для Литвы не являлось чем-то новым. Основой для кодификационной деятельности должно было стать римское право. Однако он утверждал (иначе, чем это принято в Юстиниановой традиции кодификации), что правитель не стоит выше права, напротив – он им связан. В том же ключе можно рассматривать его положение, что *crimen laesae maiestatis* это не только преступление против особы монарха, но также против органов

государства. Приведенные выше взгляды гармонировали с позицией элит Великого княжества. Результаты этого можно было заметить в Статуте 1588 года (Bardach 1997, 307–314, Bardach 1999, 84). Через сто лет Теодор Скуминович пытался несколько другим образом перенести на литовскую почву некоторые правовые и политические идеи из Западной Европы. Он получил образование в Лювене и, надеясь занять кафедру права в Вильно, написал опубликованный в Брюсселе в 1663 г. комментарий к I книге Установлений Юстиниана: «De iure personarum». Этот комментарий использовал, идя вслед за теоретиками естественного права, теорию общественного договора, (причем упор делался на участии населения в составлении законов), критиковал принцип *princeps legibus solutus est*, допускал также право отпора (Bukowska 1961, 35–36). Трактат являлся попыткой приспособления некоторых сюжетов западноевропейской мысли к условиям Великого княжества и – шире – Речи Посполитой.

Причин большей, чем в Короне (и это можно принять без колебаний), восприимчивости Великого княжества Литовского к рецепции было несколько. К ним относилась, несомненно, более сильная (по меньшей мере, до Люблинской унии) власть монарха. Решения правителя и его окружения не требовали (до такой степени, как в Польском Королевстве) согласия «политической нации». Быстрое же экономическое и культурное развитие в XVI столетии порождало неотложную потребность в новых институтах и нормах регулирования правовых отношений в ВКЛ, поскольку отсутствовали отвечавшие потребностям отечественные институты. Общественные перемены стали причиной эмансипации боярства-шляхты, которое поддерживало создание писанного права, гарантировавшего (хотя бы в некоторой степени) его правá. Модернизации права и государственного строя Литвы служило также укрепление союза с Польским Королевством, поскольку право должно было обеспечить территориальное единство Великого княжества, обеспечить должностями его *тубылъцев* и *уроженцев,* общество же сделать полноправным партнером шляхты Польского Королевства. Именно это стало причиной брестской поправки II Статута (см.: Wisner 1993, 26). Прямо указал на такой мотив литовский канцлер и виленский воевода Миколай Радзивилл «Черный» во время варшавского сейма 1563/1564 гг., заявив, что литовцы объединяются с Польским Королевством *cum respublica sua bene ordinata*. *Посполитое право* также способствовало стремлению унифицировать Великое княжество (Bardach 1999, 24), состоявшее из территорий с развитыми партикулярными тенденциями. Соединение этих факторов привело к тому, что рецепция в исторической Литве была зрелой (см.: Bardach 2001, 88 и далее)[7], имела широкий охват, касалась действительно существенных областей общественной и правовой жизни.

[7] Положение о зрелости рецепции поддерживает Błaszczyk 2000b, 46–47.

Проблема путей, какими проникали институты, утверждавшиеся в Великом княжестве Литовском, уже давно рождает дискуссии (см.: Лаппо 1938, 320–322) и требует дальнейших исследований. Однако предварительно можно указать определенные обстоятельства, способствовавшие распространению зарубежных образцов. Литовская шляхта знакомилась с ними посредством совместно проводимых войн, совместных с поляками съездов, сеймов. Наконец, литовская шляхта имела в своем кругу знатоков права и институтов Польского Королевства, поскольку раньше других применила их подлясская шляхта (Michaluk 1999, 37).

Знакомству с зарубежными институтами способствовала также учеба за границей молодежи Великого княжества. Сначала за знаниями она ездила в Краков. Постепенно образовательная привлекательность Кракова уменьшалась, и молодые литовцы отправлялись на учебу на Запад, либо в Кенигсберг (Małłek 1996, 177–185; Żołądź–Strzelczyk 1996, passim).

Образцы Польского Королевства, в немалой части попросту западноевропейские, внедряли образованные выходцы из Польского Королевства, делавшие карьеру в Великом княжестве Литовском. В канцелярии Витольда, после разрыва с крестоносцами, работали 10 выходцев из Короны. Их приняли на работу, учитывая знание западных языков, работы канцелярии, а также умение составлять документы на латинском языке[8]. Приехавший из Великой Польши до 1528 г. виленский архидьякон Юзеф Ясиньский имел в своей библиотеке как «Дигесты», так и литовский Статут 1529 г. и переведенную на польский язык «Великого княжества Литовского и Жмудского Хронику» (Ochmański 1996, 78). Таким образом, видно, что он переносил на литовскую почву не только – и причем буквально – идеи римского права, но также проявлял интерес к праву и истории «новой родины». Это была типичная позиция. Выходцы из Польского Королевства оседали на землях исторической Литвы, сохраняли сознание своего происхождения, однако они быстро подвергались «политической литвинизации», становясь поборниками литовских государственных интересов. Такую позицию заняли: летописец Матвей Стрыйковский из Стрыкова (что около Лодзи) (Wojtkowiak 1990, 217) или виленский войт Августин Ротундус Мелеский, который был родом из Велуня (Baryczowa 1976, 82).

Непосредственным образом новинки передавали пришельцы из Западной Европы. Первые два профессора созданного в 1644 г. юридического факультета Виленской Академии были родом из Ингольштадта (Piechnik 1983, 169). В Вильно жил в течение 20 лет, вплоть до самой смерти уже упоминавшийся Петр Ройзий (Fijałkowski 1976, 74).

Западные идеи доносили также правовые книги. Они составляли едва ли не самую большую часть библиотеки Сигизмунда Августа, включавшую, в частности, произведения Бартолуса де Саксоферрато, Убальда,

---

[8] В последнее время: Szybkowski 1998, 75–94.

Декрет Грациана, Кодекс Юстиниана, «Speculum Saxonicum» (Kawecka-Gryczowa 1988, 125–178). Этот монарх передал свою библиотеку Виленской Академии. В библиотеке Академии можно было найти также зарубежные правовые памятники (Piechnik 1990, 193).

Отмеченные факторы оказывали воздействие в разное время и с разной интенсивностью. Однако с течением времени граждане Великого княжества чаще воспринимали западноевропейские новинки напрямую, обходясь без посредничества поляков.

Рецепция польских образцов на литовскую почву привела к тому, что некоторые институты, заимствованные у Польского Королевства, в Литве функционировали лучше. В Литве легче было сформировать состав земских судов, потому что повышение по службе в их составе происходило автоматически. Поэтому тоже в XVIII веке реформаторы эпохи Станислава Августа Понятовского предлагали перенести обратно – на почву Польского Королевства определенные институты, развитые в Великом княжестве: институт постоянного сеймикового маршалка (Konarski 1923, 346; Kołłątaj 1954, 346), закон о порядке проведения сеймиков (см.: Lityński 1988, 60). В свою очередь, Теодор Островский – правовед XVIII века – выдвигал пожелание, чтобы в гродском суде Польского Королевства заседало три судьи *по примеру Литовской Провинции* [...] (Ostrowski 1786, 104). Йенджей Китович писал, что в 1764 г. по литовскому образцу были созданы новые должности: коронный светский секретарь и три великих коронных светских писаря (Kitowicz 1971, 156; см.: VL VII, 363). Образцом для Польского Королевства была литовская структура территориального управления – даже Великий Сейм 1788–1792 гг. не смог полностью ее унифицировать (Leśnodorski 1951, 334–336). Сформировавшийся в процессе практики в Великом княжестве и утвержденный в конституции 1764 г. принцип проведения элекционных сеймиков вместе с депутатскими – в первый понедельник после праздника Громничной Божьей Матери, был принят в 1790 г. для всей Речи Посполитой, для избрания состава порядковых гражданско-военных комиссий (Zielińska 1993, 113). Такое же происхождение имело установление для всей Речи Посполитой законом о сеймиках от 24 марта 1791 г. нового, февральского срока проведения депутатских и хозяйственных сеймиков (VL IX, 233).

В Короне применялись также некоторые институты литовского судебного права (Bardach 2000, 60–61), а III Статут должен был стать основой так называемого кодекса Станислава Августа, разработка которого началась во время Великого Сейма (цит. по: Sondel 2000, 67).

Наконец, следует вспомнить, что некоторые элементы государственно-правовых достижений литовско-русских земель имели и более широкое распространение. Литовское право оказало значительное влияние не только на московское «Соборное Уложение» 1649 г. (Bardach 1988b, 62–

65), но также и на кодификационные проекты Украины XIX века (Собрание 1993, 9–11).

Следовательно, Великое княжество Литовское сумело так творчески переработать отечественные и заимствованные элементы (см.: Gudavičius 1999, 28), что они не только удовлетворяли собственным потребностям этого государства, но также служили вдохновением для таких столь разных соседей Литвы, как Польское Королевство и Москва.

Литература

Живов 1988 – Живов В.М. История русского права как лингвосемиотическая проблема // Semiotics and the History of Culture: In Honour of Jurij Lotman. Columbus (Ohio), 1988.

Кром 1994 – Кром М. «Старина» как категория средневекового менталитета (по материалам Великого Княжества Литовского XIV – начала XVII вв. // Mediaevalia Ucrainica, т. III, 1994.

Лаппо 1938 – Лаппо И.И. Литовский Статут 1588 г. // Wiadomości Studium Historii Prawa Litewskiego, I, 1938.

Мянжынскi 2000 – Мянжынскi В. Пацвярджальны прывiлей 1552 г. гораду Менску на Магдэбургскае права // Athenaeum, IV, 2000 (Metriciana, t. I).

Пашуто, Флоря, Хорошкевич 1982 – Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. Москва, 1982.

Собрание 1993 – Собрание малороссийских прав 1807 г. / сост. К.А. Вислобоков и др. Киев, 1993.

Balzer 1911 – Balzer O. Skartabelat w ustroju szlachectwa polskiego. Kraków, 1911.

Bardach 1970 – Bardach J. Czołobicia i pokłony // Bardach J. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XIV w. Warszawa, 1970.

Bardach 1988a – Bardach J. Trzecizna – część swobodna w litewskim prawie majątkowym XV–XVI wieku // Bardach J. O dawnej i niedawnej Litwie. Poznań, 1988.

Bardach 1988b – Bardach J. Statuty litewskie w ich kręgu prawno-ustrojowym // Bardach J. O dawnej i niedawnej Litwie. Poznań, 1988.

Bardach 1997 – Bardach J. Elity Wielkiego Księstwa Litewskiego a polski przekład De Respublica emendanda Andrzeja Frycza Modrzewskiego // Kultura staropolska – kultura europejska. Warszawa, 1997.

Bardach 1999 – Bardach J. Statuty litewskie a prawo rzymskie. Warszawa, 1999.

Bardach 2000 – Bardach J. Prawo litewskie w Koronie Królestwa Polskiego w XVII i XVIII wieku // Kultura Litwy i Polski w dziejach. Tożsamość i współistnienie / red. J. Wyrozumski. Kraków, 2000.

Bardach 2001 – Bardach J. Recepcja w historii państwa i prawa // Bardach J. Themis a Clio czyli prawo a historia. Warszawa, 2001.

Baryczowa 1976 – Baryczowa M. Augustyn Rotundus Mieleski – pierwszy historyk i apologeta Litwy // Z dziejów polskiej kultury umysłowej w XVI i XVII wieku. Wrocław, 1976.

Błaszczyk 2000a – Błaszczyk G. Problem świadomości narodowej i historycznej w Litwie w XV i XVI wieku (do 1569 roku) // Przeszłość odległa i bliska / red. K. Robakowski et al. Poznań, 2000.

Błaszczyk 2000b – Błaszczyk G. Zagadnienia kulturalne w unii polsko – litewskiej // Kultura Litwy i Polski w dziejach. Tożsamość i współistnienie / red. J. Wyrozumski. Kraków, 2000.

Bukowska 1961 – Bukowska K. Z historii nauki prawa w Polsce XVII wieku // Miscellanea iuridica złożone w darze Karolowi Koranyiemu. Warszawa, 1961.

Fijałkowski 1976 – Fijałkowski T. Piotr Rojzjusz – polski romanista XVI wieku. Zarys problematyki // Z dziejów polskiej kultury umysłowej w XVI i XVII wieku. Wrocław, 1976.

Filipczak-Kocur 1994 – Filipczak-Kocur A. Skarb litewski za pierwszych dwóch Wazów 1587–1648. Wrocław, 1994.
Godek 2000 – Godek S. Wpływ prawa bizantyjskiego na opiekę w Ruskiej Prawdzie i w I Statucie litewskim // Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 1, 2000.
Godek 2004 – Godek S. Elementy prawa rzymskiego w III Statucie litewskim (1588). Warszawa, 2004.
Gudavičius 1999 – Gudavičius E. Geneza polskiego fenomenu kulturowego na Litwie // Pozostawione historii. Litwini o Polsce i Polakach / pod red. K. Korzeniewskiej i V. Sirutavičiusa. Kraków, 1999.
Jurkiewicz 1991 – Jurkiewicz J. Powinności włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVII wieku. Poznań, 1991.
Kawecka-Gryczowa 1988 – Kawecka-Gryczowa A. Biblioteka ostatniego Jagiellona. Wrocław, 1988.
Kitowicz 1971 – Kitowicz J. Pamiętniki czyli historia polska / opr. P. Matuszewska. Warszawa, 1971.
Kołłątaj 1954 – Kołłątaj H. Listy Anonima i prawo polityczne narodu polskiego / wyd. B. Leśnodorski i H. Wereszycka, t. I. Warszawa, 1954.
Konarski 1923 – Konarski St. O skutecznym rad sposobie, t. IV. Warszawa, 1923.
Koranyi 1935 – Koranyi K. O niektórych postanowieniach karnych Statutu litewskiego z r. 1529 // Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego Statutu litewskiego. Wilno, 1935.
Korczak 2000 – Korczak L. Adaptacja polskich wzorów ustrojowych w Wielkim Księstwie Litewskim na przykładzie kształtowania się litewskiej rady wielkoksiążęcej w XV wieku // History, Culture and Language of Lithuania, „Linguistic and Oriental Studies from Poznań", Monograph Supplement 5 / ed. by G. Błaszczyk & M. Hasiuk. Poznań, 2000.
Kutrzeba 1911 – Kutrzeba St. Unia Polski z Litwą. Problem i metoda badania. Kraków, 1911.
Kutrzeba 1914 – Kutrzeba St. Historia ustroju Polski w zarysie. T. II: Litwa. Lwów, 1914.
Leśnodorski 1951 – Leśnodorski B. Dzieło Sejmu Wielkiego. Warszawa, 1951.
Lityński 1988 – Lityński A. Sejmiki ziemskie 1764–1793. Katowice, 1988.
Lizisowa 1984 – Lizisowa M.T. Dwa terminy prawne pochodzenia germańskiego w Statucie Wielkiego Księstwa Litewskiego: ciwun i rykunia // Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku. Wrocław, 1984.
LM 25 – Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25 (1387–1546). Užrašymų knyga 25 / parengė D. Antanavičius, A. Baliulis. Vilnius, 1998.
Lulewicz 2002 – Lulewicz H. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w l. 1569–1588. Warszawa, 2002.
Malec 1999 – Malec J. Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych. Kraków, 1999.
Małłek 1996 – Małłek J. Polscy i litewscy studenci na Uniwersytecie Królewieckim w XVI i XVII wieku // Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność / red. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk. Toruń, 1996.
Michaluk 1999 – Michaluk D. Między Koroną a Litwą. Kształtowanie się terytorium ziemi mielnickiej w XVI–XVII wieku // Granice i pogranicza / pod red. M. Liedke et al. Białystok, 1999, t. I.
Neporožnia 1998 – Neporožnia N. Čekijos ir Lietuvos kultūrinio suartėjimo pagrindas (LDK laikotarpis) // Česko-litevské vztahy v průbehu staleti / red. L. Řehaček, L. Švec. Praha, 1998.
Ochmański 1986 – Ochmański J. Ruskie wzory organizacyjne w państwie litewskim XIV–XV wieku // Ochmański J. Dawna Litwa. Olsztyn, 1986.
Ochmański 1996 – Ochmański J. Najdawniejsze księgozbiory na Litwie od końca XIV do połowy XVI wieku // Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność / red. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk. Toruń, 1996.
Ostrowski 1786 – Ostrowski T. Prawo kryminalne angielskie, t. II. Warszawa, 1786.
Piechnik 1983 – Piechnik X.L. Dzieje Akademii Wileńskiej, t. II. Rzym, 1983.
Piechnik 1990 – Piechnik X.L. Dzieje Akademii Wileńskiej, t. IV. Rzym, 1990.

Pietkiewicz 1995 – Pietkiewicz K. Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Poznań, 1995.

Raudeliūnas, Wisner 1986 – Raudeliūnas V., Wisner H. Z dziejów Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego 1581–1648 // Kwartalnik Historyczny, LXXXIII, 1986, z. 4.

Sondel 2000 – Sondel J. Prawo rzymskie jako podstawa projektów kodyfikacyjnych w dawnej Polsce // Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 1, 2000.

Stryjkowski 1846 – Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi. Warszawa, 1846.

Szybkowski 1998 – Szybkowski S. Polish Staff as a Social Group in the Chancery of Grand Duke Witold // Questiones Medii Aevii Novae, III, 1998.

Uruszczak 1974 – Uruszczak W. Z badań nad procesem posesoryjnym w prawie polskim I poł. XVI wieku // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CCCLIX, 1974, Prace Prawnicze, z. 63.

Urzędnicy 1994 – Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku / opr. H. Lulewicz i A. Rachuba. Kórnik, 1994.

Vitoldiana 1986 – Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1386–1430 / wyd. J. Ochmański. Warszawa-Poznań, 1986.

VL – Volumina Legum.

Wisner 1993 – Wisner H. Polityczne uwarunkowania poprawy brzeskiej drugiego Statutu WXL // 1566 Metų Antrasis Lietuvos Statutas. Vilnius, 1993.

Wojtkowiak 1980 – Wojtkowiak Z. Litwa Zawilejska w XV i pierwszej połowie XVI w. Poznań, 1980.

Wojtkowiak 1990 – Wojtkowiak Z. Maciej Stryjkowski – dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznań, 1990.

Zielińska 1993 – Zielińska T. Sejmiki 8 lutego 1790 r. – pierwsze referendum na temat dokonań sejmu // Wiek Oświecenia, IX, 1993.

Żołądź–Strzelczyk 1996 – Żołądź–Strzelczyk D. Peregrinatio academica. Poznań, 1996.

http://www.bibliorossica.com

Contra Gentem Potentem et Durissime Cervicis: the image of Lithuania and its people through myth, propaganda and cultural models

Claudio Carpini (Palermo)

I wish to begin my introduction explaining the purpose and the object of these pages. They don't have the aim to identify and master the characteristics and the peculiarities of Lithuanian people.

This brief study has less pretensions. And nevertheless it faces equally a critical subject: the perception of the "alteritas" in the Medieval West society. In our case, the *other* is represented by Lithuania and its people.

We will ask the authors (chroniclers, missionaries and observers) who have written intense and meaningful pages about the events that concerned Lithuania between XIII and XV century to drive us in this research.

Sometimes we will try, not without any hazard, to compare them with the reliable evidences of other authors that are, on geographical, cultural and even chronological point of view, very distant from them, but that nevertheless show a particular attention to important aspects like the meeting with different cultures.

In this kind of expedition into an insidious and mysterious land (like Lithuania in Mindaugas time…) we will try to orient ourself following the tracks of some meaningful categories: the *pagan* (or *infidel*); the *fighter* and the *enemy*; the *king/prince* in the double sense of pagan and Christian one.

1

The first descriptions that concern the baltic populations – and also the Lithuanian – describe them as farmer peaceful people, even disposed to respect an external royal authority, sometimes ingenuous in the trade relationships (Jordanes 1882, 89; Saxo Grammaticus 1931, 232).

But descriptions change radically when the occasional and sporadic meeting becomes more concrete and above all more sanguinary, as

http://www.bibliotecadigital.com

consequence of the Theutonic's ambitions on the land occupied by Lithuanians and other baltic populations.

In the pages of the western chroniclers, prussians, livonians and lithuanians have a more definite and real outlines.

The fact that the descriptions of the baltic people leave the nebulous vagueness of the Late Antiquity and High Middle Ages doesn't mean that they are more correct and precise, and neither that had been joined to a real knowledge of those people.

The accounts of the chroniclers of the XIII-XV century show traces of some conditionings and one of the most important is certainly the propagandist action of Theutonic Order, support for its expansionist politics in the northern Europe.

The Teutonics have interest to describe the Lithuanians in a hostile way and the zeal of the german authors that follow those events is functional to the struggle led by the Knights of the Order.

In this way they acquire credibility and obtain a wide field of action in their military enterprises: those are justified because led in the name of an idea of justice, legal and widely shared in christian community.

Thus Lithuanians, last european people still pagan, that not only doesn't accept a formal conversion, but also asks the right to venerate its own deities and that struggles for its own identity, are described as a nation of infidels, fraudulent and cruel.

The german chroniclers resume these characteristics with a word that denotes the representation that they had of Lithuanians, and that they wanted to tell to the west. This word is *barbarian*.

The cruel Lithuanians, pagan, and therefore barbarian, are presented with some attributes that are not new to medieval chronichles.

These are attributes already used by the historians of the crusades in Holy Land in order to describe "the others" (not only the enemy Moslems, but also the Hebrews or the Greeks): descriptions well known to the Theutonic Knights and their historians through the events of the struggle between the West and the Moslem world, started before those that we have learned to call "crusades", often represented like a fight between the civilization and the barbarity.

In the Holy Land, however, the mutual knowledge (consequence of the co-habitation on the same land) had brought, whether not a real revision of the negative judgment respecting the Islamic world (and respecting the Christian world by the Moslems' side), at least a first approach: both of the sides record attestations of respect for the reasons of the rivals and appreciation for the bravery shown in battle. And Europeans that visited the Kingdom of Jerusalem noticed with regret that crusaders had adopted a way of life very similar to the Moslems.

A brief passage of Jan Długosz summarizes the opinion that western historians have of Lithuanians. Write the polish annalist:

Ingenia genti tumida, sediciosa, fraudulenta, procacia, mendosa et parca. Natura taciti, archana sua et suorum principum silencio tegunt. In liberos lascivi, in rem publicam suam incensi et studiosi, in libidinem et ebrietatem et assentacionem proclivi, sortilegiorum et divinacionum studiosi et rari sectatores. Parsimonie dediti et in cibum parci, nisi quociens cenarum apparatus et convivia instruunt pro hospitibus et advenis (Długosz 1978, X, 167).

The Lithuanians are proud (but *tumidus* is also worth for "rebel"), inclined to the revolt and to the fraud, incorrect, insolent; but they are also reserved and silent, discreet custodians of their secrets. Liberal in the education of their sons, but passionate in service of their nation; they are large drinkers, but parsimonious and frugal in the food, except for the feasts.

We could note that this description is not completely negative: the author disposes this passage in 1382, on the eve of events destined to change the destiny not only of Lithuania, but also of Poland and the detailed description of the characteristics of Lithuanian people is functional – according to the words of the author – to the comprehension of the following events.

Describing the afterthought about the equation between barbarian and pagan, Długosz gives – unintentionally – the confirmation of the presence of a prejudice to which had contributed, for example writing that:

Neque enim inter barbaros tuta et sincera possunt durare federa <inter quos verus ignoratur Deus; nulla quoque viget fides, nummum sacrosanctum iusiurandum, nulla legitima religio> (Długosz 1978, X, 93)

Abandoned, because of the political facts happened in the last two decades of the XIV century, the adhesion to the Theutonic's propaganda, Długosz receives another propagandist view, according to which the knowledge of the true God would have carried a benefice to all Lithuanian people in terms of civilization.

This is an important change, because it characterizes the conversion as a necessary footstep, for the pagan peoples, in order to exceed their exclusion. This is not an absolute novelty: Adam of Brema, writing about the prussian, had expressed a similar opinion:

Multa possent dici ex illis populis laudabilia in moribus, si haberent solam fidem Christi, cuius praedicatores immaniter persecuntur (Adamo da Brema 1864, 375).

With their conversion, then, the Lithuanians are not enemies of God and of christianity, they could be called *Dilecti filii*, and they can also participate to a new civilization.

Nevertheless we must consider that this change is present mainly in the Polish environments: Theutonics will continue to consider Lithuanians a barbaric, untrustworthy and deceitful people even after the conversion to the

Catholicism, considered – as known – only a formal fact, without a deep adhesion to the Christian faith: for the Order Lithuanians are always barbarians and enemies of God.

2

The pages of the chroniclers that tell the struggle of the Order against the Lithuanians are a long list of military expeditions and descriptions of battles. Through these stories, to the list of the characteristics of Lithuanians another element is added: pagans and barbarians, they also are bellicose and naturally cruel and wild.

In this way the necessity of the conversion is legitimated, necessary in order to moderate the aggressiveness of the Lithuanians, it introduces also the idea that violence, used for reply to Lithuanians attacks, might be a tool of christianization.

Moreover, the historians of the Order respect and admire their own antagonists: they don't underestimate their successes, they laud them for their behaviour in battle and they seem to understand their reasons, considering them men of honour engaged in the defence of their native land from a stranger invasion.

These attitudes are similar to those of the chroniclers of the crusades in Holy Land, when they told the admiration for the behaviour in battle of the Moslems: only the faith devided them, not the value. Furthermore the Lithuanians were an ideal enemy for Theutonics: the war against this proud, cruel and irreducible enemy exalted the courage and the value of the Order and constituted a fundamental element in the imaginary of the knighthood of that time.

3

The interpretation that sources give to the Lithuanian kings presents other interesting elements. The model to which refer is naturally the Christian king: it had consolidated during the medieval centuries after a long and complex debate about the role and the characteristics of the sovereign. The judgments of the western authors show traces of this debate.

The evidences are numerous: the Lithuanian kings, still pagans, have characteristics opposed to those of Christian kings. A good Christian king guarantees the justice, instead the Lithuanian kings are cruel and sanguinary (in this sense, for instance, Enea Silvio Piccolomini about Vytautas (Piccolomini 1509, 109–110); a Christian king is pious and devout, but Vytenis is presented as blasphemous and contemptuous and he doesn't recognize the true God (Pietro di Dusburg 1861, 176).

Again: the Lithuanian kings are opportunists, as Mindaugas, converted only in order to obtain some advantages (Długosz 1978, 82, 126–127); they are still hardened by the idolatry, as Jogaila before the conversion (Annalista Thorunensis 1965, 125); they are betrayers of benefactors, as Vytautas, who

had turned his arms against the Knights of the Order, where many times he had found help (Annalista Thorunensis 1965, 131).

To the Lithuanian sovereigns is recognized the courage in battle and their bravery as leader of people (Wigand von Marburg 1965, 502–503): but in these qualities we can see more *furor* than real courage.

Długosz is still forced to modify this mentality, because he must consider that a "barbaric" king has sat on the Polish throne. Again, we have a double action of propaganda: the one of chroniclers of the Order, who disregards Lithuanian kings and that of Długosz; the one for instance accentuate the "diversity" of Jogaila after the conversion. The effectiveness of this dual action of propaganda is demonstrated by the fact that it's confirmed even by a man as Enea Silvio Piccolomini, when he writes that even before the conversion to the Catholicism, Jogaila, in a different way from his predecessors, shows gestures of respect for the places of Christians cults:

inter equitandum quotiescumque turres templorum conspexit, detracto pileo caput inclinavit, Deum qui coleretur in ecclesia veneratus (Piccolomini 1509, 417).

But even the attempts made by Długosz or Enea Silvio Piccolomini to "humanize" some Lithuanian king (not only Jogaila; also Kestutis, that avoids a human sacrifice) confirm that in the pages of the western chroniclers the Lithuanian kings are barbaric sovereigns of a barbaric people.

4

We have tried to demonstrate that these descriptions have been dictated, above all, by the necessity to create a movement of opinion around the Theutonic's enterprises and that they are completly functional to the military actions conducted by the Knights of the Order. Now we will see if in this descriptions of Lithuanians the propaganda is the only factor, or if other elements also cooperate.

The chroniclers that tell the northern people as pagan and uncivil populations find a valid ideological support in an ancient anti-nordic prejudice that allows them of amplify their descriptions.

This prejudice has even scriptural presuppositions (*Ab aquilone inardescunt mala*, the Geremia prophet said (Geremia, 1, 14)[1]) and that has grown stronger on the basis of a geoclimatic model that arranges a strong connection between the nature of the places and the human beings that live there: where the climatic phenomena are extreme (like in north, where the big cold dominates) the nature of the inhabitants receives an influence equally extreme. For these reasons the man of the north is cruel, sanguinary, bellicose and barbaric (De Anna 1994)[2].

[1] During the IX century Iacobus de Guisia describe Normans *Gens quedam aquilonis, de qua forte dictum est, quia ab aquilone pandetur omne malum* (De Guizia 1925, 61).

[2] About geoclimatic model see Stok 1985.

In the Greek and Roman antiquity this prejudice had most of all cultural bases: originally the barbarian is a man who speaks an incomprehensible language and for this reason he cannot be part of the civic world.

The Christianity recovers this prejudice, combining the concept of barbarian with the pagan one: both of these conditions enacted an irreparable distance from the *christianitas* and from the civilization too.

The christianization of the northern Europe and the crusade allowed the diffusion of the aggressive, cruel and uncivil representation of the man of the north. This prejudice had been lived, still before than Lithuanians, by the same populations of that wide and complex geographical area that the sources of High Middle Age indicated as Germany: tribes like the Saxons, forced to the conversion at the end of the VIII century, had been classified as barbaric, because they didn't participate to the common Roman and Christians roots.

The strength of this prejudice appears from his diffusion and the attitude of Enea Silvio Piccolomini towards Lithuania is an important example.

In his *De Europa* (1458), Piccolomini demonstrates a deep interest for central and eastern Europe, considered really important for the Christian world. The union of Poland and Lithuania has an important place in the work: together with Hungary, those countries represent a hope of defence against the Turkish invasion.

Man of church and erudite, Piccolomini summarizes better of each other the relation between pagan and barbarian that concerns all the people of north of Europe and among these the Lithuanians. He has an approximate knowledge of Lithuania that fully suffers of the prejudice that we have tried to describe and also of the point of view expressed by the propaganda of the Theutonic Order. Thus Tannenberg is a defeat for the whole Christianity and Piccolomini doesn't hesitate to underline that Lithuanians had been supported by Tatar troops led by Vytautas.

This demonstrated that in north of Europe the civilization (Catholic ones) still fights against the barbarity, that the pagans were not yet christians while the Polish had become barbarous, that the union with Lithuanians also weakened the military power of the Theutonics.

An attitude that we could also find in the description of Lithuanians led from the story by Hyeronimus from Prague, where the propositions of Theutonic's Order are repeated still indicating the Lithuanians as barbarians and pagans.

The union of the anti-nordic myth, the Christians cultural models and the prolonged action of propaganda supported by the Theutonics against the Lithuanians, seems thus to succeed to limit for a long time the positive effects of the conversion, decelerating also the natural process of reciprocal knowledge.

Almost seventy years after the conversion of Jogaila, the Lithuanians continue to be gentem potentem et durissime cervicis.

Sources and bibliography

Adamo da Brema 1864 – Adamo da Brema. Gesta Hammanburgensis Ecclesiae Pontificum // Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum, VII. Hannover, 1846.

Annalista Thorunensis 1965 – Annalista Thorunensis. Franciscani Thorunensis Annales Prussici // Scriptores Rerum Prussicarum, III. Francoforte, 1965.

De Anna 1994 – De Anna L. Il mito del Nord. Tradizioni classiche e medievali. Napoli, Liguori, 1994.

De Guizia 1925 – De Guizia I. Annales historiae Illustrium Principum Hanoniae // Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, XXX. Lipsa, 1925.

Długosz 1978 – Długosz J. Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae. Varsavia, 1978.

Guida 1979 – Guida F. Enea Silvio Piccolomini e l'Europa Orientale: il "De Europa" // "Clio". Roma, 1979.

Jordanes 1882 – Jordanes. Getica // Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi, V. Berlino, 1882.

Piccolomini 1509 – Enea Silvio Piccolomini. Cosmographia Pii Papae II, De Europa. Parigi, 1509.

Pietro di Dusburg 1861 – Pietro di Dusburg. Cronica Terre Prussie // Scriptores Rerum Prussicarum, I, Lipsia, 1861.

Saxo Grammaticus 1931 – Saxo Grammaticus. Saxonis Gesta Danorum / ed. Olrik and Reader. Copenhagen, 1931.

Stok 1985 – Stok F. Fisiognomia e carattere delle popolazioni nordiche e germaniche nella cultura dell'età romana // Cultura classica e cultura germanica / edd. P. Janni, D. Poli, C. Santoni. Macerata, 1985.

Wigand von Marburg 1965 – Wigand von Marburg. Chronica Nova Prutenica // Scriptores Rerum Prussicarum, II, Francoforte, 1965.

http://www.bibliorossica.com

Двор Великого княжества Литовского в XV–XVI вв. – пространство взаимодействия культур

Ю. Кяупене (Вильнюс)

В XVI в. двор стал характерным, неотделимым элементом социокультурного ландшафта Великого княжества Литовского (ВКЛ). Этому способствовал динамичный процесс социальных, политических, хозяйственных изменений в жизни боярского общества, который начался в последней четверти XIV в.

В этом смысле особо важным был 1387 год, когда началась христианизация языческого литовского общества, а бояре-католики получили от Ягайлы, короля Польши и великого князя Литвы, привилегию, которая создала им исключительно благоприятные условия социально-экономического и культурно-политического развития. Не менее важную роль катализатора сыграла и внутренняя политика великого князя Литовского Витовта, развернутая в начале XV в. В поисках поддержки со стороны бояр проводимой им политики централизации государственной жизни ВКЛ, Витовт начал широкомасштабную акцию раздачи за службу земель домена государя. В результате начался процесс роста земельных владений, расположенных в разных частях ВКЛ, что, в свою очередь, способствовало сближению двух частей ВКЛ – собственно Литвы и Руси литовской. Такую политику, направленную на укрепление позиций боярства, продолжали и последующие великие князья Литовские. Это привело к тому, что на протяжении XV в. – первой половины XVI в. на территории ВКЛ дворы росли, как «грибы после дождя».

В середине XVI в. весь средневековый уклад жизни боярского сословия стал прошлым, общественная жизнь приобрела характерные черты раннего нового времени. Существенно изменилось и само боярское сословие. В ВКЛ образовался феномен, который историки назвали *политический народ*. Политический народ ВКЛ по своему составу был мультиэтничен, его члены одновременно исповедовали разные религии (католицизм, православие, протестантизм), говорили, читали, писали, печатали

на разных языках (литовском, русском, латинском, польском), в этой среде существовала огромная пестрота культурного наследия – элементы этнической литовской культуры дохристианского периода переплетались со славянскими традициями, уходящими корнями к временам Киевской Руси, уживались с воздействием культурных течений латинского Запада эпохи Возрождения.

В обществе, где во всех сферах жизни преобладало боярское сословие, двор являлся основным местом, в котором ежедневно происходило культурное взаимодействие. Однако в многоликом контексте изучения этнокультурных контактов на территории ВКЛ вопрос о роли двора в процессе взаимодействия культур историками не рассматривался.

Это обстоятельство и предопределило задачи данной статьи: ввести в историографию ВКЛ понятие – *двор как пространство культурного взаимодействия*, попытаться обосновать целесообразность изучения данного социокультурного пространства, обозначить некоторые возможные направления конкретных фактографических исследований и теоретических осмыслений проблемы.

Начинать приходится с самого слова *двор*, так как оно имело несколько значений.

Двором или имением может быть названа своеобразная урбанистическая единица, в состав которой входили земельные угодья, постройки жилого и хозяйственного назначения. В этом случае слово *двор* (*имение*) – синоним слова *поместье*. В таком, физическом смысле дворы являлись местами, где протекала повседневная хозяйственная, культурная, общественно-политическая жизнь боярского общества.

В другом значении под словом *двор* подразумевался определенный круг взаимосвязанных людей, которые создавали своеобразное духовное пространство (например, *двор великого князя Литовского*; *двор вильнюсского воеводы* и т. п.).

Объединив оба значения слова, *двор* может быть назван социокультурным пространством, в котором протекали процессы взаимодействия. Особое место в этом пространстве наряду с двором государя занимали дворы крупнейших землевладельцев и важнейших должностных лиц государства. В историографии эту прослойку общества ВКЛ принято называть *магнатами*.

В процессе роста значимости магнатского двора, как места взаимодействия культур, особо существенны были изменения, произошедшие в середине XV в. В 1447 г. великий князь Литовский Казимир был избран и королем Польши. Местом постоянного пребывания государя и его двора стала Польша. Со времен правления Казимира в столице ВКЛ Вильнюсе начинает недоставать важнейшей институции, сплачивающей сословное общество, двора государя, как центра притяжения политического народа.

Новая ситуация благоприятствовала усилению общественного воздействия крупнейших землевладельцев, представителей магнатских родов. Со второй половины XV в. начинается интенсивный процесс концентрации полноты власти в руках литовских магнатов, что привело к образованию сильного органа исполнительной власти общегосударственного характера – Рады Панов ВКЛ.

Наряду с этим продолжало расти значение магнатского двора. В первой половине XVI в. стало очевидно, что в повседневной жизни общества дворы крупнейших магнатов являлись центрами притяжения, местами, где ежедневно собирались, общались представители разных слоев боярского сословия. Дворы Радивилов (Радзивилов), Гоштавтов, Ходкевичей, Сангушек, Острожских и других компенсировали в жизни боярского общества ВКЛ недостаток постоянно действующего двора государя. Двор магната становился основным местом, где представители молодого поколения бояр имели возможность познавать правила светской жизни, начинать служебную карьеру и приобретать навыки военной и административной службы.

Имея в виду масштабность воздействия магнатских дворов, расположенных по всей огромной территории ВКЛ, они обоснованно могут быть названы пространством, имевшим материальное и духовное измерения. Особо важное значение в этом пространстве приобрела система *клиентальных связей*.

Понятия *патрон*, *клиент*, *клиентальная связь* давно употребляются историками для определения общественных связей, существовавших в Европе в раннее новое время. Высказываются разные мнения, продолжается дискуссия о природе таких отношений, ведется поиск более четкого теоретического определения понятия *система клиентальных отношений*, целесообразности применения данного термина при определении системы общественных отношений в разных регионах Европы[1].

В историографии ВКЛ проблема *клиентизма* сравнительно мало исследована[2]. Однако историки склонны согласиться, что само понятие применимо, дает возможность раскрыть суть отношений, существовавших в сословном обществе ВКЛ раннего нового времени. Более того, ВКЛ представляется как зона, где *клиентизм* был особо развит, где связь патрон–клиент имела воздействие даже на государственный строй (Schramm 1988). Подчеркивается, как важно исследовать *клиентальные* связи, чтобы понять весь механизм функционирования боярского общества, в котором протекции играли очень важную роль. Протекция была нужна каждому для того, чтобы получить землю, крестьян, образование, службу.

[1] См: Klietelsysteme im Europa 1988; Mączak 2003.

[2] Ragauskienė 2002; Augustyniak 2002; Kiaupienė 2003.

На протяжении XVI в. в общественной жизни ВКЛ быстро росла потребность в образованных, верных, способных хорошо работать людях. Вследствие чего в активную общественно-политическую деятельность втянулось по тем временам большое количество новых людей. Познание *клиентизма* как социального явления не менее важно и для исследователей политической истории. Политический *клиентизм* был особо распространен в обществе ВКЛ накануне заключения Люблинской унии (1569 г.), когда велась острая дискуссия о сути и форме государственной связи ВКЛ с Польшей, что является отражением политической культуры боярского общества.

При оценке сложившейся в XVI в. по сути новой ситуации в системе общественных связей возникает ряд проблем. Среди них особое значение приобретает вопрос, каким образом связь патрон–клиент влияла на культуру повседневной жизни боярского общества ВКЛ. Потому так важно исследовать, кто, каким образом находил, привлекал новых людей, потенциальных клиентов, кому принадлежала инициатива – государю, Раде Панов, церкви как институции, отдельным лицам. Важно определить место, которое занимала сеть связей патрон–клиент на фоне культурного и политического ландшафта ВКЛ, ответить на вопрос, являлись ли в XVI в. эти связи инструментом, который позволял центральной власти укреплять свои позиции на периферии – на уровне повета, проникать внутрь автономных групп общества.

В связи патрон–клиент бывали заинтересованы обе стороны, заключавшие неформальный контракт. «Покорно и унижено прошу, чтобы Ваша милость, как обещали, милостивим моим господином, добродетелем и меценатом были бы», – такими словами в письме к воеводе вильнюсскому Христофору Радивилу в 1587 г. обратился с просьбой Христофор Манвид Дорогостайский, сын воеводы полоцкого, декларируя свою преданность и предлагая услуги, прося стать его покровителем и опекуном. Он был молод, образован, однако не имел еще положения в обществе. Потому просил влиятельного магната зачислить его в круг своих клиентов, выражал желание стать человеком его двора, желая получить именье, открыто просил протекции, напоминая о своей верной службе в войске короля Стефана Батория на благо родины во времена Ливонской войны. Просьба была удовлетворена. Х. Дорогостайский стал членом двора воеводы вильнюсского. В том же 1587 году новоявленный клиент предоставлял патрону информацию о настроениях бояр, после смерти Стефана Батория собравшихся на поветовый сеймик в Волковыск, где обсуждался вопрос, кто будет выбран новым главой Польско-Литовского государства (Kiaupienė 2003, 137, 144).

Так, со службы в роли клиента, начиналась карьера Х. Дорогостайского, будущего сенатора, маршала ВКЛ, мецената, который спустя

примерно 10 лет сам проявлял заботу по отношению к молодежи, покровительствовал им.

Поиски новых клиентов простирались по всей территории ВКЛ и за ее пределами. Чем могущественнее был патрон, тем более пестрым был состав его клиентов, а создаваемое пространство культурного взаимодействия охватывало огромные территории. Распространение *клиентальных* отношений способствовало перемещению людей по всей обширной территории ВКЛ и за его пределами. Представитель боярского рода, выходец из православной семьи, мог начать служить во дворе магната где-то под Минском или Полоцком. Со временем он мог переместиться на службу в столицу ВКЛ Вильнюс, стать доверенным лицом воеводы, в дальнейшем – получить место при дворе государя в Кракове, даже поменять вероисповедование – стать протестантом или католиком.

Проследить служебный путь, который проделывали клиенты, возможно на примере состава служащих замкового суда вильнюсского воеводы, действовавшего до судебно-административных реформ 1564–1566 гг.

На рубеже XV–XVI вв. очевиден рост разнородных контактов, заключаемых сделок, как внутри общества ВКЛ, так и за его пределами, повседневная жизнь общества приобретала новые черты. Землевладельцы все отчетливее понимали важность письменного документа, его хранения и использования в суде. Процесс кодификации правовых норм (Литовский статут, редакции 1529, 1566, 1588 г.г.) способствовал росту значимости судов и их персонала. Дореформенные замковые суды являлись часто посещаемым учреждением, местом, где встречались, общались представители разных слоев общества. В данном суде разбирались и решались уголовные и гражданские дела, юридически оформлялись разные имущественные сделки, выдавались определенные документы, решались другие важные житейские проблемы. Землевладельцы бояре являлись частыми посетителями замковых судов, широк был и спектр их интересов.

Все проблемы, с которыми сталкивались жители, приходилось решать служащим судов. Эти люди – судьи, адвокаты, писари, общественные наблюдатели бояре, участвовавшие в сложных процессах, и прочие судебные служащие – каждый день общаясь с представителями самых разных слоев сословного общества, не только проверяли на практике, как действуют правовые нормы, но и сами участвовали в процессе их усовершенствования. Они являлись свидетелями и участниками перемен, происходивших в культуре повседневной общественной жизни ВКЛ. Более того, оставили нам бесценный источник – судебные книги, по которым можно изучать правовую культуру и повседневную жизнь общества в XVI в., проследить действие *клиентальных* связей (см.: Кяупене 1992). В судебных книгах имеются доказательства связей патрон–клиент, существовавших в среде персонала замковых судов.

Вильнюсский воевода, глава Вильнюсского замкового суда, судил и принимал заявления, представленные суду, сам лично, один, или в присутствии бояр наблюдателей, а также, занятый другими государственными делами, поручал эти обязанности замещавшим его лицам – вильнюсскому наместнику и *судьям высажоным* (см.: Кяупене 1993). Среди таких служащих выделяется фигура Лукаша Федоровича Безского.

В 1529–1532 г. он занимал должность наместника в суде витебского воеводы Яна Юрьевича Глебовича. В 1532 г. Я. Глебович стал воеводой Полоцка. Нет прямых доказательств, что Л. Безский последовал за ним в Полоцк. Однако известно, что в суде воеводы витебского вместе с новым воеводой появился и новый наместник Димитр Жомойтинович. Предполагать, что связь Л. Безского с Я. Глебовичем не оборвалась, позволяет факт, что спустя 10 лет, в 1542 г., когда Я. Глебович стал вильнюсским воеводой, в должности его наместника снова появился Л. Безский и служил до самой смерти воеводы в 1549 г. (Kiaupienė 2003, 152).

Приведенный пример не единственный и не случайный. Наоборот, он свидетельствует о существовавшей практике подбора работавших в замковых судах наместников воевод. Такая долголетняя тесная связь прослеживается в середине XVI в. между воеводой вильнюсским Иваном Горностаем и его наместником Богданом Андреевичем Эпимахом. Станислав Янович Гамшей, долголетний служащий суда, на протяжении 7 лет (1552–1559 г.) являлся подстаростой брестским и судил от имени старосты брестского Миколая (Николая) Радзивила (Черного). В 1559 г. он вместе с патроном появился в Вильнюсе, где до 1565 г., до смерти воеводы вильнюсского М. Радзивила, исполнял сложные обязанности вильнюсского наместника и судьи, являлся доверенным лицом по служебным обязанностям часто отсутствовавшего воеводы (там же, 153).

Наместник воеводы, судья профессионал был наделен широкими полномочиями, во время отсутствия воеводы он был ответственен за повседневную работу суда, являлся посредником между обществом и судопроизводством, носителем правовой культуры. Наместник-судья был клиентом воеводы и одновременно патроном служащих суда низшего ранга.

В свою очередь представители территориальной и центральной администрации ВКЛ не только старались сплотить вокруг себя верных судовых служащих, они заботились об их юридической подготовке, в меру следили за ростом профессионального уровня, старались создавать благоприятные условия труда.

Так, например, источники свидетельствуют, что в шестидесятых годах XVI столетия в результате военных действий и территориальных потерь в столице ВКЛ Вильнюсе скопилось огромное число временных жителей – беженцев, в городе выросло число конфликтов, жить стало небезопасно даже представителям администрации. Объем работы в замковом суде рос день ото дня, быть судьей становилось все труднее и даже опасно. Неслу-

чайно в 1568 г. воевода вильнюсский М. Радзивил (Рыжий) жаловался государю Сигизмунду Августу, что его наместнику стало небезопасно жить в Вильнюсе, где ему постоянно угрожают всякие развратные люди, каких в городе появилось очень много, и просил позволения его наместнику проживать на территории замка, где будут созданы более безопасные и благоприятные условия для судейства. Государь просьбу удовлетворил (там же, 157).

В XVI в. горизонт пространства культурного взаимодействия продолжал расширяться, вышел за пределы территории ВКЛ. Об этом отчетливо свидетельствуют изменения в организации системы просвещения.

В середине XV в. члены боярского сословия ВКЛ получили право свободного выезда на учебу за границу. Начался процесс, в результате которого образованность, ученость, познание культуры других стран стало обязательным для каждого молодого магната. Молодые люди должны были изучить иностранные языки, познать основы философии, права, математики, читать произведения античных авторов. Не менее важно было посетить как можно больше городов, своими глазами увидеть культурное наследие, побывать во дворах чужестранных монархов и вельмож, научиться вести светские дискуссии, освоить навыки военного искусства и приобрести множество других знаний, которыми должен был располагать каждый участник светской жизни Европы эпохи Возрождения.

Сыновья магнатов отсылались в такие учебные поездки для того, чтобы учиться управлять государством. В поездках их сопровождали доверенные клиенты отцовского двора. Одаренные, трудолюбивые сопровождающие имели возможность получить образование, приобрести нужные навыки светской жизни и по возвращении на родину находили себе места во дворе государя или магната, в суде, выбирали творческий путь.

Наш знакомый Х. Манвид Дорогостайский, двенадцатилетний сын воеводы полоцкого, в 1574 г. был отправлен на учебу в Страсбург, далее проследовал в университет в Фрайбурге, посетил Италию, Нидерланды. В поездке его сопровождал наставник из Берна швейцарец Я. Гаслер и молодые литовские бояре Станислав Белозар, Еронім Ижыкович и Станислав Заремба. Известно, что еще в 1559 г. отец вышеупомянутого С. Белозара в суде воеводы вильнюсского сделал заявление и просил записать в судебную книгу, что в случае его смерти попечителями своих малолетних сыновей и жены он назначает своих приятелей и доверенных лиц Яна Волчкевича, Миколая Кульветиса и Станислава Косинского и просит, кроме всего прочего, обеспечить его детям возможность получить достойное образование. В семидесятых годах XVI в. одного из упомянутых сыновей, С. Белозара, мы находим среди студентов Кенигсбергского и Лейпцигского университетов, вернувшись в 1578 г. в Литву из учебной поездки с Х. Дорогостайским, он получил место собирателя налогов в Укмерге, вскоре стал популярным, желанным человеком в повете,

не раз его выбирали представителем в сейм, в 1588 г. С. Белозар был среди посланников от ВКЛ к Сигизмунду Вазе. На благо ВКЛ после возвращения трудился и другой спутник Х. Дорогостайского Я. Ижыкович. Он получил место собирателя налогов в Дрогичине и Мелнике (там же, 230).

Предприимчивых, находчивых и желающих учиться рядовых бояр замечали и государи. Так, в 1568 г. Сигизмунд Август обратился к патриарху Константинополя с просьбой попечительства над членом двора великого князя литовского Станиславом Вроневским, который, как пишется в послании, отправляется в Турцию с целью учить греческий и турецкий языки, так как хочет в будущем служить нам, государю и нашим государствам (там же, 230–231).

Приведенные примеры, которые нетрудно умножить, свидетельствуют о том, что образовательные поездки за границу, посещение европейских центров науки и культуры, не только напрямую влияли на уровень культуры боярского общества, но и привели к тому, что в XVI в. на землях ВКЛ появились сотни таких образованных людей, выходцев из прослойки средних и мелких бояр-клиентов, которые являлись связующим социальным элементом внутри политического народа.

Усвоение, принятие культурных и идеологических ценностей эпохи Возрождения благоприятствовали сплочению боярского сословия, укреплению его самосознания. В течение 100 лет, начиная со второй половины XV в., в ВКЛ образовалось качественно новое социокультурное пространство, в котором члены политического народа, родившиеся, выросшие, служившие в разных, отдаленных друг от друга местах, сами о себе говорили и писали – *Мы, Литва*; *Мы, литовский народ*. В данном случае, зафиксированные в источниках XVI в. слова *Литва, литовский* являются свидетельством не этнической, а государственной принадлежности, политической и культурной общности. Представители политического народа, несмотря на этническое происхождение, место рождения, жительства, вероисповедание, язык, идентифицировались с Литвой, с Великим княжеством Литовским, как со своим государством. Двор являлся неотъемлемой частицей этого многоликого пространства взаимодействия.

http://www.bibliorossica.com

Литература

Кяупене 1992 – Кяупене Ю. Книги Вильнюсского замкового суда 16 в. в составе Литовской Метрики // Lietuvos Metrika. 1988 metų tyrinėjimai / Литовская Метрика. Исследования 1988 г. / Lithuanian Metrica. Investigations in 1988. Vilnius, 1992.

Кяупене 1993 – Кяупене Ю. Состав и деятельность суда и судей высажоных Вильнюсского воеводы в период подготовки II Литовского Статута // 1566 metų Antrasis Lietuvos Statutas. Respublikinės mokslinės konferencijos, skirtos Antrojo Lietuvos Statuto 425-osioms metinėms pažymėti, medžiaga. Vilnius, 1993.

Augustyniak 2002 – Augustyniak U. Specyfika patronatu magnackiego w Wielkim księstwie Litewskim w XVII wieku. Problemy badawcze // Kwartalnik Historyczny. Rocznik CIX, 2002, z. 1.

Kiaupienė 2003 – Kiaupienė J. "Mes, Lietuva". Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a. (viešasis ir privatus gyvenimas). [Summary: "We, Lithuania". The Nobility of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th Century (public and private life)]. Vilnius, 2003.

Klietelsysteme im Europa 1988 – Klietelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit. Herausgegeben von Antoni Mączak unter Mitarbeit von Elisabeth Müller-Luckner. München, 1988.

Mączak 2003 – Mączak A. Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej. Wrocław, 2003.

Ragauskienė 2002 – Ragauskienė R. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Mikalojus Radvila Rudasis (apie 1515–1584 m.). [Summary: Mikalojus Radvila the Red (ca 1515–1584) – the Chancellor of the Grand Duchy of Lithuania]. Vilnius, 2002.

Schramm 1988 – Schramm G. Patronage im Staat, Patronage am Stelle des Staates. Einleitung zur Duiskussion // Klientelsysteme im Europa 1988.

http://www.bibliorossica.com

Проблема военнопленных в дипломатических отношениях между Великим княжеством Литовским и Московским государством в первой половине XVI века

М. Сирутавичюс (Каунас)

Последние десятилетия XV века в истории Великого княжества Литовского были началом периода важных перемен во внешней политике государства. С ростом соседнего Московского государства менялись условия сосуществования обеих стран. Московское Великое княжество во второй половине XV века начало трансформироваться в унитарное государство и активно внедряло в жизнь амбициозную программу правящей в Москве династии, главные цели которой были – ликвидация татарского ига, объединение всех земель Древней Руси, в том числе и находящихся в составе ВКЛ, под властью Москвы, элиминация других претендентов на власть, признание статуса высшего монарха главными международными силами, особенно ближайшими соседями, укрепление статуса Московского государства как равноценного партнера в конфигурации европейских сил (Pelenski 1977, 47; Chojnicka 2001, 45; Власть и реформы 1996, 32). Эти цели на долгие годы определили направления действий восточнославянских монархов. Стремление Москвы расширить свою территорию за счет ВКЛ и других соседних стран и утвердиться в европейском пространстве обусловило коллизию стратегических интересов и порождало новые военные конфликты. Войны сменяли периоды мира, когда соперничество государств переносилось в дипломатическую сферу. Межгосударственные проблемы, составлявшие в начале XVI века содержание переговоров между ВКЛ и Москвой, часто были связаны с дилеммой нормализации отношений, в которой нашлось место и решению судеб людей, попавших в плен во время военных действий.

Анализ проблемы, имея в виду актуализацию вопроса о военнопленных после военных действий, начнем с ситуации, сложившейся после военной кампании 1500–1501 годов, когда военнопленные стали важной проблемой межгосударственных отношений. Дальнейшее исследование

также связано с разными этапами военного конфликта (согласно их влиянию на ход переговоров). Анализ проблемы заканчивается началом шестого десятилетия XVI в., «спокойным» периодом, предшествовавшим конфликту из-за Ливонии. В этот почти пятидесятилетний период формировалось не только содержание переговоров, но и общие принципы, на основе которых принимались политические решения о судьбе военнопленных. Эти принципы, формирующие модели политического поведения, мы можем найти в материалах дипломатических переговоров, стараясь обнаружить повторяющиеся решения (т.е. те решения вопроса о пленных, которые становятся образцами и применяются и в других случаях), которые стали обычными в дипломатии того времени.

***

Исследуя общую практику международных переговоров, нельзя не заметить разные культурные ориентации, обуславливающие различия в нормах и процедурах, принятых в дипломатических отношениях. Посольская служба ВКЛ и дипломатический церемониал, заимствованный у западноевропейских государств в лице Московского государства столкнулись с обычаями и традициями дипломатического церемониала, по мнению многих исследователей, корнями уходящего в идеологическое содержание двора Византийских императоров (Banionis 1998, 369). Это несоответствие могло порождать много сложностей и недоразумений, затруднять условия дипломатического диалога. Но существует и другая сторона проблемы, ставящая вопрос: в какой мере обоюдное непонимание было обусловлено актуальными установками внешней политики. Рассмотрение этих вопросов нужно начать с изложения общеевропейских моделей поведения, переходя к соотношению их с позициями, декларированными Москвой.

Не вдаваясь в теоретические дискуссии о культурных преференциях ВКЛ, можно руководствоваться европейской ориентацией политической элиты, которая, кстати, и решала вопросы внешней политики. В европейском направлении и нужно искать аналогии поведения, которые всё еще действовали в XVI веке и которые исследовали историки, занимающиеся проблемами средневековья. Исследования в этой области предполагают анализ роли рыцарских идеалов в военной и дипломатической сфере[1],

[1] Даже в позднее средневековье в Европе одной из основных целей военных походов был захват в плен представителей знати противника, чтобы затем требовать за них выкуп. Не удивительно, что в переговорах вопрос выкупа пленных обсуждался часто, а после битвы срочно составлялись списки пленных. Примером такой практики может служить Хойницкая битва 1454 года, произошедшая во время Тринадцатилетней войны между Польшей и Тевтонским Орденом. После битвы крестоносцы переписали всех своих пленников. Это было сделано с целью освобождения большинства пленных под

влияния их на христианские традиции ведения военного дела, укоренившиеся в Литве во второй половине XIV века. Ярчайшее проявление этих традиций – переговоры между Литвой и Тевтонским Орденом об обмене и выкупе военнопленных. Из материалов переговоров можно сделать вывод, что договаривающиеся стороны доверяли друг другу. Для освобождения пленных было достаточно, чтобы одна из сторон устно гарантировала, что в обмен будут освобождены взятые в плен люди другой стороны или будут заплачены деньги. Хотя нередко обе стороны не спешили исполнять свои обязательства, на это мало кто обращал внимание. Можно утверждать, что элита литовского общества медленно перенимала кодекс поведения европейского рыцарства, но окончательное его распространение можно датировать, в лучшем случае, второй половиной XV века (Nikžentaitis 1997, 507–508, 514–515)[2].

Конечно, говоря о XVI веке, нужно иметь в виду перемены, происходившие в это время, ослабление морально-этических представлений средневековой эпохи, в том числе и идеи рыцарства, распространение новых идей и трансформацию сути понятия рыцарства в ВКЛ[3]. О том, что от похожей практики использования «слова чести» в решении судьбы военнопленных христианские государства не отказались и в XVI веке, свидетельствует сохранившаяся в «Acta Tomiciana» форма присяги пленного, которую использовали во время войны 1519–1521 г. между Польшей и Орденом. Текст присяги гласил, что если было решено отпустить пленного, он должен был поклясться своей честью и верой, что прибудет в установленное королем или его представителями время в условленное ими место (Acta Tomiciana 1856, no. CXXII, p. 132). Похожими принципами обращения с военнопленными политики ВКЛ пробовали руководствоваться и в практике дипломатических отношений с Москвой.

О том, каким образом эти принципы реализовывались в условиях острой политической и идеологической борьбы между ВКЛ и Московским

честное слово, с условием, что они привезут за них выкуп или обменяют их на крестоносцев, оказавшихся в польском плену. Даже в XV в. при решении проблемы военнопленных руководствовались понятиями о рыцарской чести, то есть предполагалась ответственность рыцаря за данное им слово. Рыцари, попавшие в плен, а затем отпущенные под данное ими слово чести, много лет проводили в поисках необходимой для выкупа суммы денег (Huizinga 1996, 295; Biskup 1965, 89; Samsonowicz 1971, 149).

[2] Проблема развития традиции литовского военного дела исследована тем же автором в статье: Nikžentaitis 1992, 3–34. Об обращении с пленниками, их выкупе и использовании пленных в отношениях Литвы с Тевтонским орденом также писали Мариан Пелех и Свен Экдаль. См.: Pelech 1987, 131–152; Ekhdal 1994, 263–269.

[3] Понятие рыцарства, распространение идей рыцарства в обществе ВКЛ не раз исследовалось в литовской историографии: Gudavičius, Lazutka 1981, 105–109, Gudavičius 1997, 133–145; Antanaitis 1997, 125–145; Kiaupienė 2003, 71–94.

государством, можно судить по результатам переговоров. После неудачной Ведрошской битвы в 1500 году в руки московитов попали даже известные литовские военные начальники, освобождения которых великий князь Литовский хотел достигнуть, используя сложившуюся между христианскими странами практику переговоров. В 1501 году во время переговоров в Москве, поднимая вопрос о пленных, литовские послы сформулировали вытекавшее из вышеупомянутых норм предложение: «Да говорили есмя вамъ ... о панехъ и о князехъ, которые попали въ руки государя вашего людемъ, чтобы государъ вашъ велелъ ихъ ко государю нашему отпустити доброволъно или на слюбъ» (Сб РИО, т. 35, № 67, с. 322). Москва после удачной военной кампании 1500–1501 года и начавшихся дипломатических переговоров пользовалась превосходством, приобретенным в результате военных побед, и при решении вопроса о военнопленных выдвигала разные политические требования. Московиты отвергли принятое в Европе положение о возвращении военнопленных, мотивируя это тем, что в их государстве не существует традиции освобождения военнопленных по договоренности. Судьба пленных непосредственно связывалась с дальнейшим развитием межгосударственных отношений: «у государя у нашего въ его земляхъ того обычая нетъ, што нятцовъ так отпущати ... дастъ Богъ будетъ межи государей доброе дело, и отомь тогды речи будутъ» (там же). Подобной позиции Москва придерживалась и во время мирных переговоров 1503 года, когда Литва снова предложила обмен пленными. Реагируя на это предложение, московская сторона потребовала подписания мирного договора. Данное требование к литовским послам ясно выразили московские дипломаты: «коли еще болшое дело не зделалосъ о нятцехъ тогды какое слово?» (Сб РИО, т. 35, № 75, с. 396)[4]. В 1504 году литовское посольство во время переговоров основывало свои предложения не только на практике других христианских стран, но также предлагало освободить пленных по договоренности или за выкуп: «бо по всиму свету часу валки межи государей христиъянскихъ вязни на злюб бываютъ на веремя вызволены, а съ поганства ино даютъ на окупъ, хто бы толко мели чимъ окупитися» (Сб РИО, т. 35, № 78, с. 458). Хотя эти усилия не дали результатов, от подобной риторики дипломатия ВКЛ не отказалась и в последующие годы[5].

[4] 28 марта 1503 года было подписано шестилетнее перемирие, но решение по пленным так и не было принято (LM 5, Nr. 118.13, p. 209–212; Сб Рио, т. 35, № 75, с. 398–402).

[5] О том, что власти ВКЛ не собирались отказываться от упомянутых норм даже после смены монархов обеих стран, свидетельствует письмо великого князя литовского Жигимонта Старого великому князю московскому Василию от 1507 г. В письме он напоминает, что и в христианских, и в языческих странах существует обычай отпускать пленников по договору или за выкуп: «ино вед жо по всему свету в христянстве и в поганстве естъ тот обычаи, естли случитъ ся живому на битве к няту быти, ино вы-

http://www.bibliorossica.com

Великое княжество Литовское не было единственным объектом внешней политики Москвы, по отношению к которому применялись подобные дипломатические меры. Московское государство, реализуя свои политические цели, применяло их и в общении с Ливонией, направляя таким образом дипломатический диалог в выгодное для себя русло. В переговоры о пленных ливонцах были вовлечены Габсбурги, а Москва после долгой переписки с европейскими монархами в качестве условия освобождения пленных сформулировала строгие политические требования: прекратить дипломатические отношения с Литвой и подписать мирный договор (СГГД 1815, ч. 5, № 41, с. 28–29; № 42, с. 29; № 43, с. 30; ПДС 1851, ч. 1, с. 125–139).

Посольства, которыми обе стороны регулярно обменивались, не уменьшали напряжения между ВКЛ и Московским государством. Хотя во время переговоров велись дискуссии на самые разнообразные темы, главные причины конфронтации оставались незатронутыми. Попытки урегулировать вопрос дипломатическим путем неизменно заходили в тупик из-за непрекращающихся разногласий между сторонами и из-за нежелания искать новые формы и методы для решения спорных вопросов (Banionis 1998, 296). Временно обоюдное напряжение должен был уменьшить подписанный в 1508 году договор о «вечном мире» (LM 8, Nr. 80, p. 125–128), позволивший обеим сторонами сохранить *status quo* по территориальному вопросу. Договор 1508 года, который однозначно оценивается исследователями как большая политическая победа великого князя Московского, решил и застарелую проблему пленных. После подписания договора было выполнено главное условие русских, требуемое для освобождения пленных, поэтому в Москве было решено обменяться военнопленными: «а о полоненинехъ говорили, што отпустити съ обе стороны» (Сб РИО, т. 35, № 84, с. 486). Саму процедуру обмена было решено произвести после прибытия в Литву московского посольства (АЗР 1848, № 49, с. 61). Это неординарное событие отразилось в текстах хроник XVI века, рассказывающих о посольстве великого князя Московского Василия, которое в 1509 году прибыло в Вильнюс для исполнения процедур утверждения мирного договора, принятых в дипломатической практике тех времен. Им были переданы пятьдесят московитов, а из Москвы были отпущены литовские пленники, имена которых не раз фигурировали во время дипломатических переговоров (Decjusz 1960, 45; Bielski 1856, 949; Wapowski 1874, 80–84). О том, что не всё шло так гладко, как написано в хрониках, свидетельствуют начавшиеся в том же году в дипломатической переписке обоюдные упреки в несоблюдении условий соглаше-

пускаютъ на слюбъ або на окупъ». В связи с этим Жигимонт выражает пожелание, чтобы также обращались и с людьми ВКЛ: «слугъ наших нас деля выпустил на имя местце а любо на слюб або на окупъ подавал» (LM 8, Nr. 59, p. 98).

ний. И позже диалог был осложнен непрерывными обвинениями: ВКЛ упрекала Москву, что она медлит с освобождением Николая Глебовича, который находился в плену еще со времен Ведрошской битвы, а московиты отвечали тем же, напоминая о своих пленных в ВКЛ (АЗР 1848, № 57, с. 67–70; LM 7, f. 389, l. 319–322; АЗР 1848, № 80, с. 106). В период с начала века и до 1508 года были сформулированы двусторонние положения о военнопленных, а во взаимной переписке устоялись фразы, которые до середины века использовались в дипломатическом диалоге при урегулировании вопроса о военнопленных. Именно в это время государь Московский отказался от возможности выкупа, связав обмен пленными с политическими требованиями.

В 1512 году начался новый этап военного конфликта между ВКЛ и Москвой, во время которого была продолжена московская политика «собирания русских земель». В войне 1512–1514 гг. Литва лишилась Смоленска, но у Орши войска ВКЛ под предводительством Константина Острожского разбили московскую армию. Победа при Орше не была использована в полной мере – литовцы так и не смогли освободить Смоленск (Dundulis 1971, 64–66; Зимин 1972, 164, 168). Все же в результате весомой военной победы под Оршей ряды пленных в Литве пополнились, а вопрос о военнопленных снова возник на переговорах. На этот раз больше беспокойства он доставил представителям Московского государства.

Возвращение вопроса о пленных на уровень межгосударственных отношений в третьем десятилетии XVI века начало оказывать активное влияние на содержание переговоров. После битвы под Оршей в руки армии ВКЛ попали важные московиты, и литовские государственные чиновники могли свободнее манипулировать вопросом о военнопленных. Теперь уже ВКЛ пользовалось установленным в начале века Иваном III политическим прецедентом – мир в обмен на освобождение военнопленных. ВКЛ декларировало свое твердое намерение не обмениваться пленными в период перемирия. В 1520 году литовские послы на предложение Москвы обменяться пленными после заключения договора о перемирии ответили отказом, напомнив, что в годы правления отца Василия III – Ивана III во время перемирий пленными не менялись, а обмен происходил только после заключения мира, потому и они, придерживаясь данной практики, этого делать не собираются (Сб РИО, т. 35, № 88, с. 583). Московитам пришлось «найти» новые требования и применить их к изменившимся политическим реалиям. В качестве средства политического давления они опять выбрали военнопленных. При рассмотрении вопроса о пленных во время посольства 1520 года, послы ВКЛ заявили, что после заключения перемирия обмена пленными не будет, так как в годы правления Александра и Ивана III такой традиции не существовало. Тогда московиты объявили, что они не согласны заключить мирный договор или даже объявить перемирие, если не будет обмена пленными (там

же). Самые большие разногласия, без сомнения, вызывали условия литовских дипломатов, которые требовали территориальных уступок. ВКЛ согласилось бы на обмен пленными, но для этого требовалось заключение мира, условием которого был возврат Смоленска Литве (АЗР 1848, № 108, с. 133–134). Из соображений политической выгоды московиты тоже декларировали верность установившимся между сторонами отношениям и в ответ на предложение литовцев отпустить пленных русских в обмен на территориальные уступки заявили: «ино бы пленыхъ на пленыхъ меняти, а городы не треба на пленыхъ давати» (Сб РИО, т. 59, № 6, с. 84).

Появилась опасность окончательного разрыва дипломатического диалога, который мог раствориться в потоке постоянных обвинений и разногласий, если взаимоотношения зайдут в тупик из-за несовместимых позиций сторон. Очевидно, только поняв всю опасность срыва переговоров, обе стороны решились на уступки с тем, чтобы достигнуть хотя бы соглашения о перемирии. В 1522 году Василий III дал согласие на подписание перемирия, не добиваясь обмена пленными, однако он попытался компенсировать свою уступку, выдвинув новые требования, цели которых сводилась к улучшению условий жизни московитов, находившихся в заключении в Литве, в свою очередь, он пообещал принять адекватные меры по отношению и к жителям ВКЛ, находившимся в плену в Московском государстве (Сб РИО, т. 35, № 93, с. 631–634; № 94, с. 645, 651, 654, 657, 659, 660, 669; Зимин 1972, 250). Длительность перемирия стала зависеть и от договора об обращении с пленными: в 1523 году перемирие было заключено только на шесть лет. Однако в случае согласия Литвы освободить пленных во время перемирия возникала возможность продления этого договора еще на пятнадцать лет: «а отдадутся в ту шесть летъ пленные на обе стороны, и нам съ тобою взяти перемиръе впередъ на пятнадцать летъ» (АЗР 1848, № 120, с. 151).

Как часть дипломатической деятельности, направленной на решение проблем содержащихся в неволе людей, можно выделить посещения пленных дипломатами во время посольств, в которых можно заметить еще один аспект проблематики военнопленных. Условия посещения оговаривались дипломатами по определенной устоявшейся схеме. Сначала о посещениях договариваются во время переговоров, позже выражается официальное пожелание, чтобы пленные были собраны в нескольких местах, которые послы могли бы посетить. Московиты желали, чтобы пленные в Литве были собраны в трех местах – в Вильнюсе, Гродно и Мельнике. Путешествие в эти города и определило маршрут посольства. Возвращаясь из Кракова в 1527 году, московские послы навестили московитов, привезенных из Дрогочина и Каменеца в Мельник, другую группу пленных осмотрели в Гродно, а свое путешествие закончили в Вильнюсе (Сб РИО, т. 35, № 102, с. 734, 755). Во время таких посещений, которых для себя также добилась и Литва, велся тщательный сбор информации о

пленных. Василий III в инструкции послам указывал, что они должны спрашивать о пленных: кто из московитов еще жив, кто умер, где они содержатся. Все это они должны были записать: «да то на собе написати на список, да тотъ списокъ привезти къ великому князю» (Сб РИО, т. 35, № 94, с. 645, 651, 654, 657, 659, 660, 669).

Нормам, принятым на официальном уровне, не всегда следовали на уровне неофициальных личных контактов. В переговорах строго исключалась возможность выкупа пленных, однако выкуп принимался, когда речь заходила о судьбе не очень важных пленных: в Литовской метрике есть запись о выплате из казны восьми кап (480) грошей Левоничю Ламану для выкупа из московского плена его дочери (LM 8, nr. 573, p. 423). В источниках описан и такой случай: в 1526 году Жигимонт Старый освободил обнищавшего купца Игната Смоленского от походов против татар, пока его дети не достигнут совершеннолетия. Этот купец разорился после того, как выкупил из московского плена свою жену, которая, как и всё богатство купца, попала в руки московитов в Смоленске (АЮЗР 1865, № 111, с. 134). Нельзя утверждать, что эти случаи опровергают раннее высказанные предположения. Более вероятно, что это были редкие исключения из правил, которые московиты позволяли по отношению к попавшим в плен женщинам и детям, разрешая их родственникам выкупать их из плена. По сути дела, в третьем десятилетии никаких новых изменений не произошло, а застаревшие проблемы и далее затемняли взаимные отношения.

Новый вооруженный конфликт – военные действия у Стародуба в 1534–1537 гг. – завершил серию войн между ВКЛ и Москвой первой половины XVI века, так и не закрепив определенного первенства ни за одной из сторон (Кром 1999, 147). После этой войны начался новый этап переговоров Литвы с Московским государством, который не внес больших перемен в межгосударственные отношения. Взаимный диалог и далее затрудняли старые проблемы, которые не удалось разрешить с самого начала столетия. Подписание мирного договора опять стало основной задачей дипломатов ВКЛ и Москвы. Однако в этот период эту задачу так и не удалось решить из-за старых территориальных претензий, исключавших возможность договориться. Поэтому переговоры заканчивались предложениями о подписании перемирий, которые опять связывались с вопросом о пленных.

Как и на предыдущем этапе переговоров, Москва инициировала вопрос об обмене военнопленными, начав обсуждение проблемы об условиях их содержания и посещения (Сб РИО, т. 59, № 7, с. 119–120, 123; № 9, с. 158–162; № 10, с. 173, 183–188, 199; № 11, с. 205). Но уже привычная повестка переговоров была дополнена рядом новых аспектов. До этого времени политики с обеих сторон использовали вопрос о пленных, стремясь добиться уступок на переговорах, хотя в дипломатической фразео-

логии отдельная личность не была приоритетом, а в большинстве случаев люди исследуемой категории фигурировали как группа людей, объединенных условиями плена. Третье десятилетие XVI века показало, что привычные средства и традиционные методы не дают желаемых результатов. Старая дипломатическая практика скомпрометировала себя, поэтому урядники ВКЛ в поисках новых форм для возобновления прервавшихся переговоров решили воспользоваться статусом известного пленника стародубского управляющего Федора Оболенского Овчины. В начале 1536 года в Москву прибыл слуга бывшего Стародубского воеводы Федора Оболенского Овчины Андрюша Горбатый и гонец старосты Гродно Георгия Николая Радзивилла. Гонец Гайка передал желание высокого урядника ВКЛ стремиться к подписанию мирного договора. Хотя в послании были использованы привычные формулировки, для усиления серьезности намерений было упомянуто имя Федора Оболенского, которому приписали даже инициативу переговоров. В послании утверждалось, будто бы он сам обратился к литовским сановникам с просьбой возобновить официальные межгосударственные контакты (Сб РИО, т. 59, № 3, с. 14–29). Такой пролог переговоров не был особенно удачным, однако этот шаг дипломатии ВКЛ свидетельствует о поиске новых методов, в разработке которых был использован и образ военнопленных.

В качестве еще одной перемены конца четвертого десятилетия можно назвать единичные случаи обмена пленными, которые зафиксированы уже в реестре военнопленных в 1538 году. Часто в источниках даже указывается, какой именно московит выпущен на волю для обмена, например – в списке пленных в Вильнюсе отмечено, что по приказу государя в Москву отпущен Владимир Колычов, который был обменян на находящегося в Московском плену пана Матвея: «а тот пущон на росказанъе господарское, Володимер Колычов, до Москвы за пана Матея на обмену» (Rejestry 1994, 465). Для иллюстрации процедуры обмена можно привести находящиеся в Литовской Метрике письма Жигимонта Старого 1540 года. В них великий князь приказывает государственному маршалке, старосте Бреста, Александру Ходкевичу из Киевца отпустить пленного московита на волю, чтобы обменять его на полочанина Андрея Валфромеевича, томящегося уже двадцать пять лет в заключении в Москве. Ситуация, описанная в документе, позволяет предположить, что вначале инициатива обмена принадлежала самому заключенному и его родственникам, изложившим просьбу великому князю; тот своими указами решил проблему на официальном уровне. Подобные обмены производила и противоположная сторона, предлагая во время переговоров возможных кандидатов на обмен: в инструкциях, данных в 1542 году отправлявшимся в Литву московским послам, содержится распоряжение обменять пленного стародубского сановника князя Семена Сицкого на князя Петра Мосальского: «и имъ говорити о князе Семене о Сицкомъ, штобы князя Петра

Мосалского королъ взялъ на обмену князю Семену Сицкому» (Сб РИО, т. 59, № 10, с. 183).

Хотя, как уже говорилось выше, Москва отвергала принятые в Европе нормы обращения с военнопленными и не принимала литовские предложения выкупить из плена жителей ВКЛ, попавших в руки московитов, в тех случаях, когда не получалось другими способами освободить из плена военачальников Московского государства, в Москве неожиданно «вспоминали» и о возможности выкупа. В инструкции послам, отправлявшимся в Литву летом 1549 года, было указано, сколько можно заплатить, если Литва согласится за выкуп освободить из плена Михаила Голица и Федора Оболенского Овчину: «и нечто похотятъ князя Михайла Голицу и князя Федора Овчину и иныхъ которых на окупъ дати, и Михайлу съ товарищи давати за нихъ тысячъ до дву или до полутретьи, а болши не довати» (Сб РИО, т. 59, № 19, с. 323). Однако, лишь на основе этого факта нельзя делать вывод, что у московитов в середине XVI века начали меняться нормы обращении с пленными. Этот случай, скорее всего, можно интерпретировать лишь как еще одну попытку Москвы освободить представителей своей военной элиты, так как это имело определенный моральный аспект, как утверждает польский исследователь И. Граля. (Grala 2000, 462–463). Кстати, ВКЛ проигнорировало предложение Москвы; вопрос выкупа военнопленных не обсуждался, а литовцы ограничились лишь обещаниями улучшить условия жизни заключенных в неволе (Сб РИО, т. 59, № 19, с. 323). Об упомянутом выше Михаиле Голице, освободить которого стремилась Москва, в Литве вспомнили только в 1552 году, когда из-за титула Ивана IV обострился дипломатический конфликт (ВКЛ отказалось признать Московского государя царем (Хорошкевич 2003, 68)) и это угрожало некоторыми осложнениями межгосударственных отношений. Литва для решения проблем своей внешней политики еще раз попыталась использовать пленных знатного происхождения: вместе с посланниками ВКЛ в Москву были отправлены двое военнопленных, участвовавших в битве при Орше – Михаил Голица и Иван Селеховский (Сб РИО, т. 59, № 23, с. 355, 356, 358). По-видимому, этот шаг «доброй воли», который должен был содействовать нормализации отношений, не выполнил своей задачи, потому что переговоры в Москве завершились достаточно скандально, достигнув апогея «войны титулов». После окончания переговоров посол ВКЛ отказался принять грамоту царя, так как в ней Жигимант Август был титулован только «Великим Князем Литовским», без упоминания в ней его титула «короля Польского» (там же).

Обобщая вышеизложенные факты, можно отметить, что несмотря на некоторые модификации, которые в корне не изменили общую ситуацию, вопрос пленных за исследуемый период так и не был решен, а сложившееся в начале века положение военнопленных перечеркнуло возмож-

ность договориться. Решение этого вопроса было тесно связано с решением других межгосударственных проблем: военнопленные трактовались как «политические заложники», которых другая сторона могла освободить только в случае выполнения предъявленных ей требований.

Литература

АЗР 1848 – Акты, относящиеся к истории Западной России. Собранные и изданные Археографической комиссиею, т. 2 (1506–1544). Санкт-Петербург, 1848.

АЮЗР 1865 – Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, т. 2. Санкт-Петербург, 1865.

Власть и реформы 1996 – Власть и реформы: от самодержавной к советской России / ред. Б.В. Ананьич, Р.Ш. Ганелин, В.М. Панеях. Санкт-Петербург, 1996.

Зимин 1972 – Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. Москва, 1972.

Кром 1999 – Кром М. Стародубская война (1534–1537 гг.) // Очерки феодальной России. Москва, 1999.

ПДС 1851 – Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Санкт-Петербург, 1851.

Сб РИО – Сборник императорского русского исторического общества.

СГГД 1815 – Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Москва, 1815.

Хорошкевич 2003 – Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. Москва, 2003.

Acta Tomiciana 1856 – Acta Tomiciana. Epistole. Legatione Responsa. Actiones. Regeste. Serenissimi principis Sigismundi, ejus nominis primi, regis Polonie, magni ducis Lituanie, Russie, Prussie, Masovie domini. Per Stanislaum Górski. Posnaniae, 1856, t. 5.

Antanaitis 1997 – Antanaitis K. Riterijos apraiškos Lietuvoje XIV–XVI amžiais // Darbai ir dienos, nr. 5 (14), 1997.

Banionis 1998 – Banionis E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinių tarnyba XV–XVI amžiais. Vilnius, 1998.

Bielski 1856 – Kronika Marcina Bielskiego. Sanok, 1856.

Biskup 1965 – Biskup M. Spisy jeńców polskich z bitwy pod Choinicami // Przegląd historyczny. Warszawa, t. 56, z. 1, 1965.

Chojnicka 2001 – Chojnicka K. Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Kraków, 2001.

Decjusz 1960 – Decjusz J. Księga o czasach króla Zygmunta. Warszawa, 1960.

Dundulis 1971 – Dundulis B. Lietuvos užsienio politika XVI a. Vilnius, 1971.

Ekhdal 1994 – Ekhdal S. The Treatment of Prisoners of War during the Fighting between the Teutonic Order and Lithuania // The military orders. Fighting for the faith and caring for the sick. London, 1994.

Grala 2000 – Grala H. Jeńcy spod Orszy: między jagiellońską "propagandą sukcesu" a moskiewską racją stanu (1514–1552) // Aetas media, aetas moderna. Studia ofierowana profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi. Warszawa, 2000.

Gudavičius 1997 – Gudavičius E. Kas buvo XVI a. bajorija? // Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997.

Gudavičius, Lazutka 1981 – Gudavičius E., Lazutka S. Riteriai // Lietuvos istorijos metraštis, 1980 metai. Vilnius, 1981.

Huizinga 1996 – Huizinga J. Viduramžių ruduo. Vilnius, 1996.

Kiaupienė 2003 – Kiaupienė J. „Mes Lietuva". Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a. Viešasis ir privatus gyvenimas. Vilnius, 2003.

LM 5 – Lietuvos Metrika. Užrašymų knyga 5 (1427–1506). Vilnius, 1993.

LM 7 – Lietuvos metrika. Užrašymų knyga Nr. 7: Микрофильм из Российского государственного исторического архива древних актов (Москва).

LM 8 – Lietuvos Metrika. Užrašymų knyga 8 (1499–1514). Vilnius, 1995.
Nikžentaitis 1992 – Nikžentaitis A. XIII–XV a. lietuvių kariuomenės bruožai (organizacija, taktika, papročiai) // Karo archyvas. Vilnius, 1992.
Nikžentaitis 1997 – Nikžentaitis A. Belaisviai Lietuvoje ir Vokiečių ordino valstybėje (1283–1409) // Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997.
Pelech 1987 – Pelech M. W sprawie okupu jeńców krzyżackich z Wielkiej Wojny (1409–1411) // Zapiski historyczne, t. 52, z. 1, Warszawa, 1987.
Pelenski 1977 – Pelenski J. The Origins of the Official Muscovite Claims to the Kievan Inheritance // Harvard ukrainian studies. Vol. 1, No. 1. Cambridge, Massachusetts, 1977.
Rejestry 1994 – Rejestry jeńców moskiewskich na Litwie w pierwszej połowie XVI wieku / wydał Michal Krom // Przegląd wschodni, t. 3, z. 3 (11). Warszawa, 1994.
Samsonowicz 1971 – Samsonowicz H. Złota jesień polskiego średniowiecza. Warzsawa, 1971.
Wapowski 1874 – Kroniki Bernarda Wapowskiego, część ostatnia // Scriptores rerum polonicarum, t. 2. Kraków, 1874.

http://www.bibliorossica.com

http://www.bibliorossica.com

Потребность в литовском языке и масштабы его использования в конце XV в. и в первой половине XVI в. в Великом княжестве Литовском *

А. Дубонис (Вильнюс)

Положение литовского языка в ВКЛ с первого, поверхностного взгляда кажется неутешительным. Официальная, публичная жизнь, государственное делопроизводство долго фиксировались на *руском* языке, потом его заменил польский. В стихотворении того времени говорится:

Polska kwitniet łacinoju,
Litwa kwitniet rusczíznoju,
Bez toj w Polsze nie prebudiesz,
Bez siej w Litwie błazen budiesz[1].

Народ, создавший государство ВКЛ вплоть до выхода первой литовской книги в 1547 г., пребывал как бы в молчании – оставил лишь три кратких памятника письменности, молитвы *Отче наш (Tėve mūsų)*, *Дева Мария (Sveika, Marija)* и *Символ Веры (Tikiu ingi Dievą Tėvą)* на внутренней стороне обложки в книге, изданной в 1503 г. До сих пор у многих ученых в ходу тезис «обрусения» или «полонизации» Литвы, этнических литовцев. Литовские исследователи по данному вопросу проводят с ними полемику. Несколько десятилетий тому назад насчет положения литовского языка в ВКЛ в своих работах высказались проф. К. Яблонскис, Ю. Лебедис, акад. З. Зинкявичюс, З. Кяупа[2].

---

* Дополненный и исправленный вариант этой статьи опубликован в: Дубонис 2004.

[1] Четверостишие, находящееся в копии Первого Литовского Статута, цитируется по: Bardach 1998, 6.

[2] Из наиболее существенных работ: Jablonskis 1941; Jablonskis 1973a, 272–290; Jablonskis 1973b, 36–49; Lebedys 1976; Zinkevičius 1987, 111–146; Zinkevičius 1988, 152–156; Kiaupa 2000, 66–90.

Вернуться к более или менее удачно решенному вопросу меня подтолкнули белорусские коллеги, историки и лингвисты. Как правило, в своих работах и выступлениях они называют «старобелорусский» язык государственным языком ВКЛ. В этом они делают методическую ошибку, суть которой прекрасно сформулировал Кяупа: «…язык письменности – это еще не разговорная речь» (Kiaupa 1988, 29); добавим к этому – и не государственный язык, так как в Литве употребляли и латынь и польский. К заключениям соседей-историков недавно присоединился литовский проф. С. Лазутка. Он категорически утверждает, что паны, бояре, мещане и даже часть крестьянства владели «старобелорусским». Данный вывод обрадовал лауреата Нобелевской премии Ч. Милоша. Ему отчасти стало ясно, откуда на его родине в Кедайняйском крае появился польский язык. Он пришел на смену «старобелорусскому». Но он не согласился со всем и тонко подметил: «…каким путем старобелорусский распространился в Кедайняйском крае, где деревенский народ не был православным и не говорил на славянских языках» (LM 6, cxix–cxxii; Lazutka 1997, 27–33; Miłosz 1997, 9–11). Ответ прост: не было в этнической Литве широких регионов с употреблением «старобелорусского» языка. Причиной полемики стала методически неправильная интерпретация исторических данных.

Источники по истории Литвы по вопросу употребления литовского языка в ВКЛ очень немногочисленны. Сотни городских актовых книг, многие судебные книги разных инстанций были уничтожены или бесследно пропали во время оккупации ВКЛ русскими и шведскими войсками в середине XVII в., а также во время частых пожаров (Ragauskas 2001, 260–266; Baliulis 1988, 46–59; Raudeliūnas 1988, 22). В Литовской Метрике, в нескольких книгах городов с магдебургским правом и в некоторых других отрывках мы находим только фрагменты, по которым невозможно составить четкую, непрерывную картину ежедневной жизни общества в ВКЛ от верхов до самых низов. Недостаток источников искажает реальную картину прошлого ВКЛ в XV – первой половине XVII в. Какую уникальную информацию о многоязычии в ВКЛ мы потеряли, покажут чудом сохранившиеся несколько книг Каунасского магистрата XVI в. Итак, данные об употреблении литовского языка в публичной жизни в XV – первой половине XVI века настолько редки и единичны, что приводят в отчаяние: о чем они информируют – об исключении из правила или о самом правиле, т. е., правильно ли считать широчайшее распространение «руской» письменности в канцеляриях и среди грамотных людей в этнической Литве фактом «обрусения» литовцев. Если следовать этой логике, придется признать правильным такой вывод: распространение христианства в Литве проводилось на латыни и «руском», так как литовских католических текстов не было до конца XVI в. Непродуманный, категоричный вывод, основанный на единичном факте, как это произошло с проф. Лазуткой, без особых усилий может быть опровергнут другим. Например,

12.08.1535 г. жемайтийские тиуны и бояре жаловались королю и в.кн. Жигимонту Старому на своего старосту и военачальника Йонаса Радвилу по поводу того, что он заставлял жемайтские войска выполнять необычные военные задания: разведывать продвижение московских войск у Полоцка, брать языков и, конечно, допрашивать их. Особо трудным было последнее задание. Боевая элита жемайтского боярства заявила, что «мове руской добре не знають» и были с пониманием приняты господарем[3].

Не станем углубляться в аспекты крещения Литвы, в ходе которого катехизация народа проводилась на литовском, при активном участии короля польского Йогайлы и великого князя литовского Витаутаса. Ученые приходят к выводу, что тогда появились первые тексты на литовском (Jablonskis 1973b, 45; Jovaišas 1989, 15). В те судьбоносные для Литвы годы – крещение, политический союз с Польским королевством, победа в борьбе с Немецким орденом за независимость – устный вариант литовского языка стал, подчеркиваю, одним из языков дипломатии в Восточной и Центральной Европе. В январе 1429 г. на съезде монархов в Луцке в. кн. Витаутас со своим двоюродным братом, королем Йогайлой по-литовски обсудили вопрос коронации первого короля Литвы (Prochaska 1882, 816). Высокие должностные чины Немецкого ордена в Пруссии владели литовским[4]. Правящая в Литве и Польше династия Гедиминовичей-Ягеллонов и литовские паны обращали определенное внимание на употребление литовского языка в ВКЛ в течение почти всего XV в. В 1440 г. из Кракова в Вильнюс прибыл в. кн. Казимир. Благодаря польскому историку Яну Длугошу мы знаем, что литовские паны позаботились о том, чтобы великий князь научился литовскому языку и обычаям (LTŠ 1955, 156). До его отъезда в королевство Польское в 1446 г., во время переговоров с польской стороной об условиях избрания Казимира королем было согласовано, что при его дворе в Польше рядом с поляками смогут служить и дворяне, говорящие по-литовски[5]. За время правления Казимира в Литве

[3] Письмо в. кн. Жигиманта Старого 12.08.1535 жемайтийскому старосте Йонасу Радвиле о том, чтобы он придерживался древнего обычая, посылая жемайтов на стражу или на разведку к врагу (LM 19, l. 51v–52v).

[4] Маршал Х. Холте в 1430 г.: Prochaska 1882, 920.

[5] Одно из обязательств польского дворянства будущему королю Казимиру 19.09.1446: *…familiares linguagii cuiuscunque tenere, habere et fovere…*, см. Kutrzeba, Semkowicz 1932, Nr. 69. То, что другой язык здесь – литовский, подтверждает известный привилей в. кн. Казимира 02.05.1447, в котором предполагается, что вакантные должности в костеле займут литовцы, поляки *alterius nationis persona* – в крайнем случае, см. Фрагмент привилея в. кн. Казимира 1447 г. (LM 25, 1998, 47 (Nr. 2.4)). В обоих документах два народа или языка – это литовцы и поляки. Это равновесие во втором документе прокомментировал Й. Тумялис, см. Tumelis 1986, 12.

(1440–1492) внутренние и внешние дела государства в раде панов решались – по наблюдениям гданьских мещан в 1492 г. – на польском, литовском и «руском»[6]. Приведенные выше данные не случайны. Они соответствуют более общей тенденции: в XV в. долгое время не только литовская знать, но и господарь Литвы со своим двором говорили или понимали по-литовски, на этом языке решали некоторые вопросы государственного управления, конечно, наряду с другими языками. Лингвистическую ситуацию этого столетия в ВКЛ в своей речи папе римскому Александру VI искусно и изящно обобщил секретарь канцелярии в. кн. Александра (1492–1506), каноник капитула Вильнюсского епископства Эразмус Цёлек (Вителиус) 31 марта 1501 г. в Риме. Он подчеркнул, что литовцы говорят на своем языке, усилив свое определение словом *observare*: «язык строго соблюдают, уважают, берегут» (*Linguam propriam observant*). Уточнил, что в ВКЛ широко пользуются «руским» языком, более легким и простым, на нем говорит половина государства[7]. Цёлек разъяснил, что позиции «руской» письменности и грамотности были очень крепкими, а основные языки государства – литовский и «руский», католики и православные – жили в идеальной гармонии и мире. А этого так не хватало взаимоотношениям ВКЛ и ВКМ. С другой стороны, менее информированный человек, стало быть, приходил в удивление от того, что народ, являвшийся титульным в государстве ВКЛ и бывший его создателем, так широко пользовался не родным языком. Нужные объяснения любопытному давали самые высокие должностные лица государства: секретарь канцелярии в. кн. Цёлек или вильнюсский войт Августин Ротундус во второй половине XVI века – о таком отважном, доблестном, приятном завоевателю-литовцу «руском», что даже языки обоих народов стали перемешиваться; а к тому же славянский язык очень удобный, так как распространился в большой части Европы (Lenko pasikalbėjimas 2000, 186).

Данное языковое равновесие подрывал другой процесс. Польский язык распространялся через королевский двор и отчасти католический костел. За период до середины XVI века литовский язык вышел из употребления в господарском дворе, родной язык исчез из уст этнически литовской знати. Конечно, она и далее была литовской, не стала «руской» или польской, просто менялась лингвистическая ориентация. Вместе с тем, внимание великого князя и правящих кругов государства к литовскому языку осталось, и было важнейшим фактором его сохранения до наших дней. По имеющимся данным видно, как король и великий князь следили за делами распространения веры на понятном литовцам родном языке. Без всяких оговорок поддерживались просьбы настоятелей в при-

[6] HU 1916, 364. Комментарии: Jablonskis 1973b, 37.

[7] Oratio Erasmi Vitellii … ad Alexandrum VI, pontificem maximum …, Theiner 1861, 278.

ходах получать довольствие на содержание помощников викариев для литовских проповедей, исповедей и других религиозных обрядов на литовском языке (Lebedys 1976, 124–133; Tumelis 1986, 12)[8]. Великий Князь Александр предпринял попытку увеличить число литовскоязычных священнослужителей Литвы. В Вильнюсском епископстве 18 сентября 1501 г. он передал право патроната над 28 приходами и 5 костелами епископу Альбертасу Табору (Tumelis 1986, 12). Господарь шел навстречу в вопросе употребления литовского в магдебургских городах Литвы: в привилее Каунасу (1540 г.) и при подтверждении Вильнюского вилькюра (правил) 1551 г. были введены клаузулы об основных языках официальной жизни обоих городов: в Вильнюсе – польский, литовский и «руский», в Каунасе – литовский и польский (Kiaupa 1988, 28; Dubiński 1788, 96). Можно заключить, что информацию о лингвистическом состоянии в многонациональном государстве правящие круги получали из церковных слоев, городов. Нельзя обойти молчанием еще один источник информации, о нем мы уже упоминали – сотрудников великокняжеской канцелярии и связанных с нею должностных лиц. Во времена правления Жигимонта Старого (1506–1548) с высокими должностными лицами государства и канцелярии Литвы по вопросам отношений с ВКМ многократные контакты в 1517 и 1526 гг. имел императорский посол Сигизмунт Герберштейн. Он оставил яркие наблюдения о Литве и литовском языке. О некоторых нюансах он мог узнать лишь от грамотных государственных служащих. По его словам, внутри Руси в широком смысле слова «только две нерусские области – Литва и Жемайтия … они говорят, однако, на своем языке … впрочем, живут в них большей частью русские» (Герберштейн 1988, 59). Эти многочисленные русские – несомненно, беженцы от наступления Московского Великого княжества, продвигавшегося на запад, силой занимая восточнославянские земли ВКЛ. Очень плохое мнение об этих беженцах высказал именно секретарь канцелярии господаря Венцлав Миколаевич в первой половине XVI в., автор труда «О нравах татар, литовцев и москвитян» Михалон Литвин. Он утверждал, что «руские» Литвы состоят на службе у в. кн. Московского и подрывают ВКЛ изнутри (Mykolas Lietuvis 1966, 59; Ochmański 1986, 134–157). Это был государственный чиновник с гуманистическим образованием и кругозором, считал себя литовцем и идентифицировал себя со всем литовским этносом – от вельможи до несвободного человека. Его патроном был зна-

[8] Из более новых фактов наиболее интересны: в. кн. Жигимант Старый 27.01.1524 наказывает настоятелю костела Эйшишского прихода иметь проповедника, знающего литовский язык (LM 12, 559, Nr. 720); Леонас Сапега в 1596 г. дал костелам в Икажне и Новы Погост (Бреславская волость) земли и потребовал, чтобы их настоятели или викарии заботились о литовском языке (Hedemann 1930, 5–6).

менитый канцлер Альбертас Гоштаутас. Литуанистические заслуги и своеобразный национализм этого могущественного представителя Литвы широко известны: отделение монастырей литовских монахов бернардинцев (францисканцев) от польских, поддержка деятелей литовской религиозной письменности, глубокое недоверие к некоторым панам Великого княжества «руского», «русинского» происхождения. Труд Михалона Литвина был поучением и информацией для молодого короля и великого князя Жигимонта Августа, самостоятельного правителя Литвы в 1544–1548 гг., еще при жизни отца. Он ставил короля в известность о лингвистических проблемах в государстве: в Литве приходится изучать науку (грамоту) москвитян потому, что отсутствуют настоящие гимназии для получения образования (коллегии, высшие заведения). В них бы обучались латыни. Ведь «руский» язык литовцам, выходцам из Италии, чужд (Mykolas Lietuvis 1966, 49). Это заявление напрямую перекликалось с попытками некоторых ответственных лиц усилить употребление литовского языка в официальной жизни. Им должна была стать латынь, так как литовский был объявлен ее «говором». Остается лишь догадываться об остроте полемики по данному вопросу среди занимавших ответственные должности интеллектуалов ВКЛ. Некоторые из них явно ставили целью вытеснить «рускую» письменную традицию и отчасти язык из государственного управления. Причина была проста: этим языком пользовался «извечный неприятель литовского господаря – великий князь московский». Тенденция вытеснения заметна с начала XVI в., особенно после восстания князя Глинского в 1508 г. Перестали быть единичными случаи, когда бояре ВКЛ решались на немалые расходы и в великокняжеской канцелярии свои «руские» привилеи переписывали на латынь[9]. В Каунасе в великокняжеском привилее 1540 г. были предусмотрены два языка для судопроизводства – литовский и польский. Следуя за Михалоном Литвином, Вильнюский войт Ротундус в предисловии переведенного им на латынь Второго Литовского Статута в 1576 г. призывал короля Республики Обоих Народов Стефана Батория в государственных делах Литвы как можно реже пользоваться языком Московского Великого княжества и предлагал литовский, т. е. латынь – более чистый «литовский» (Augustinas Rotundas, 281–282). Но «руская» письменность в официальной жизни ВКЛ имела стародавние традиции, глубоко пустила корни в обычаи Литвы, имела продуктивные образовательные структуры. Попытка искоренить «руский» язык потерпела неудачу. Ротундус лично участвовал в подготовке Второго Литовского Статута в 1566 г., но не реализовал свою лингвисти-

---

[9] Вопрос совсем не изучен. Типичный пример: писарь канцелярии ВКЛ Василий Петрович переписывает полученный от правителя русский привилей на латинский язык 02.07.1519, см. LM 11, 92, Nr. 75

http://www.bibliorossica.com

ческую программу в основном правовом кодексе государства. Как знак победы в полемике официальных языков в ВКЛ следует считать введенное в 1 пункт IV раздела Второго Литовского Статута требование, чтобы в новых земских судах делопроизводство велось «по-руски»: *A pisarz ziemski ma po rusku, literami i słowy ruskiemi wszystkie listy i pozwy pisac, a nie inszym ięzykiem y słowy…* (Pomniki 1900, 72). Это был новый суд в Литве, созданный по образцу польского судопроизводства. Для него реформаторы-традиционалисты отстояли «руский» язык вместо польского или латыни. Победу закрепили в Третьем Литовском Статуте в 1588 г., где это требование дополнительно установили и для писаря замкового суда: писарь обязан знать право и «руское» письмо (37 пункт, IV раздел) (Lappo 1938, 211). Наконец с высокой позиции подканцлера ВКЛ Лев Сапега в предисловии к Третьему Литовскому Статуту поставил точку по данному вопросу «…не обчымъ якимъ языкомъ, але своимъ власнымъ [т. е. – руским] права списаные маемъ…» (Lappo 1938, 17). К слову сказать, приведенные выше факты нельзя считать объявлением так называемого «старобелорусского» языка Статутов государственным в ВКЛ, что слишком часто делают белорусские историки и лингвисты. В Статутах лишь констатировалось, что руский оставался языком официальной деловой письменности государства, наряду с латынью и усиливающимся польским.

С другой стороны, юридическая забота о «руском» языке, которую демонстрировали высокие должностные лица государства, свидетельствует о его слабеющих позициях. Польский язык теснил и «руский», и литовский. Представители обоих основных народов ВКЛ, литовцев и «руского» населения, выражали недовольство. Официально Сапега избегал упреков польскому, но они явно прослеживаются в ТЛС. Администраторы более низкого уровня высказывались более открыто. В 1569 г. Смоленский воевода, Пинский и Минский староста Василий Тышкевич отказался выполнять написанное по-польски письмо короля и великого князя Жигимонта Августа. Письмо в канцелярии переписали «по-руски»[10]. Тридцать лет спустя, в 1599 г. каноник Жемайтский Микалоюс Даукша в предисловии к католической «Постилле» (чтениям) призывал литовское боярство в государственных делах пользоваться родным литовским языком (Daukša 1926). Причиной призыва стали политические реформы 1564–1566 гг. в крае, в ходе которых были введены боярские повятовые сеймики, бояр-

[10] Письмо великого князя Жигиманта Августа Смоленскому воеводе, старейшине Минска и Пунска Василию Тышкевичу 10.10.1569, в котором он наказывает дать три волока земли писарю владельца земли Йонасу Терлецкасу (LM 52, l. 62–62v.). Великий князь Жигимант Август упрекает «…ти ся того сельца ему еще не поступил … а особливе дей вымову твоя милость чинишъ тымъ, иж есмо через лист нашъ по-польску писаный твоей милости росказали…».

ские земские суды и главный апелляционный суд, Трибунал. Это были политические и правовые структуры, принесенные из Польши, через них в государстве распространялся польский язык в ущерб родному литовскому.

Горизонт употребления литовского языка в официальной жизни становился неясным, как и «руского». Его объявление латинским наречием показывает, что в цепи использования появились изъяны. И хотя управляющая элита государства перестала употреблять литовский в официальной жизни, но все-таки поддерживала его до такой степени, что язык не превратился в маргинальный деревенский язык, каким стал пару сотен лет спустя. Мы должны говорить о своеобразном лингвистическом давлении снизу, к которому верхи не были безразличны. Тому есть несколько причин: в период реформации выросло значение национального языка; при потере земель с русским населением на востоке государства в ВКЛ механически увеличивалось число литовцев; происходили трения между рускими, оседавшими в этнической Литве, беженцами от Московского в. кн. и литовцами. Литовцы в большинстве своем, даже боярство, говорили лишь на одном родном языке. Мы уже цитировали обращение к господарю жемайтского войска в 1535 г., где они признались в незнании руской мовы и были поняты им с сочувствием. Очевидно, что в судах и делах управления краем, где господствовали ясные, четкие юридические термины и понятия с правовыми последствиями, литовцы не пользовались чужим языком. Тот же Даукша в предисловии к «Постилле» подчеркивал, что народ, т. е. большая часть боярства, не говорил на чужом языке – в данном случае по-польски, к тому же, под конец XVI века[11].

Но жемайты в 1535 г. обратились к господарю письмом, написанным по-руски – при составлении письма устная литовская речь была превращена в рускую письменную. Легко догадаться, что в составлении письма участвовал грамотный многоязычный посредник между этносами и культурами. Этих посредников очень трудно найти, данных о них мало. Хотя на основе исследованных фонетических, грамматических и лексических литуанизмов в «руской» письменности Литвы делается вывод, что образованные писари-литовцы в этнической Литве XVI в. были в большинстве (Zinkevičius 1987, 122). При дворе великого князя это были дворянелитовцы, секретари и писари канцелярии и скарба, некоторые государственные чиновники в центральной администрации. Например, 29 августа 1528 г. великий князь отправил своего дворянина Йонаса Орвидаса в Жемайтию переписать население и его повинности; а 20.11.1531 г. выехал

---

[11] Daukša 1926: *Bo acz w prawdzie rzadki iest u nas zwłaszcza z przedniejzsych, ktoryby więzyku polskim biegłym nie był y kazania, polskim iężykiem pisane, czytać przez się nie mogł, wszakże, moim zdaniem, większa* (напечатано – *wietsza*, примеч. мое – *А.Д.*) *iest takich część, ktorzy go albo nie rozumieią, albo w nim mało co są świadomi*.

другой – Богдан Митькович, о котором господарь заметил жемайтам, что он, как и они, местный[12]. Очень высокий пост в канцелярии занимал упомянутый Венцлав Миколаевич (Михалон Литвин). Сам он был из мелких бояр Майшягальского повета. Еще больше таких грамотных посредников трудилось в местных администрациях и правовых государственных структурах. Данных о них мало, но их заслуги огромны. Для этого вопроса чрезвычайно важен обнаруженный проф. Лазуткой документ об употреблении литовского языка в великокняжеском суде в мае 1529 г.[13] В суде разбиралась жалоба Эйшишского боярина на свободного человека по поводу ложного свидетельства последнего, вследствие чего первый лишился двух крепостных крестьян. Детский и судьи с потерпевшей стороной отправились на место, чтобы выслушать нужные свидетельства. Там боярин стал по-литовски уговаривать свидетелей дать ложные показания в его пользу. Детский понял суть происходящего и доложил судьям о неправильном свидетельстве. Он является интереснейшей фигурой в данном документе. Это Василий Белянин, русский ВКЛ. Он – по крайней мере, двуязычный чиновник суда, владеющий литовским. Он – в некотором смысле слова переводчик, хотя эта его функция второстепенна, ибо такого штата в судах ВКЛ не было. Переводчиком становилось любое должностное лицо. Данные о таких людях есть. Литовскому в ВКЛ учились. Чудом уцелевшие каунасские источники под 1562 г. информируют о польском мальчике, обучавшемся в семье литовскому языку, а под 1567 г. – таким же образом литовскому и польскому языку обучался немецкий мальчик (Lebedys 1976, 192)[14]. Незнание литовского языка стало причиной отставки с должности лавника Каунасской магдебургии немца Андреаса Войта в 1538 г.[15] Каждый обыватель ВКЛ имел право понимать происходящее в публичной жизни на родном языке. Разъяснять по-

[12] Сообщение великого князя Жигиманта Старого 29.08.1528 жемайтским тиунам, что к ним приезжает секретарь властителя Станисловас Скапас и придворный Йонас Орвидас, чтобы переписать жителей и их налоги (LM 15, l. 59–60); Сообщение в. кн. Жигиманта Старого 29.08.1528 жемайтским тиунам, что он посылает своего придворного Багдонаса Миткавичуса контролировать прибыль из Жямайтии, принадлежащую казне (LM 15, l. 124–124v).

[13] Решение суда поверенных ВКЛ 07.05.1529 по поводу обвинения, предъявленного дворянином Эйшишской волости Пятрасом Самаракасом свободному человеку Сенкусу Ивашкавичюсу в даче ложных показаний (LM 6, 89–90 (Nr. 113)).

[14] Литовцы учат русский язык. Ценное замечание А. Йовайши об обнаруженном в Литовской летописи факте, как члены семьи великого князя учили русский язык в XIII в. см.: Jovaišas 1989, 23. Несомненно применение повседневной нормы XV – начала XVI в. к более ранним временам.

[15] VUB RS, f. 7, KM, l. 118: *…er sproch halben dem, er im litauischen nicht wol erfaren sei…*.

литовски или на другом официальном языке входило в обязанности администрации государства. Норма была проста: все имели право понять суть дела, в ином случае с человека снималась ответственность. Такую клаузулу можно найти в Вильнюском вилькюре (городских правилах) от 18.11.1551 г.: вызов в суд и запись решений суда в книги должны вестись *…po polsku i po litewsku, i po rusku, aby wszyscy, ktorzy by słuchali, rozumieli* (Dubiński 1788, 96). Каунасский мещанин, некий Мейлус в 1544 г. в городском суде заявил, что не может быть свидетелем из-за того, что ни по-польски, ни по-немецки не говорит (VUB RS, KM, l. 215v). Знание основных языков государства гарантировало грамотному человеку более сытую жизнь, а боярину – более успешную карьеру.

Итак, употребление литовского языка боярством, мещанством, католическим духовенством засвидетельствовано и в управлении краем, хотя и по немногочисленным данным, но достаточно широко. Литовский язык влиял на «руский», и, что важно подчеркнуть, – на его письменную форму. В историографии это известно как проблема заимствования литовских слов в делопроизводство на «руском» в ВКЛ (Jablonskis 1973a, 272–290; Zinkevičius 1987, 123–130). Речь идет о сотнях слов, которыми обозначались особенности литовского социального строя, быта и хозяйства – все, что представляло литовскую культуру и литовские социальные процессы в ВКЛ. Это слова-определения. Они оседали в письменности потому, что писари литовцы и не-литовцы не находили аналогий литовским процессам в руской среде. Первые литовские слова в руское письмо ВКЛ проникли до середины XIV в. Некоторые стали общегосударственными, так как исходили из великокняжеских структур: *diaklo, mezleva, bonda, doilida, rikūnja, sviren, klet'*, некоторые остались локальными: *жыбиньтяй, букштель* только на Витебщине в Белоруссии. Ясно, что в канцеляриях этнической Литвы литовских слов обнаружено подавляющее большинство. Масштабы распространения литовских слов-определений уже в который раз свидетельствуют о широком употреблении этого языка в публичной жизни ВКЛ.

Власть заботилась о лингвистическом равновесии, поддерживала полилингвизм, что обеспечивало стабильность в обществе и государстве. Полилингвизм был от Бога, который перемешал языки при строительстве Вавилонской башни. Литовский язык в этой системе на данный момент занимал достойное место.

За предоставленные мне особо ценные сведения о литовском языке в Каунасе благодарю Йоланту Карпавичене.

Литература

Герберштейн 1988 – Герберштейн С. Записки о Московии. Москва, 1988.

Дубонис 2004 – Дубонис А. Да праблемы дзяржаўнай мовы ў Вялікім Княстве Літоўскім // Metriciana. Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т. 3. Мінск, 2004.

Augustinas Rotundas – Augustinas Rotundas. Laiškas Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Steponui (1576) // Šešioliktojo amžiaus raštija / Senoji Lietuvos literatūra, kn. 5. Vilnius, 2000.

Baliulis 1988 – Baliulis A. Trakų magistrato aktų knygos (iki XVIII a. pabaigos) // Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, [kn. 1]. Vilnius, 1988.

Bardach 1998 – Bardach J. O Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Warszawa, 1998.

Daukša 1926 – Daukša M. Przedmowa do czytelnika łaskawego // Daukšos Postilė. Kaunas, 1926.

Dubiński 1788 – Dubiński P. Zbiór praw y przywilejów miastu stołecznemu W(ielkiego) X(ięstwa) L(itewskiego) Wilnowi nadanych [...]. Wilno, 1788.

Hedermann 1930 – Hedermann O. Historja powiatu Brasławskiego. Wilno, 1930.

HU 1916 – Hansisches Urkundenbuch, Bd. 11 / ed. v. W. Stein. München, Leipzig, 1916.

Jablonskis 1941 – Jablonskis K. Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje, d. 1: tekstai. Kaunas, 1941.

Jablonskis 1973a – Jablonskis K. Lietuviški žodžiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės oficialiųjų raštų kalboje ir jų reikšmė Lietuvos kultūros ir visuomenės istorijai // K. Jablonskis. Lietuvių kultūra ir jos veikėjai / sud. V. Merkys. Vilnius, 1973

Jablonskis 1973b – Jablonskis K. Martynas Mažvydas // K. Jablonskis. Lietuvių kultūra ir jos veikėjai / sud. V. Merkys. Vilnius, 1973.

Jovaišas 1989 – Jovaišas A. Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas. Vilnius, 1989.

Kiaupa 1988 – Kiaupa Z. Kauno miesto vaitas ir jo aktų knygos XVI a. – XVII a. pirmojoje pusėje // Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, [kn. 1]. Vilnius, 1988.

Kiaupa 2000 – Kiaupa Z. Kauno vaito XVI a. vidurio knygos prabyla lietuviškai // Kultūrų sankirtos: skiriama doc. dr. Ingės Lukšaitės 60-mečiui. Vilnius, 2000.

KM – Kauno magistrato 1522–1545 m. knyga.

Kutrzeba, Semkowicz 1932 – Akta unji Polski z Litwą 1385–1791 / wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz. Kraków, 1932, Nr. 69.

Lappo 1938 – Lappo J. 1588 metų Lietuvos Statutas, t. 2: tekstas. Kaunas, 1938.

Lazutka 1997 – Lazutka S. Język Statutów litewskich i Metryki litewskiej // Lithuania, 1997, Nr. 1–2.

Lebedys 1976 – Lebedys J. Lietuvių kalba XVII–XVIII a. viešajame gyvenime. Vilnius, 1976.

Lenko pasikalbėjimas 2000 – Lenko pasikalbėjimas su lietuviu // Šešioliktojo amžiaus raštija / Senoji Lietuvos literatūra, kn. 5. Vilnius, 2000.

LM 6 – Lietuvos Metrika (1528–1547). 6-oji Teismų bylų knyga / par. S. Lazutka, I. Valikonytė ir kt. Vilnius, 1995.

LM 11 – Lietuvos Metrika, knyga Nr. 11 (1518–1523), užrašymų knyga 11 / par. A. Dubonis. Vilnius, 1997.

LM 12 – Lietuvos Metrika, knyga Nr. 12 (1522–1529), užrašymų knyga 12 / par. D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius, 2001.

LM 15 – Lietuvos istorijos instituto mikrofilmų kolekcija, Lietuvos Metrika, kn. 15 / [parengė A. Dubonis].

LM 19 – Lietuvos istorijos instituto mikrofilmų kolekcija, Lietuvos Metrika, kn. 19 / [spaudai rengia D. Vilimas].

LM 25 – Lietuvos Metrika, knyga Nr. 25 (1387–1546), užrašymų knyga 25 / par. D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius, 1998.

LM 52 – Lietuvos istorijos instituto mikrofilmų kolekcija, Lietuvos Metrika, kn. 52 / [spaudai parengė A. Baliulis ir R. Firkovičius].

LTŠ 1955 – Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, t. 1. Vilnius, 1955.

Miłosz 1997 – Miłosz Cz. Apie mano šaknis // Kultūros barai, 1997, Nr. 8–9.
Mykolas Lietuvis 1966 – Mykolas Lietuvis. Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius. Vilnius, 1966.
Ochmański 1986 – Ochmański J. Michalon Litwin i jego traktat «O zwyczajach tatarów, litwinów i moskwicinów» z połowy XVI wieku // Dawna Litwa. Olsztyn, 1986.
Pomniki 1900 – Pomniki prawa Litewskiego z XVI wieku // Archiwum komisji prawniczej, t. 7 / wyd. F. Piekosiński. Kraków, 1900.
Prochaska 1882 – Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae / wyd. A. Prochaska. Kraków, 1882.
Ragauskas 2001 – Ragauskas A. 1650 m. kovo 30 d. Vilniaus suolininkų teismo įrašų knygų aprašas // Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, kn. 3. Vilnius, 2001.
Raudeliūnas 1988 – [Vytautas Raudeliūnas, Įvadas] // Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimai 1583–1655 / par. V. Raudeliūnas, A. Baliulis. Vilnius, 1988.
Theiner 1861 – Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia … / ab A. Theiner, t. 2 (1410–1572). Roma, 1861.
Tumelis 1986 – Tumelis J. Stanislovas Rapolionis ir jo laikai // Stanislovas Rapolionis. Vilnius, 1986.
VUB RS – Vilniaus universiteto Mokslinės bibliotekos Rankraščių skyrius.
Zinkevičius 1987 – Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija, t. 2: Iki pirmųjų raštų. Vilnius, 1987.
Zinkevičius 1988 – Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija, t. 3: Senųjų raštų kalba. Vilnius, 1988.

http://www.bibliorossica.com

К проблеме происхождения названия *Lietuvà* ‘Литва’

С. Каралюнас (Вильнюс)

Существует несколько гипотез происхождения названия *Lietuvà* ‘Литва’.

Одной из первых попыток объяснения наименования Литвы было сближение со сходными названиями других стран. Например, В. Стокс почти первым сравнил *Lietuvà* с кельтским *Letavia*, сославшись на лат. *litus* ‘берег моря, побережье, взморье’ и установив первичное значение галльской формы как *Litavia* ‘берег моря (Uferland, Küste)’ (Stokes 1894, 248–249; = Fick 1894). В. Стокс и А. Бецценбергер считали эти литовское и кельтское наименования родственными, но А. Шахматов в соответствии со своей гипотезой, согласно которой на Востоке Балтики когда-то жили кельты, сделал вывод, что обозначения Литвы и Латвии произошли от кельтского *Letavia*: «Думаю, что кельты называли восточное морское побережье Балтии *Litavia*, откуда диалектное *Letavia, Letau*. Когда балты – литовцы на юге, латыши на севере – пришли на это побережье, они присвоили ему название занятых земель» (Schachmatov 1912, 82). А. Шахматов объяснял заимствованием также различные формы наименований Литвы и Латвии в исторических источниках XIII в.: *lat-, let-* (*Lětьgola, Letti*), *liet-, lit-* (*Letthovia, Litthovia, Lithavia, Littevini*).

К. Буга (Buga 1913, 1–38; = Būga 1958, 496–530), М. Фасмер (Vasmer 1913, 172–213, ср. Фасмер 1986, II, 502) и Я. Эндзелин (Endzelīns 1974, 371–374), подвергшие критике гипотезу А. Шахматова и ее аргументацию, установили, что нет данных, указывающих, что в Восточной Балтии жили кельты. Насчет происхождения *Lietuvà* М. Фасмер писал так: «… лит. *Lietuvà*, др.-рус. *Литъва* нельзя считать заимствованием из кельтского *Litavia* ‘берег взморья’ по фонетическим соображениям. Поэтому нам не остается ничего другого, как считать эти два слова родственными с давних времен (urverwandt)» (Vasmer 1913, 204–205). Как отметил М. Фасмер, по различной фонетической структуре этих наименований довольно ясно видно, что *Lietuvà* не может иметь кельтское происхождение. В случае заимствования мы бы наблюдали намного более точное

соответствие звуков. Прежде всего не соответствуют суффиксы: в литовском слове суффикс *-uv-*, в кельтском *-av-*. Принимая во внимания смежную форму *Lietavà*, которой М. Фасмер не знал, можно сказать, что различие суффиксов не является значимым. Но тогда все-таки остается несогласованным корневой вокализм. Корень *Lietuvà* раньше был **Leit-*. Одним из возможных объяснений галльского *Litavia* является то, что это наименование принадлежит корню **lei-/*li-* 'течь', общему с лит. *líeti* 'лить' (Stokes 1894, 248), и что в галльском *Litavia* отражается вариант этого корня с нулевой степенью чередования гласного, а именно **li-t-*. Если бы *Lietuvà, Lietavà* были кельтским наследием, наименование звучало бы сейчас как **Litava*.

По свидетельству А. Погодина, А. Шахматов позднее сам отказался от своей гипотезы: «Насколько я знаю, он в личных беседах и сам отказался от нея с присущей ему скромностью и простосердечием» (Погодин 1921, 170).

Как уже было отмечено, М. Фасмер считал возможным, что *Lietuvà* и галльское *Litavia* являются исконно родственными[1]. Эти наименования связаны с одним корнем (**lei-* 'течь'), – правда, насчет *Litavia* с некоторыми сомнениями – также в «Этимологическом словаре латинского языка», начиная с его первого издания 1906 г. (Walde 1938, 815). От сопоставления этих наименований не отказываются до сих пор. Например, В. Мерлинген, опираясь на современные методологические принципы компаративистики и рассматривая внутреннюю – прежде всего семантическую – сторону сравниваемых явлений, в ряду реконструируемых слов с и.-е. корнем **leit-* 'низменность, побережье' упоминает кроме лат. *lītus* 'побережье, взморье' и галльское *Letavia* и *Lietuvà*, латыш. *Lìetava* (Merlingen 1978, 61–62).

Среди литовских лингвистов популярна гипотеза, по которой этноним *Lietuvà* появился из гидронимов *Leità (Léita), Leĩtė, Lietáuka* (Tarvydas 1958, 21; Jonikas 1968, 543; Salys 1983, 146–156). Эти гидронимы считаются родственными между собой и принадлежащими корню глагола *líeti (-ja, lẽja, -jo, lḗjo*) 'лить' (Kuzavinis 1964, 14–16; Kuzavinis 1967, 135–137; Vanagas 1981, 185, 190; Zinkevičius 1987, 12–13, 15–16). Мнения о гидронимическом происхождении наименования Литвы придерживался и польский литуанист Я. Отрембский (Otrębski 1958a, 3–5; Otrębski 1958b, 116–118; Otrębski 1967, 201–203). Особого внимания исследователей заслужила *Lietáuka*. В окрестностях Упнинкай Йонавского района в междуречье Нерис и Швянтойи из болотистого леска Летауки вытекают две речки с тем же названием. Большую местные жители называют по-литовски *Lietáuka*, по-польски – *Letãvka / Litãvka*, по-русски – *Летафка*, меньшую – *Letãvočka*. Опираясь на аналогию таких гидронимов, как *Linkavà* :

[1] Но в «Этимологическом словаре русского языка» связь *Lietuvà* и ирл. *Letha* 'Aremorica, Latium' М. Фасмер уже считал сомнительной, см. Фасмер 1986, II, 502.

Linkáuka, *Samavà* : *Samáuka*, из них гипотетически реконструируется первичная форма *Lietavà* (Kuzavinis 1964, 6; Kuzavinis 1967, 136), с оговоркой, что славянский суффикс *-ka* здесь мог появиться позднее (как нередко происходило и в других случаях). Из *Lietavà* и возникло наименование Литвы. Этот гидроним был бы важен при объяснении развития лексемы, обозначающей Литву, если бы удалось проследить его путь до XVI века. Однако нельзя совсем отклонить вероятность того, что эти безымянные речушки были названы именем Литвы в его уменьшительной славянской форме *Letávka / Litávka* ‘Литовочка’ поселившимися здесь в XVII в. русскими старообрядцами, так как две их деревни как раз находятся в этом месте (одна из них называется *Perelõzai*, ср. рус. *перелазы*). В западных (и не только) говорах белорусского, русского, отчасти и украинского языков употребляется слово *литóвка*, произошедшее из деэтнонимизированного наименования литовки, соответственно литовца: в белорусских говорах окрестностей Гродно длинная скирда сена называется *літóўка*; рус. диал. *литóвка* ‘коса с длинной (прямой) рукояткой’. Интересен и тот факт, что в диалектах белорусского языка наряду с наименованием литовца *літвя́к, ліцвя́к* есть и вариант *лецвя́к* (с гласной *е*) (СБГ 1980, 647, 662; ЭСБМ 1990, 12). Этим литуанизмом и могли назвать русские старообрядцы упомянутые безымянные речки (Salys 1983, 155).

В.Н. Топоров предложил новый термин *«севернорусская» Литва*, которым обозначается нерусский этнокультурный элемент на восточноевропейской территории на север от северных районов Подмосковья (Топоров 2000, 63–77). Первичный этноним *Litva* здесь выступает как очень мифологизированное наименование, обозначающее фантомные представления жителей Северной России о каком-то «чужом», сильно деформированном зеркальным отражением, но когда-то реально существовавшем нерусском этнокультурном элементе. Таким образом описываемый ареал составляют Архангельская, Вологодская, Новгородская, Тверская, Костромская области и Онежский край. О когда-то существовавшем здесь неком этнотерриториальном объединении можно судить по выражениям, в которые входят слова *литва, литовский*, названиям, былинам и даже гидронимам и топонимам, встречаемым, правда, лишь в южной части упомянутого ареала и на северо-западе, то есть в Новгородской, Псковской губерниях и в западной части Тверской губернии. В разговорном языке *литвà* обозначает нечто чужое, ср. *Здесь бывала чудь и литва*. *Литвà* отождествляется с чудью: *Чудь называли остяками и литвой*. *Литва* употребляется и как ругательство, словно повторяя известную по историческим источникам древнерусскую формулу: *Литва поганая, Литва некрещеная, Литва беззаконная. Ией, литовские люди, съели хрен на блюде* (СРНГ 1981, 71, 73). В говорах *литвà*, кроме того, означает брань, склоку, ругань, например, *Уж раз пошла такая литвà, то худо* Псков. Все-таки не только нельзя отбросить предположение, отмечает

В.Н. Топоров, что негативное обозначение этноса *литвà* в сознании носителей языка сближалось со словом русского языка *литвà* ‘сильный дождь; ненастье’ (ср. *На дворе такая литвà стоит, а ты за грибами идешь* Псков), но и можно утверждать, что в определенной ситуации эти слова находятся в четкой связи. По наблюдениям В.Н. Топорова, «и *литвà*, народ, и *литвà*, сильный дождь, объединяются двумя общими характеристикам – они и д у т и идут с н е б а . Более того, и по существу оба эти слова, воспринимаемые позже как омонимы, генетически восходят к о д н о м у источнику – и.-е. **leit- / *līt-* ‘лить’ с суфф. *-uv-*, ср. б.-слав. **leit-uv-* (лит. *Lietuva* как обозначение бассейна реки, т. е. некоего связанного с наличием воды пространства, давшего название и народу, и земле, где он обитает, или русск. диал. *литвà* ‘сильный дождь’, от глагола *лить*, ср. лит. *líeti* ‘лить’, *lietùs* ‘дождь’. В этом отношении русск. *литвá* ‘литовцы’ и *литвá* ‘сильный дождь’ по сути дела сохраняют и/или восстанавливают былое тождество, единый общий источник» (Топоров 2000, 65).

Представляется методологически перспективным проанализировать свидетельства древнерусских летописей, поскольку они могут иметь большое значение для решения проблемы происхождения названия Литвы.

В древнейшей русской летописи *Повесть временных лет* засвидетельствована архаичная форма этого этнонима *Литъва* (Шахматов 1916, 3–4, 10), совпадающая с ныне употребляемой его формой *Lietuvà* (род. п. ед. ч. *Lietuvõs,* вин. п. ед. ч. *Líetuvą*). В русских летописях *Литва* (*Литъва*) означает не только край, страну, но и людей, литовцев (*народ, литовцы*). Для верности возьмем из *Новгородской первой летописи младшего извода* (первая половина XIII в.) несколько погодовых записей, из которых ясно видно, что говорится о людях (а не о стране, территории):

1183 г.: *На ту же зиму бишася плесковици с Литвою, и много ся пакости изд‘ѣя плесковицемъ* (НПЛ 1950, 227);

1204 г.: В *то же л‘ѣто поб‘ѣдиша Олговици Литву и избиша их 7 сот да тысячу* (НПЛ 1950, 246);

1213 г.: *В Петрово гов‘ѣние изъихаша Литва безбожная [...] и много створиша зла и отъидоша* (НПЛ 1950, 450).

Помимо страны и людей, в русских летописях *Литвой* (*Литъва*) называлась и дружина. В своем известном двухтомном исследовании о началах литовского государства и общества Х. Ловмяньский цитирует два сообщения русских летописцев. Первое говорит о событиях 1238 г.: *По том же л‘ѣт‘ѣ Данилъ же возведе на Кондрата Литвоу Минъдога* (ПСРЛ 1962, col. 776). Второе – от 1244 г.: *Придоша Литва і воеваша около Пересопниц‘ѣ Аишьвно Роушькович* (ПСРЛ 1962, col. 797). Эти сообщения Х. Ловмяньский интерпретировал так: «В обоих случаях, как и во многих других, *Литва* означает не племя литовцев и не край, а воинские отряды, дружины, в первую очередь – Миндаугаса, во вторую – Рушкавичюса» (Łowmiański 1932, 331).

В летописи *Летописец Переславля Суздальского* при перечислении народов и племен, которые платят дань Киевской Руси, при упоминании *Литвы* имеется такое пояснение: *испръва исконніи данници и конокръмци* (ЛПС 1851, 2; ПВЛ 1950, 22). Интерпретация этого сообщения – задача не из легких, однако подходящее объяснение его могло бы пролить свет на решение вопроса о происхождении названия Литвы. Э. Вольтер интерпретировал это сообщение так, что в Белоруссии литовцы с древних времен были известны как надсмотрщики за лошадьми – конокормцы, соответственно, как всадники, воины-кавалеристы (по-немецки *die Reiter*). По его мнению, такое значение как раз имел употреблявшийся в белорусском языке литуанизм *ройтиники* (Wolter 1899, 52).

В канцелярских и судебных актах Великого княжества Литовского XV – первой половины XVI в., написанных на славянском языке, упоминаются служивые люди великого князя *лейти* (варианты *лейцы, лейтеве*) (Любавский 1892, 328–330, 857; Леонтович 1896–1897, XII (Указатели); Леонтович 1897b, 61–65; ГСБМ 1997, 337). Немало сведений из этих актов, связанных с литовской территорией, собрал и проанализировал К. Яблонскис (Jablonskis 1941, 114–115).

Исследователи сходятся в том, что это – литовское название, использовавшееся в славянском языке актов Литовского государства и попавшее в качестве заимствования в белорусский язык, ср. белор. *лейть* (*лейтъ*) им. п. ед. ч. ‘чернорабочий дворовый человек; работник конюшни феодала’, *лейти* (*лейтеве, лейцы*) им. п. мн. ч. (Вержбовский 1960, 272; Булыка 1972, 187; ЭСБМ 1989, 280). О том, что в старобелорусском языке оно было заимствованием, свидетельствует его тенденция оставаться неизменяемым, ср. *просилъ въ насъ дворца съ четыр[ь]ми чоловеки лейти; с данники, и съ куничники, и зъ лейти* (ГСБМ 1997, 337). Однако вскоре это существительное получило форму единственного числа именительного падежа *лейть* и стало употребляться с окончаниями существительного мужского рода, то есть адаптировалось морфологически: *лейтя, лейтеве, лейтевъ, лейтемъ, на лейтехъ* (Булыка 1972, 219).

Конокормцы и *лейти* встречаются только в тех актах, которые относятся к землям этнографической Литвы, где хозяйство великого князя было более разветвленным, чем в других областях государства. В актах, написанных на латыни, конокормцы названы *pabulatores equorum*. По актам можно судить, что конокормцами считались крестьяне, которые на заливных лугах и пастбищах пасли и содержали вместе со своими коней государя (Любавский 1892, 329). Следует добавить, что ухаживали за государевыми лошадьми (*кони воживали*) также *ройтиники*, определенная категория крестьян, но кто входил в эту службу, по актам сказать трудно (там же, 330).

Отдельно от рабочих и ездовых лошадей содержались породистые (кобылы, жеребцы), которые имелись как в государственных экономиях, так

и на обширных подворьях местных князей и панов. За ними ухаживали и охраняли их крестьяне, называвшиеся *кобыльники, кобыльчичи*. Ф. Леонтович считал, что кобыльниками надо считать и нередко упоминаемых в актах лейтев (*леити, леитеве*), имевших, по его мнению, литовское название (произошедшее от лит. *laikyti* 'держать') (Леонтович 1897а, 65). Судя по актам, лейти как прослойка крестьян всегда четко отличались от конюхов и конокормцев, поскольку лейти, хотя и были связаны с работой с лошадьми, имели также и другие обязанности. Точно такое же отношение с конюхами и конокормцами было и у кобыльников. Именно на этом основании Ф. Леонтович и отождествлял кобыльников и лейтев, считая, что это разные названия одной и той же категории крестьян. Следует добавить, что кобыльники редко упоминаются в актах – вместо них всюду наряду с конюхами и конокормцами присутствуют лейти (*лейти, лейтеве*). Есть сведения, из которых видно, что в государственных областях были целые деревни лейтев – они там жили семьями (родами). В отдельных случаях в одной деревне жили лейти и конокормцы. Как и конокормцы, лейти принадлежали к обеспеченным людям, имели земли и другие угодья, которые передавались по наследству, а взрослые дети могли их поделить. Такие земли назывались «лейтицкими», и лейти оттуда «служили». Кроме «лейтицких» работ и служб, присматривая за стадами господских лошадей, лейти платили дань, чинш за землю и угодья (сенокосные луга, пасеки, охотничьи угодья) (Любавский 1892, 328–330; Леонтович 1897а, 65).

После появления тщательно написанной, исчерпывающей работы А. Дубониса «Лейти великого князя Литовского. Из истории ранних государственных структур Литвы» (Вильнюс, 1998) (Dubonis 1998) о лейтях и их социальных функциях мы узнали намного больше, чем более ранние исследователи. Лейти представляли два основных слоя литовского общества того времени – крестьянский и – хотя и в значительно меньшей степени – дворянский. Среди «тяглов» – крепостных, несвободных семей и соседей – лейтев не было. Без всякого сомнения, лейти принадлежали к служивым людям великокняжеского двора, владели своей вотчинной наследственной землей, имели некоторую личную свободу, например, могли оставить свою землю, уйти, но после возвращения опять ее обрабатывать. Документы господарской канцелярии иногда называют их вечными людьми великого князя, вечными лейтями. Таким образом, лейти должны были представлять собой древний, закрытый слой общества, поскольку существовали прямые, вымирающие его наследники и, кроме того, никто не мог, точнее, не имел права их сменить. Нет сведений, чтобы государь сделал *лейтем* хотя бы одного жителя Литвы в XV–XVI веках. Их никто не мог сменить, точнее, не имел права, поскольку их защищало обычное право. Это мнение подтверждает тот факт, что государь избегал их разделения, часто отмечал, что лейтев не отдаст и требовал не причислять их к подаренным людям. По-видимому, основные социальные черты лейтев соответствовали дофеодальному, родовому обществу. Как уже

упоминалось, они имели собственную наследуемую землю, жили и выполняли повинности семьями, могли опекать, «сделать лейтями» других свободных людей, имели право носить оружие, воевать. Вполне возможно, что лейти были выходцами из свободных людей, из многочисленной части общества общинных времен. Хотя лейти и были людьми государя, то есть зависимыми, но они могли уйти – имели свободу.

С другой стороны, проанализировав данные канцелярии и судебных актов, А. Дубонис определил, что во многих случаях лейти появлялись в тех местах, где обосновывался домен государя – волость, поле, двор, деревня. Из документов видно, что лейти связаны с самой ранней формой домена государя. Возможно, они были первыми слугами великого князя, одними из немногих – а возможно и единственными – основателями и охранителями государева двора. Кроме того, в отдельных случаях в их службе прослеживается и военная функция. Так, одной из лейтицких обязанностей был присмотр за замками в приграничных районах. Они были земледельцами-воинами, постоянно жившими при замках, – присматривали и приводили их в порядок в мирное время, защищали – в военное. До возникновения дворянства военные функции лейтев – земледельцев-воинов – видимо, были намного важнее: и охрана государственной границы, и вооруженная свита государя, и усмирение недовольных его политикой. По-видимому, у лейтев были и другие обязанности. В источниках встречаются намеки на то, что лейти платили денежную дань, иначе говоря, были чинщиками. Видимо, некоторые их обязанности превратились в дань и денежный налог.

Когда суздальский летописец назвал литовцев вечными данниками и конокормцами, он скорее всего имел в виду лейтев – социально самый значимый в то время слой литовского общества, стоявший ближе всех к государю, – которые по характеру своей службы были для него конюхами, конокормцами и данниками. Опираясь на свидетельство упомянутой летописи и интерпретируя ее таким образом, можно сделать вывод, что литовцы называли лейтями сами себя и так же звали их соседи. Иначе говоря, литовцам как этносу дало имя обозначение социальной категории лейтев. Вот почему латыши называли и до сих пор называют литовцев *leĩši* (< **léitịai*). Такое наименование больше было распространено на западе, а на востоке были известны *Lietuvà* (рус. *Литъва, Литва*) и *Lietavà.*

Для характеристики службы лейтев важно замечание А. Дубониса о том, что в дворовых залоговых актах лейти часто перечислялись вместе с группами людей, ухаживавших за лошадьми государя (конокормцы, конюхи и др.), а некоторые судебные акты (напр., Родунский, Швенченский) постоянно называют их конокормцами. Как справедливо отмечает А. Дубонис, с конокормцами лейтев отождествлять нельзя, тем более что часть их принадлежала к дворянскому сословию. С другой стороны, А. Дубонису удалось выделить из исторических источников данные, подтверждающие военный аспект лейтицкой службы: лейти выращивали боевых коней-рысаков, готовили одного

военного слугу попутного, отправлялись в дальние путешествия или сопровождали в них (Dubonis 1998, 32–33).

Настоящим названием крестьян – конюхов и конокормцев государя – было *leĩčiai*, образовавшееся из более старой формы **leiti̯ai*. Акты, написанные на славянском языке, отразили ее как *лейти, лейци, лейтеве* – последняя форма еще со славянским окончанием именительного падежа множественного числа. Для истории наименования Литвы важен тот факт, что название крестьян – государевых конюхов точно совпадает с латышским названием литовцев *leĩši* < **léiti̯ai*. Оба эти слова принадлежат к одному и тому же корню, то есть имеют общее происхождение. Отсюда следует, что название служивых людей **léiti̯ai* (*лейти, лейци*) и наименование литовцев *Lietuvà, lietùviai* являются однокоренными.

Следовательно, словами *леити, леици* (**léiti̯ai*) первоначально, по-видимому, обозначались спутники, сопровождающие, в том числе вооруженные, а термином *Литва*, др.-рус. *Литъва* (=*Lietuvà*) вначале могло обозначаться неделимое целое, совокупность спутников, сопровождающих, то есть дружина. Именно это выражают производные с суффиксом *-ava-* в литовском языке, ср. *bernavà* 'совокупность парней' : *bernaĩ* 'парни'; *brólava, bróluva* 'братья и сестры, их дети' : *bróliai* 'братья'; *kéltuva* 'скот'.

Полученные выводы, по всей видимости, подтверждает сравнительно-исторический анализ.

В Древней Скандинавии вооруженное сопровождение, дружина называлась словом, очень напоминающим наименование Литвы: др.-исл. *lið* ср. р. 'сопровождение, свита; воины, армия' (Baetke 1965, 380), исл. *lið* 'отряд, полк, толпа; сопровождающие, провожатые; армия; помощь, поддержка' (Böðvarsson 1992, 580). норв. *lid (le, li)* 'то же' (Aasen 1918, 443; Aasen 1991, 2972), др.-швед. *liþ* ср.р. 'сопровождающие, провожатые; армия' (De Vries 1962, 354). Дружину с таким названием имели также некоторые континентальные германские племена, например, фризы, ср. др.-фриз. *lid* 'отряд, свита' (Seebold 1970, 329). Это древнее германское существительное среднего рода, восходящее к и.-е. **litóm* (*-*om* – окончание им.-вин. п. ед. ч.). Отношение согласных конца слова в герм. **lid-am* (там же, 329) и и.-е. **litom* объясняется правилом Вернера: это соотношение всегда такое же, как и, например, исл. *faðir* 'отец', норв., швед. *fader*, др.-фриз. *feder* и и.-е. **pətér* (лат. *pater*, греч. *πατήρ*, др.-инд. *pitár* 'отец').

Сравнительно-историческая перспектива этих германских слов и *leĩčiai* (*лейти, лейци, лейтеве*) (< **leiti̯ai*), а также отождествление этнонима *Lietuvà* (*Líetavą*) (< **Leit-*) больших трудностей не представляет. Формально они отличаются только степенью чередования корневых гласных: др.-исл. *lið* (< **litóm*) : ср.-ниж.-нем. *leide* (**lait-*). Такое чередование корневых гласных характерно даже для слов одного языка, ср., например, лит. *žaĩbas* 'молния', *žaĩbti* (*-sta*) 'рябить (в глазах)' : диал. *žiẽbas* 'молния', *žiẽbti* (*-ia*) 'гореть, разжигать (костер)' : *žibė́ti* (*žìba*) 'сверкать, бле-

стеть'. Анализируемые германские слова обозначают вооруженную охрану в пути или в походе. Значение наименования литовского народа 'вооруженное сопровождение; воинский отряд, дружина' хорошо засвидетельствовано в русских летописях. Так что значения этих германских и балтийских слов одинаковы. Следовательно, с историко-этимологической точки зрения эти слова родственны, выросли из одного глагольного корня, означающего 'идти вместе, провожать' и хорошо сохранились в германских языках: др.-верх.-нем. *līdan*, ср.-ниж.-нем. *līden* 'пройти, идти', др-сакс. *līthan* 'то же', др.-англ. *líþan* 'то же', др.-исл. *líða* 'идти, двигаться, ехать', гот. *leiþan* (< и.-е. **leita-*). Конфигурацию значений проясняют каузативы этого глагола: совр. нем. *leiten* 'вести, предводительствовать', англ. *lead* 'то же', норв. *leie* 'вести за руку или поводок' (из *lede*), датск. *lede* 'вести, предводительствовать', др.-исл. *leiða* 'привести в движение, выпустить (на работу); вести, предводительствовать, управлять; сопровождать' (< герм. **laideja-*) (De Vries 1962, 350, 354; Seebold 1970, 328–330). Из других и.-е. языков родственными лексемами считаются тох. A *lit-*, *let-*, B *lit-*, *lait-* 'удаляться, сторониться, отходить; падать' (De Vries 1962, 354; Pokorny 1959, 672 (но ср. 309); Magnússon 1989, 560), в котором *lit-* может показывать и.-е. **leit-* или **lit-*, а *let-*, *lait-* явно продолжают и.-е. **loit-* (Van Windekens 1976, 263).

Литература

Булыка 1972 – Булыка А.М. Даўнія запазычанні беларускай мовы. Мінск, 1972.

Вержбовский 1960 – Вержбовский А.А. Древнебелорусская юридическая лексика литовского происхождения // Lietuvių kalbotyros klausimai. III. Vilnius, 1960.

ГСБМ 1997 – Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Выпуск 16. Мінск, 1997.

Леонтович 1896–1897 – Леонтович Ф.И. Акты Литовской Метрики. I. Варшава, 1896–1897.

Леонтович 1897a – Леонтович Ф.И. Крестьянский двор в литовско-русском государстве. Вып. 1. Санкт-Петербург, 1897.

Леонтович 1897b – Леонтович Ф.И. Сельские промышленники в Литовско-русском государстве. Варшава, 1897.

ЛПС 1851 – Летописец Переславля Суздальского / издан М.А. Оболенским. Москва, 1851.

Любавский 1892 – Любавский М. Областное деление и местное управление литовско-русского государства. Москва, 1892.

НПЛ 1950 – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Москва-Ленинград, 1950.

ПВЛ 1950 – Повесть временных лет. II. Приложения. Статьи и комментарии Д.С. Лихачева. Москва-Ленинград, 1950.

ПСРЛ 1962 – Полное собрание русских летописей. II. (Ипатьевская летопись). Москва, 1962.

Погодин 1921 – Погодин А. Родина славянства и начало русского государства // Zbornik filoloških i lingvističkih studija A. Beliću. Beograd, 1921.

СБГ 1980 – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. II (Д-Л). Мінск, 1980.

СРНГ 1981 – Словарь русских народных говоров. 17. Москва, 1981.

Топоров 2000 – Топоров В.Н. «Севернорусская» Литва и ее мифологизированный образ // Балты в древности и средневековье: языки, история, культура. Тезисы научной конференции памяти Эгидиюса Банёниса. Москва, 2000.

Фасмер 1986 – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. I–IV. Москва, 1986
Шахматов 1916 – Шахматовъ А.А. Повѣсть временных лѣтъ. Петроградъ, 1916.
ЭСБМ 1989–1990 – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. 5. Мінск, 1989; 6. Мінск, 1990.
Aasen 1918 – Aasen I. Norsk ordbog med dansk forklaring. Kristiania, 1918.
Aasen 1991 – Aasen I. Norsk riksmålsordbok. II. Baerum, 1991.
Baetke 1965 – Baetke W. Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur. I. Berlin, 1965.
Böðvarsson 1992 – Böðvarsson Á. Íslensk orðabók. Reykjavík, 1992.
Buga 1913 – Buga K. Kann man Keltenspuren auf baltischem Gebiet nachweisen? // Rocznik slawistyczny. VI. Kraków, 1913.
Būga 1958 – Būga K. Rinktiniai raštai, I. Vilnius, 1958.
De Vries 1962 – De Vries J. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1962.
Dubonis 1998 – Dubonis A. Lietuvos didžiojo kunigaikščio leičiai. Iš Lietuvos ankstyvųjų valstybinių struktūrų praeities. Vilnius, 1998.
Endzelīns 1974 – Endzelīns J. Darbu izlase. II. Rīga, 1974.
Fick 1894 – Fick A. Vergleichendes Wörterburch der indogermanischen Sprachen. 4 Aufl., 2. Teil. Wortschatz der Keltischen Spracheinheit von W. Stokes und A. Bezzenberger. Göttingen, 1894.
Jablonskis 1941 – Jablonskis K. Lietuviški žodžiai Senosios Lietuvos raštinių kalboje. Kaunas, 1941.
Jonikas 1968 – Jonikas P. Lietuvių kalbos istorija // Lietuva, 15. Boston, 1968.
Kuzavinis 1964 – Kuzavinis K. Lietuvos vardo kilmė // Kalbotyra, 10. Vilnius, 1964.
Kuzavinis 1967 – Kuzavinis K. Lietuvių upėvardžiai *lie-(lei-)* // Kalbotyra, 17. Vilnius, 1967.
Łowmiański 1932 – Łowmiański H. Studia nad początkami społeczeństwa i pańsrwa litewskiego. II. Wilno, 1932.
Magnússon 1989 – Magnússon Á.B. Íslensk orðsifjabók. Reykjavík, 1989.
Merlingen 1978 – Merlingen W. Über eine Bedeutungsverzweigung im indogermanischen Lexikon // Indogermanische Forschungen. 83. Strassburg, 1978.
Otrębski 1958a – Otrębski J. Gramatyka języka litewskiego. I. Warszawa, 1958.
Otrębski 1958b – Otrębski J. *Lietuvà* // Beiträge zur Namenforschung. 9. Heidelberg, 1958.
Otrębski 1967 – Otrębski J. Balt. **lēitā* // Baltistica. 3(2), Vilnius, 1967.
Pokorny 1959 – Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern-München, 1959.
Salys 1983 – Salys A. Lietuvos vardo kilmė // Salys A. Raštai. II. Tikriniai vardai. Roma, 1983.
Schachmatov 1912 – Schachmatov A. Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen // Archiv für Slavische Philologie. 33. Berlin, 1912.
Seebold 1970 – Seebold E. Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch der germanischen starken Verben. The Hague-Paris, 1970.
Stokes 1894 – Stokes W. Urkeltischer Sprachschatz. Übersetzt, überarbeitet und herausgegeben von A. Bezzenberger. Göttingen, 1894.
Tarvydas 1958 – Tarvydas St. Lietuvos vietovardžiai. Vilnius, 1958.
Van Windekens 1976 – Van Windekens A.J. Le tokharien confronté avec les langues indo-européennes. I. Louvain, 1976.
Vanagas 1981 – Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.
Vasmer 1913 – Vasmer M. Kritisches und Antikritisches zur neueren slavischen Etymologie // Rocznik slawistyczny. VI. Kraków, 1913.
Walde 1938 – Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3. neubearbeitete Auflage von J.B. Hofmann. I. Heidelberg, 1938.
Wolter 1899 – Wolter E. Lituanismen der russisch-litauischen Rechtssprache // Mitteilunge der Litauischen Literarischen Gesellschaft. 4. Bd. Heildelberg, 1899.
Zinkevičius 1987 – Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. II. Vilnius, 1987.

A lesser known Variant (the Valachian Connection) and its Place within the Renaissance Theory of the Roman Origin of Lithuanian

Pietro U. Dini (Pisa)

http://www.biblioteca.com

§0. Introductory

Among the relatively many theories concerning the Baltic languages, and in particular Lithuanian, which were quite popular during the Renaissance and circulated throughout all of Europe the so-called Roman theory is by far the most well known and popular until today. During the Cinquecento and even after that echoes of this theory are to be found not only in Central-Eastern Europe, where the theory was first conceived, but also in Central-Western Europe.

Many Lithuanian scholars have already dealt with this conception and I myself have also had the opportunity to express myself on this subject more then once. This time I want to focus my attention and comment on a lesser known Western variant of the Roman theory, i.e. the Valachian Connection.

A preliminary remark is probably useful before speaking about the Roman theory in general and in detail. In the early Renaissance context one should distinguish methodologically between ideas about the origin of a people and ideas about the origin of a language. Ideas and statements of the first kind – i.e. about the origin of a specific people – were usual and often related to other peoples' names. One looked for etymological, and even more often for quasi-etymological explanations of the ethnonyms (such as *Lithuania* from *L'Ithalia* or the like). At that time it was quite popular also to think about the origin of language in general, and often by relating the question to a mythical explanation (the best example of which is surely the Babel Myth).

Ideas and statements of the second kind – i.e. about the origin of a specific language – were, however, not very common (a good but isolated example of this type in Italy was the idea that Latin derived from Greek). Generally speaking, the idea that a language might originate from another language was not obvious at all at that time, and even very daring. This modern way of

thinking is attributed to Biondo Flavio starting with whom one can speak of Neolatin or Roman languages in a modern sense, that is to say of languages derived from another language (Latin), and not necessarily by corruption[1].

For my present talk I would like to propose the following structure. I'm going to begin by emphasizing the importance of the linguistic side of the Roman linguistic theory and by giving a sketch of the better known variants of this linguistic theory. In this regard I shall investigate selected passages from the author who first mentioned these ideas, Jan Długosz (§1.1) and from his critic, his contemporary and historian, Marcin Cromer (§1.2). Finally I shall briefly recall the developments that this theory underwent in the Grand Duchy of Lithuania by briefly noting the Semilatin and Neolatin variants of the Roman theory (§1.3). After that I shall discuss the Valachian Connection (§2), and its main supporters (§3-4). An attempt at a comparative evaluation of the variants of the Roman linguistic theory will end the paper (§5).

§1. The Emergence of the (linguistic) Roman theory

At this point I want to introduce some considerations about the theory of the Roman origin of Lithuanian. The mythic sides of this theory have generally been the more investigated, and especially with regard to the legend of Palemon. The linguistic aspect, however, has always been rather neglected.

Already elsewhere I have tried to demonstrate that this is not quite reasonable, because the linguistic element is essential for the entire Roman Theory[2]. Before I go into the details, it is probably useful to explain what is to be understood, in my mind, by the expression: the linguistic Roman theory.

Briefly put it means a consideration of the Roman theory from a linguistic point of view. This was a Renaissance theory belonging to the palaeo-comparativistic current in prescientific linguistics, which considered the Baltic languages genealogically derived from and related to Latin.

It is well known that this was the most popular linguistic theory in Central-Eastern Europe dealing with Lithuanian. In Central-Western Europe, however, this theory remained unknown, the only exception being the episode I call the Valachian Connection. I shall discuss this variant later (§2-4).

What I would like to stress now is that for its cultural importance, spread and innovational strength, the linguistic Roman theory belonged to the same above mentioned new thinking about linguistics which began in the early Renaissance. In my mind the linguistic Roman theory played in Central-Eastern Europe a role comparable to that played by the linguistic ideas of Biondo Flavio in the Central-Western part of Europe. Regardless of the modern correctness of the proposed conceptions both theoretical positions represented

[1] Cf. Renzi 2000, 8. Biondo Flavio almost conceived the idea of the Vulgar Latin.

[2] Cf. Dini 1996.

important starting points for a new approach in linguistics, and especially in the consideration of genealogical relationships among languages.

§1.1 Jan Długosz' ideas on the Baltic languages

The first theoretician and most prominent supporter of the Roman theory was notoriously Jan Długosz starting with his book "Historiae Polonicae" (first published during the 17th century, but already known and used before in manuscript form)[3]. In Długosz' work this theory appears closely related to the so-called Myth of Roman origin of the Lithuanians and Prussians (which includes references to the Palemon legend).

In the second book of his "Historiae Polonicae" – a work which exerted a strong influence upon the other historians of the Polish humanist circle – Jan Długosz mentioned three stocks and three Baltic languages, namely: Prussian, Jatvingian and Lithuanian together with Samogitian. Długosz does not consider these languages as being at all related to the Slavic languages, and treated the two groups separately.

It will be useful to quote again and comment on the following interesting passage: *Quamvis autem parum constet... verisimilis tamen praesumptio, et idiomatis ac linguae eorum sonus et proportio, ex variis circumstantiis et rerum qualificationibus sumpta, ostendit, Lithuanos et Samagittas Latini generis esse, etsi non a Romanis, saltem ab aliqua gente Latini nominis descendisse...*[4]

Thus, Długosz declares that he does not know very much (*Quamvis autem parum constet*) about the origins of Lithuanians and Samogitians. Nevertheless he considers a *verisimilis... praesumptio*, that is to say something very similar to the truth, that Lithuanians and Samogitians descended from Romans (*Lithuanos et Samagittas Latini generis esse*) or at least from another Latin people (*saltem ab aliqua gente Latini nominis*). To support this idea the Polish historian gives some linguistic arguments.

In Długosz' own view the genealogical relation is well demonstrated by the sound and the harmony (*sonus et proportio*) of the idiom and of the languages of these people (*idiomatis ac linguae eorum*). Only secondarily Długosz mentions also some other circumstances and characteristics (*ex variis circumstantiis et rerum qualificationibus*).

Długosz uses linguistic arguments also in another passage to explain the difference between the Prussian and Lithuanian (whether as peoples or as languages). According to Długosz' text, there seems to be a phonetic difference but a lexical agreement: *Et quamvis gentes ipsae in prolatione [pronuntiatione] verborum differunt... Nihilominus in multis [verbis] conveniunt...* That is to

[3] Cf. Dini 1998.

[4] Długosz 1876, 470.

say: "those peoples, although in the pronunciation of the words they are different, nevertheless they agree in many [other] words".

Although with some uncertainties or incoherence in his thought, the Polish historian was primarily interested in the establishment of the reciprocal relations among the three Baltic peoples *sub specie linguarum*. This other quotation from Długosz is instructive: *Non unius tamen stirpis et linguae fuisse aestimantur: sed Pruthenis alia fertur fuisse, quam Lithuanis et Samagitis, origo.* On the one hand Długosz indicates that in the past there was a certain community between Prussians and Lithuanians (excluding the Jatvingians), while on the other hand he adopts the opinion that the ethnic and linguistic origin of the Prussians and of the Lithuanians/Samogitians was different. Specifically on Prussian Długosz writes: *Pruthenorum gens... speciale habens idioma, a Latino tamen aliquantulum derivatum et quod cum Lithuanico habet concordantiam aliquam et paritatem.*

This point of view of Długosz is linked to specific historical events (for example, the civil war in ancient Rome) or rather with invented events (like the arrival of Prusias, king of Bithynia, in the Baltic). According to this linguistic idea, Prussian would be distinguished from Lithuanian not only because of the different degree of its Latin component, but rather by the presence of a Greek component, which would be completely foreign to Lithuanian: ...*Prusias cum Bithyniis gente sua in aquilonarem oram Romanos fugiens venit, et ex suo titulo Prussiae nomen fecit. Bithynici autem populi etiam in hactenus manent vestigia, quoniam nonnulli Prutheni priscae linguae retinentes oracula [verba] ab Aeolicis Doricis, Atticis et Ionicis populis competenter intelliguntur.* In other words, although Prussian and Lithuanian derived from Latin, a difference between the two languages would consist in the fact that some Prussian people (*nonnulli Prutheni*) would have incorporated and retained some Greek words in their language.

Summing up Długosz' ideas one might say that Lithuanian and Prussian differ from each other because of the distinct mixture of their Latin and Greek components. It is a difference of degree rather then of substance. There is no doubt that Długosz reached his conclusions, which influenced a lot of other scholars of that time, with linguistic evidence[5]. As I pointed out at the beginning, this fact is not of minor importance in the early Renaissance, since it was not usual then to derive one language from another language. Therefore I find it correct from a general point of view to compare Długosz' and Biondo Flavio's conceptions. Just as Biondo Flavio first argued this way concerning the Romance languages, just so did Jan Długosz concerning the Baltic

[5] These ideas gave the impulse to the development of two other theories of the Baltic languages which I propose to call the Greek Theory, dealing only with Prussian, and the Roman Theory, dealing with Prussian, Lithuanian and Samogitian.

languages. Beyond that Długosz' text represented a starting point for the diffusion of these linguistic ideas in Eastern-Europe.

§1.2 Marcin Cromer on the Baltic languages

The ideas concerning Lithuanian inaugurated by Długosz exerted a great influence on several other contemporary and later authors. Of course, there were also some, who, like Marcin Bielski, was completely sceptical with respect to this conception[6], but most of the Renaissance writers accepted it.

An important variant of Jan Długosz's linguistic ideas can also be found in the work of Marcin Cromer, the author of "De origine, & rebus geſtis Polonorum" (1555). In this work one encounters the following passage: *...nunc Liuones, Lituani, Samagitæ, & Pruſsi... penæ inter ſe lingua uulgò adhuc utentes, Slauicæ prorſus diſsimili, ſed quæ non paucas habeat admixtas Latinas uoces, corruptas feræ, & magis Italica uel Hiſpanica nota ſignatas q; Latina*[7]. The passage in a contemporary German translation is: *...bis auf den heutigen Tag die Lyfländer, Samagiter, Litauer und Preussen... alle eine Sprache sprechen. Diese gleicht nicht der Slawischen Sprache, denn sie haben viele lateinische Worte darein vermischt, welche doch auch verfälscht und mehr mit der hispanischen und italienischen als mit der lateinischen zu vergleichen ist*[8].

Cromer considers all these nations/languages (*Liuones, Lituani, Samagitæ, & Pruſsi*) almost identical among themselves and very different from the Slavic (*Slauicæ prorſus diſsimili*). Their main caracteristic feature is that those languages have mixed in them many corrupted Latin words (*Latinas uoces*; *lateinische Worte*). Thus Cromer adheres to the Renaissance conception of language derivation as "corruption" (*corruptas*; *verfälscht*) of the languages; a conception of the Baltic languages which, however, was alien to Długosz[9].

---

[6] Not everybody, however, paid sufficient attention to the linguistic aspect. Among these was Zaccaria Ferreri (Ferrerius), a Vatican nuncio in the Polish-Lithuanian State, author of a "Vita beati Casimiri" in 1521, who thought that the Lithuanians derive directly from Italians: *Gaudeat inclyta et speciosa Italia, ex qua et litalianica et lituanica excelsa nobilitas, unde Casimirus oriundus est: primoevam accoepit originem.* Another who based himself substantially on Długosz' arguments, although not uncritically, was the French historian André Thevet in the XIXth book of his "Cosmographie Vniverselle" (published in Paris in 1575).

[7] Cromer 1555, liber tertius, 61.

[8] Cromer 1562.

[9] The global picture of Cromer's linguistic ideas concerning the Baltic languages differs in many points from Jan Długosz' view. Cromer's argumentation is quite interesting because of the introduction of the Roman commander Publio Libone and because he attributes great importance to this figure. According to Cromer, the linguistic Roman Theory is sufficient to explain the origin of all the nations and languages of the Baltic area, so that Długosz' Greek Theory is rejected as unnecessary. In M. Cromer's opinion the crucial role is no longer

With respect to modern linguistic ideas one should then consider Cromer's position as a step backwards, since he was not yet able to conceive the derivation of one language from another language without falling back on the Corruption theory. One has, however, to consider also the last sentence in Cromer's passage: *& magis Italica uel Hiſpanica nota ſignatas q; Latina*. That is to say that those languages (I recall to the reader: Latvian, Lithuanian and Samogitian, Prussian) seem to be rather Italian or Spanish than Latin; in other words, they should be interpreted as being derived from Latin rather than being Latin itself.

This could be understood as an indication that Cromer tends to classify the Baltic languages within the Neolatin ones, i.e. Cromer knew (and perhaps supported) the linguistic theory which was actually represented by the Lithuanian Vaclovas Agrippa, one of the Vilnius humanists whom I'm just going to deal with in the next paragraph.

§1.3 Further developments of the linguistic Roman theory in Lithuania

Two other well known Renaissance variants of the linguistic Roman theory – the Semilatin and the Neolatin ones – were very popular in the Grand Duchy of Lithuania among the so-called Vilnius Latinizers, that is: Michalo Lituanus, Augustin Rotundus and Vaclovas Agrippa.

The humanists of the Vilnius court emphasized the affinity of Latin and Lithuanian to demonstrate the similarity between Latin and Lithuanian in the wider context of a general Latinization of culture in the Grand Duchy of Lithuania. They believed that going back to a classical language like Latin, the *dignitas* of which was undisputed, would guarantee them a better ability to compete with the other languages of culture used within the Grand Duchy, above all with the Ruski, i.e. the Ruthenian language[10].

Notoriously Michalo Lituanus believed that the Lithuanians were nothing else than Italians (*Italico sanguine oriundis*) and in some fragments of his "De moribus Tartarorum, Lituanorum et Moschorum" (published in Basel in 1615) he intended to prove the similarity of the two peoples, mainly with respect to the identity of their languages, to support the claim of the derivation of the Lithuanians as a people from the Romans. Distinguishing himself from all other authors of such myths of origin, Michalo Lituanus pointed out the Semilatin nature of this language: *Quod ita esse liquet ex sermone nostro semilatino et ex ritibus Romanorum vetustis*, and to demonstrate this assumption he gave as evidence 74 Latin words (he named them: *Verba*

attributed to the Lithuanians, but to the Livonians (*Liuoni*). The proof for that was the name of the Roman commander, *Libone*, from which the name of the Livonian people itself derived. Cromer prefers to speak about nations and implicitly about languages.

[10] On the linguistic ideas of the Latinizers see Dini 1999 with further bibliography.

Lituanica) which had Lithuanian counterparts: *idem ſignificant Lituano ſermone quod & Latino*[11].

Another important Humanist figure who belonged to the group of the so-called Latinizers, the mayor of Vilnius, Augustin Rotundus, also accepted the identity between Lithuanian and Latin and the theory of the Roman origin of the Lithuanians. In the Preface to the 2nd Lithuanian Statute he wrote to the new sovereign, Stephan Batory: *...Lituanos gente Latinos esse... vti non dubiae fidei scriptores probant et reliquiae Latini sermonis, quo hactenus agrestes vtuntur, argumento sunt.* According to Rotundus the fact that Lithuanians are of Latin race and descent is attested by credible writers, but first of all it is shown by the relics of the Latin language which till now are used by the country people. Thus, he also preferred to base his notions primarily on a linguistic argument.

A third name belonging to the Vilnius' so-called Latinizer humanists whom one should mention in this talk is that of Vaclovas Agrippa. His linguistic conception is contemporary with, but independent from that of Michalo Lituanus and Rotundus. Agrippa developed his argument in the *Oratio funebris* (a script of 1553) in which the author presents his homeland to the rest of Europe and claims for it a place among the other nations. He mentions the myth of the origin and explains his linguistic conception with the following words: *Cæterum & idioma Lithuanorum olim latinum fuiſſe, ex plurimis eius ſermonis vocabulis apparet, quod iam Barbarorum conſuetudine, qui magnas plerunq; linguis offundunt tenebras, mutatum eſſe non mirum eſt, cum & ipſa Lithuaniæ parens Italia, latinum ſermonem, qui ei vernaculus quondam fuit, præterq=; corrupta quædam vocabula adhuc etiam retinet, veterem linguam pene amiſerit. Naturarum etiam in Lithuanis & Italis, ſimilitudo agnoſci poteſt*[12].

Resuming the original view of Agrippa I would single out three points: 1) the Lithuanian language was once the Latin language; 2) this fact is demonstrated by many Lithuanian words; 3) the Lithuanian language had its origin in Latin just like Italian. I call Agrippa's conception the Neolatin theory, thereby distinguishing it from the Semilatin theory supported by Michalo and Rotundus. This shows significant contact points with M. Cromer's linguistic ideas.

Such a generally "Latin-oriented attitude" had, however, a lesser known development which involved the Valachian language.

§2. A lesser known Western Variant: The Valachian Connection

What I'm going to speak about now is what I call the Valachian Connection, to be precise the relation between Lithuanian and Daco-Danubian Romanitas (=

[11] Michalo Lituanus 1615, 95–96.

[12] Agrippa 1553, 6v-7r. Cf. Ročka 1988, 63.

Romanic ethnic sphere) theorized by some authors of the 16th century. This variant undoubtedly belongs to the Renaissance Roman Theory but as far as I could check the huge literature on it, it is still unknown to Balticists.

The first point to be made is that such a conception was accepted in a different way at that time. The relation between Rome and Daco-Danubian Romanitas (namely the Valachian Connection) was already known to Italian humanists (the best example is probably that of Poggio Bracciolini[13]) whereas no relation between Rome and the alleged Baltic Romanitas was admitted (the most significant case is that of Angelo Rocca[14]). The same one may observe among French humanists. A different situation is encountered, however, in the German humanist milieu: here not only both relations were known and admitted, but precisely here is to be found the first testimony of the Valachian Connection.

Thus, the notion that some Roman people speaking a sort of Latin language arrived on the shores of the Baltic sea from the Daco-Danubian region, somehow took root and thrived in Wittenberg. Starting with Melanchthon one finds a peculiar explanation of the Baltic Romanitas quite different from the autochthonous and more popular variants circulating in Central-Eastern Europe during the same centuries (which I have examined above in this paper). There neither the Baltic nor the Rumanian humanists showed any evidence for this relationship, so that the so-called Valachian Connection remained unknown to the protagonists of the variant and seems to be a German invention. And from a German milieu this idea reached Poland (as shown by the case of the historian Stanisław Sarnicki).

§3. The Chronica Carionis and Kaspar Peucer

Dealing with the Valachian Connection one should first consider the so-called Chronica of Johann Carion, a short history of the world first published in German in 1532 and later translated as "e Germanico in Latinum sermonem", and into several other languages. This book served as the basis for Melanchthon's "Chronicon", a work begun but not finished because of the author's death. It was then continued by Melanchthon's brother-in-law Kaspar Peucer; although it always remained connected to the name of Carion, and "Chronicon Carionis" is the title with which the work became famous and remained so.

I have chosen the passage of the text concerning the Valachians and their migration and I'm going to comment on it: *Die Wallachen aber / ſo lang ſie den Conſtantinopolitaniſchen Keyſern vnterthenig vnd gehoram geweſen ſind / hat man von jnen nichts ſonderlichs zu ſagen gewuſt. Als bald ſie aber durch vermiſchung der Sarmaten zugenommen / ſich vermehret vnd geſterckt / vnd*

---

[13] Cf. Tavoni 1984, 27-28.

[14] Cf. Dini 1994.

durch dieſelben verhetet vnd angehalten worden ſind / den Conſtantinopolitaniſchen Keyſern ſchueldigen gehorſam zu entiehen / haben ſie einen namen vnd beruff kriegen[15]. [The same passage in Latin is: *Latuerunt autem VValachi, quam diu quieti Conſtantinopolitanis Imperatoribus paruerunt, & viciſsim inclaruerunt, cum admixtione Sarmatarum aucti & ab iiſdem incitati recuſare Imperium coeperunt*][16]. That is to say that while the Valachians were still subjected to the emperor of Constantinople there was very little to say about them, but after they intermingled with the Sarmatians, they started rejecting the emperor.

From this moment their interesting migration northward begins: *Das auch dieſelben Wallachen von der Sarmaten aufgefueret / zugleich mit jnen Littauen / Lyffland vñ Preuſſen mit newen Colonien beſett / ſolches zeugen heutiges tags noch die Fußſtapffen jhrer alten ſpraach / welche viel Lateiniſche woerter haben*. [In the Latin translation: *Eosdem Sarmatis ductoribus Lituaniam indeque Liuoniam et vicinam Borussiam nouis colonis mixtim compleuisse, testantur veteris linguae vestigia, quod latinitatem referunt.*] So it happened that the Valachians together with the Sarmatians completed a migration, reached the Baltic region, and occupied first Lithuania, and after that Livland and Prussia as new colonies.

Peucer-Carionis refers to the traces of an old, undefined language. So the question arises: Which is the old language (*alte ſpraach*; *veteris lingua*) the passage refers to? It is, of course, the language of the Valachians spoken in the Baltic region, and its relics (*die Fußſtapffen*; *vestigia*), which recall the Latin language (*welche viel Lateiniſche woerter haben*; *quod latinitatem referunt*). This is considered the necessary linguistic evidence to demonstrate that the migration really came from the Daco-Danubian Romanitas.

In such a way Peucer-Carionis reversed the classical assumption of the Roman Theory: for Długosz, Crassinius, the Latinizers of Vilnius and all their followers there was no doubt that the Romans reached the Baltic lands from the Mediterranean region, but now Peucer affirms that they arrived from the Daco-Danubian shores! This is a quite radical change of perspective, and not of minor significance: thus the Baltic Romanitas apparently does not come directly from Rome, but has a close relationship to the Daco-Danubian Romanitas represented by the Valachians.

In Rumanian historiography this fact was first "discovered" by Adolf Armbruster only at the beginning of the 70es. As for Baltic historiography – so far as I know – this link has not yet been noticed.

[15] Carionis 1569, CXIX-CXX.
[16] Carionis 1572, 458.

§4. Continuations of the Valachian Connection

The further question to be answered is: How many followers had this conception, and who where they? Determining exahustively who were the followers of the Valachian variant within the Roman Theory is still a work which must be done. I have just started investigating this special track and have encountered two figures, contemporaries of Kaspar Peucer, who wrote about the Valachian Connection: Joachim Cureus and Stanisław Sarnicki.

§4.1. Sixteenth century followers: the case of Joachim Cureus

The Silesian humanist Joachim Cureus was chronologically the first follower of this peculiar conception. In his book "Gentis Silesiæ Annales" (published in Wittenberg in 1571) there is a chapter entitled "Prußiæ ueteris incolæ" in which he mentions the Prussians with the following words: *Habitabant vero in Pruſsia olim populi, & ibi adhuc ſunt reliquiæ illorum, qui lingua Henetæ vel Sclauonicæ planæ diſſimili vtebantur, ſicut & in locis aliquot Liuoniæ, cui erant intermixta vocabula latina*[17]. [We possess also a contemporary German translation of the same passage: *Es wohneten vorzeiten Voelcker in Preuſſen / vñ ſein deren noch vorhanden / welche ein Sprach der Henetiſchen oder Sclauoniſchen gar vngleich fuehrten (wie auch en etlichen oertern in Liefland) derſelben Sprach warn etliche Lateiniſche Woerter vntermenget*][18].

Also in this case the linguistic argument is fundamental in order to recognize the Prussians' specific characteristics compared to the other neighbouring peoples: until today – says Cureus – there exist some representatives of this Prussian people, who use a language different from Slavic and in which there are intermingled some Latin words; the same observation may be made also with regard to Livland.

Further in the same passage, with respect to the origin of this Old Prussian people Cureus referred directly to Peucer: *De origine gentis illius, neminem probabilius quid afferre vidi, quam D. Peucerum virum Clariſs: qui putat eos in illas regiones Arctoas, deſertas tunc à Sclauis, qui ſeſe in Germaniam & Poloniam infuderant, migraſſe ex Valachia...* [In German l.c. it is: *Von dieſer Voelcker Ankunfft hat niemand glaublichers an tag geben / als D. Peucerus, der helts darfuer / das dieſelben Voelcker aus der Walachey in dieſe Mitternächtiſche Lender (ſo dazumal die Sclauen verlaſſen / die ſich in Teudſchland vnd Polen geſett) kommen /...*][19]. Thus Cureus not only shows his complete agreement with the theory of a migration from the Daco-Danubian

---

[17] Cureus 1581, 36.
[18] Cureus 1585, 64-65.
[19] Cureus 1585, 65.

region to the Baltic lands, but he clearly affirms that at that time Peucer had been the only one to support this hypothesis[20].

After that Cureus reasons as follows: *& fuiſſe olim colonos Italicos collocatos in Valachiam ab Imperatoribus Græcis, vt arcerent Sclauos ab imperio Coſtantinopolitano, ſed ſuperatos tandem multitudine & vi Sclauorum, patriam reliquiſſe.* [In German l.c. : *vnd das ſie vorzeiten von den Griechiſchen Keyſern / die Sclauen von dem Conſtantinopolitaniſchen Reich abzutreiben / aus Welſchland in Walachey geſchickt:*][21].

Another, minor follower of the Valachian Connection was the Polish historian Stanisław Sarnicki who referred to this variant in one passage of his book "Annales sive de origine et rebvs gestis Polonorvm et Litvanorvm" (published in Kraków in 1587). With a bit of surprise he wrote that: *Nec deſunt, qui eiuſdem generis Italos hac via in Litvvaniam ab oſtiis Danubii per Valachiam tranſivisse affirmant, et tales parui faciunt illam narrationem de Libone, qui in Litvvaniam adveniſſe dicitur*[22]. Thus, Sarnicki's reference is very short and not particulary original[23].

§4.2 A Seventeenth century follower: the case of Fridericus Menius

More than a century after Cureus the case of the historian Fridericus Menius and his rare book "Syntagma de origine Livonorum" (published in Dorpat in 1632) is worthy of mention. Menius' idea of the historic events may be briefly summed up in the following terms.

---

[20] Cf. L. *neminem probabilius quid afferre vidi, quam D. Peucerum virum Clariſs.:*; G. *hat niemand glaublichers an tag geben / als D. Peucerus*.

[21] At this point Cureus' work "Gentis Silesiæ Annales" stops dealing with Prussians, but his later German translation (the "Schlesische General Chronica" which was published fifteen years later in 1585) gives us some more (not linguistic) information on this subject: *Nachmals aber jr Vaterland die Walachey / als ſie durch die* Sclauen *vbermeniget / wider verlaſſen haben. Vnd ob wol die Nachkommen diſer aus* Italia *herkommender Preuſſiſcher Vülcker / vnter den Barbariſchen Vülckern auch rohe vnd wildt (wie man ſpricht) worden ſein / Dannoch ſein etlich der alten Wahlen Gebräuche / nemlich das teglich baden / Jtem die Begrebnis* Ceremonien*, das man die Cürper verbrent / bey den Preuſſen verblieben. Diſes Volck / das auch dafumal vnd lang hernach ob jrer Abgütterey vnd aberglaubiſchen Religion ſtarck vnd feſt hielt / bekriegte* Boleslaus*, vnd ging der Krieg gluecklich aus / dan etliche Preuſſen verwilligten jm* Tribut *fugeben. Aber ehe die Teudſchen Ordensherrn in Preuſſen kommen ſein / iſt fuer vnd fuer Krieg vnd Vnruhe darin geweſt.*

[22] Sarnicki 1587, col. 1082.

[23] Another minor mention of the Valachian Connection one may find in the book "Moscoviae ortus et progressus" (1681) by Daniel Prinz von Buchau, a contemporary of Sarnicki; he juxtaposes the story told by Długosz with the legendary two eponymous brothers by the name Rohman and Vlahata respectively, and notes the proximity between the two accounts (cf. Armbruster 1977, 113, n. 127).

The Valachians migrated northward in two waves: first during the Hun, and second during the Slav invasions (*Hoc tempore... facta est illa Wallachiorum cum Slavis et nostris gentibus Livonicis commixtio*)[24]. These migrations had two results: the beginning of a Baltic aristocracy, and the emergence of the above mentioned three Baltic languages starting from the language spoken by the colonists, a language which was very close to Latin.

Thus, on the one hand Menius rejected the notion that the Livonians, Lithuanians and Prussians came directly from Rome, but on the other hand he declared their provenience rather *de Wallachia*, from the strong Roman colony created by Trajan in Dacia.

As evidence of a Baltic Romanitas Menius gives the following three items:

1) the well known onomastic argument according to which the name of Lithuania comes from Italy (*primò, quod in memoriam suae patriae Italiae l'Italiam dixerint Lithuaniam*), a fact which is corrected, however, a little after: *Credibile est, Lithuanis et Lettorum nomen non a Romanis sed Wallachis profectum esse*[25];

2) the holy place Romowe in Prussia where pagan sacrifices were performed (*secundo, quod in memoriam urbis Romanae vicum quendam in Prussia extruxerint, Romove dictum, ubi sub sacra quercu Diis sacrificarunt*);

3) a real linguistic argument is finally given: in the languages of the Baltic region there remain not a few traces of the Latin language (*Tertio, quod Latinae, in hoc idiomate, linguae non pauca restent vestigia*)[26].

Thus, there is no doubt that Fridericus Menius believed the so-called Valachian Connection variant of the Roman Theory. His new contribution is the just presented historically clearer explanation. From a linguistic point of view, however, he doesn't give any new data that his predecessors did not give.

§5. Evaluating the Variants of the linguistic Roman Theory

The least common denominator shared by all the variants of the Renaissance linguistic Roman Theory (i.e., the classic version of the Roman Theory exemplified by Długosz and Cromer, the Semilatin or the Neolatin conceived by Vilnius' Latinizers and finally the so-called Valachian Connection) was the explicitly or implicitly assumed identity of Latin and Lithuanian. The Valachian Connection introduced, however, a third variable capable of shifting the relationships among already well known elements.

Thus, one can symbolize the situation as follows:

a) *Latin => Lithuanian, Prussian* (valid for Roman, Semilatin, Neolatin Theories);

[24] Menius 1632, 532, sub Anno 594.
[25] Menius 1632, 533, sub Anno 594.
[26] Menius 1632, 532, sub Anno 594.

b) *Latin => Valachian => Lithuanian, Prussian* (valid for the Valachian Connection); where the symbol "=>" should be always read as "equal through corruption".

One observes in b) that Lithuanian and Prussian are considered as the result of a twice corrupted Latin language: the first corruption produced the Valachian and the second corruption the Baltic (Lithuanian and Prussian) languages.

If one keeps in mind that the conception of diachronic linguistic change has been a relatively late acquisition in the history of linguistics, it is a fact worth stressing that during the Cinquento the identity of Latin and Lithuanian was understood as being valid first of all diachronically[27]. During the following century, however, even the Valachian Connection gained a historical dimension, as shown by the case of Menius.

From a diachronic point of view this identity was differently understood and explained by the different authors: all of them shared the legendary origin of Palemon but related it to distinct historic figures and events. Linguistically the gap between the two languages was more or less clearly expressed by the Renaissance Corruption Theory[28].

From all the above mentioned arguments I hope I have made clear enough the big difference there was at that time between stating that a people (for example the Lithuanians) derived from another people (for example the Romans) and stating that a language (for example Lithuanian) derived from another language (for example Latin).

Considering the most widespreaded linguistic theories on the Baltic languages circulating during the Renaissance – the Slavic Theory, the Roman Theory, The Quadripartite Theory with their numerous variants – one observes important subcategories. While the Slavic Theory and the Quadripartite Theory, at least in their classic formulations, remained substantially on a synchronic level, it was only within the frame of the Roman Theory that there emerged the embryo of a first model of diachronic explanation known in the Baltic Linguistics at all[29].

---

[27] A possible, synchronic interpretation of it is perhaps to be found in the texts of the Vilnius' Latinizers as depending on social status: the language of the aristocracy *vs.* the language of the people.

[28] In particular Cromer usually preferred to refer to the Corruption theory when he speaks about Lithuanian and when he speaks about Valachian, but he does not connect the two cases.

[29] I should like to express my gratitude to W.R. Schmalstieg for help with the English text. A Lithuanian version of this study has been published in "Archivum Lithuanicum", 5, 2003, Vilnius, pp. 195–206. Of course, I am solely responsible for any possible shortcomings of this paper.

http://www.vilnius.baltica.com

Sources

Agrippa 1533 – ORATIO FVNEBRIS DE ILLVSTRISSIMI PRINCIPIS ET DO=mini Iohannis Radziuilli Oliciæ w Neſniſi Ducis, uita & morte, ſcripta à VVENCESLAO AGRIP=pa Lithuano. EPICEDION SCRIPTVM A PHILIPPO MELANTHONE. [s.l.]

Carionis 1569 – Newe volkommene Chronica Philippi Melanthonis. Zeytbuch Vnd Warhafftige Beſchreibung / Was von anfang der Welt biß auff diæ gegenwertige Jar / nicht allein von den Juden vnd Chriſten / ſonder auch von allen Heyden / Tuercken / vnd andern Voelckern ſo viel deren je geweſen / beide in Geiſtlichen vnnd Weltlichen ſachen / rath vnd anſchlegen / in fried vnd kriegßzeiten in der ganten Welt... Anfenglichs unterm Namen Johan Carionis auffs kuertzeſt verfaſt / Nachmals durch Herrn Philippum Melanthonem vnnd J. Caſparum Peucerum auffs neuwe vberſehen / gemehrt / vnd jett auæ dem Latein verdeutscht durch M. Euſebium Menium: Sampt einem ſummariſchen gruendlichen anhang dieſes jett lauffende Tauſent / fuenff hundert / ſechs vnd ſechtigſt Jar... Getruckt zu Franckfurt am Mayn / Anno M.D.LXIX.

Carionis 1572 – CHRONICON CARIONIS expositvm et avctvm mvltis et veteribvs et recentibvs historiis, in descriptionibvs regnorvm & gentivm antiquarum, & narrationibus rerum Eccleſiaſticarum, & Politicarum, Græcarum, Romanarum, Germanicarum & aliarum, ab exordio Mundi vſq; ad Carolvm Qvintvm Imperatorem. A PHILIPPO MELANTHONE ET CASPARO PEVCERO. Adiecta est narratio hiſtorica de electione & coronatione Caroli V. Imperatoris. Cum Gratia & Priuilegio. WITEBERGÆ excvdebat Iohannes Crato, Anno M.D.LXXII.

Crassinius 1574 – Ioannis Crassinii Polonia. Ad Serenissimvm, et Potentiximum, Henricum primû Valeſium, Dei gratia vtriusq; Poloniæ Regem. Bononiæ, Apud Peregrinum Bonardum, Venia ab Superioribus Conceſſa.

Cromer 1555 – De origine, & rebus geſtis Polonorum libri XXX..., Basileæ, per Ioannem Oporinum. [M.D.LV].

Cromer 1562 – Mitnächtische Völkeren Historien, von dem Polen Martin Chromer lateinisch geschrieben und von H. Pantaleon, der Arznei und freier Kuenste Doktor zu Basel verdeutscht, vermehrt und in Druck gegeben, Basel [The quoted passage has been reprinted also in "Tolkemita" 650.7].

Cromer 1578 – Polonia: siue de sitv popvlis moribvs magistrativus & republica regni polonici libri duo, Secundo æditio priore locupletior & emendatior, Coloniæ apud Maternum Cholinum.

Cureus 1581 – New vermehrete Schleſiſche CHRONICA vnnd Landes Beſchreibung, Darinnen Weylandt Joach. Curæus... Jehna.

Cureus 1585 – Schleſiſche General Chronica, Darinnen Wahrhaffte eigentliche vnd kurte Beſchreibung / Des Landes Ober vnd Nider Schleſien... Mit fleiß ƒuſammen geƒogen / Durch D. Laurentium Mueller / damals Fuerſtlichen Churlendiſchen Hoffraht. M. D. LXXXV.

Długosz 1615 – Historia Polonica Iannis Dlvgossi sev Longini... Dobromili, Szelig.

Długosz 1876 – Joannis Długossii seu Longini Canonici Cracoviensis Historiae Polonicae libri XII, Tomus III, libri IX-X, Cracoviæ, Lakocisski, Omnia cura Alexandri Przezdziecki edita. Cracoviae ex typographia Kirchmayeriana.

Gessner 1555 – Mithridates Gesneri, exprimens differentias lingvarum, tum veterum, tum quà hodie, per totum terrarum orbem, in usu sunt. Tiguri 1555, Typis Wolphianis [Second ed. 1610].

Kaspar Peucer 1569 – see Carionis 1569.

Menius 1630 – Syntagma de origine Livonorum [Reprinted in: Scriptores rerum Livonicarum, II, Riga, Leipzig, 1848, pp. 511–542].

Michalo Lituanus 1550 [1615] – De moribus Tartarorum, Lituanorum et Moschorum, Basilea [Reprint with Lithuanian translation by Jurginis J. 1966: Apie Totorių, Lietuvių ir Maskvenų papročius, Vilnius, Vaga (Lituanistinė biblioteka)].

Rocca 1591 – Appendix de dialectis, hoc est de variis linguarum generibus. In Bibliotheca Apostolica Vaticana a Sixto V P.M. in splendidiorem commodoriemque locum traslata..., Roma, Tipografia Apostolica Vaticana, 1591 [Idem, Opera Omnia, Roma, Tipografia San Michele, 1719].

Sarnicki 1587 – Annales sive de origine et rebvs gestis Polonorvm et Litvanorvm libri VIII, Cracoviæ.

References

Armbruster 1977 – Armbruster A. La romanité des Roumains: histoire d'une idee, Ed. Acad. Republicii Socialiste Romania (Bibliotheca historica Romaniae, Monographies, 17), Bucuresti, 1977.

Dini 1994 – Dini P.U. Baltų kalbos bei kulturos Rinascimento laikotarpiu. Baltų kalbų suvokimas Andzelo Rokos 1591 m. 'De dialectis' // International Congress of Balticists. Vilnius, 2–4.X.1991, "Baltistica", Priedas, IV, 1994.

Dini 1996 – Dini P.U. Latino e lituano nel Rinascimento. Sull'importanza del momento linguistico nel mito dell'origine latina del lituano // Italy and Europe in Renaissance Linguistics. Comparisons and relations, Modena, Panini, 1996.

Dini 1998 – Dini P.U. Jan Długosz und die baltischen Sprachen. Baltische Sprachen und Kulturen in der Renaissance // Материалы XXVII межвузовской научно-методической конференции... Секция Балтистики 10–12.III.1998. Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 1998.

Dini 1999 – Dini P.U. The linguistic dispute of Vilnius Humanists regarding Latin, Lithuanian and Ruthenian // Historiographia Linguistica, 26/1, 1999, Ottawa.

Renzi 2000 – Renzi L. Ancora sugli Umanisti italiani e la lingua rumena // Romanische Forschungen, 112, 2000.

Ročka 1988 [1975] – Ročka M. Mykolas Lietuvis. Vilnius, 1988.

Tavoni 1984 – Tavoni M. Latino, grammatica, volgare. Storia di una questione umanistica, Padova, 1984.

Сомнения в заимствовании лит. *miẽstas* 'город' из славянского

Д. Разаускас (Вильнюс)

Литовское слово *miẽstas* 'город' часто встречается уже у Мартинаса Мажвидаса, Йонаса Бреткунаса, Микалоюса Даукши, Меркелиса Петкевичюса в XVI в., в Библии Самуэля Богуслава Хылиньского, в словаре Константина Ширвида в XVII в. и др. (Sabaliauskas 1990, 232; Skardžius IV, 188). Соответствующие слова издавна засвидетельствованы и в двух других балтийских языках: латышское *miests* в переводе Библии Е. Глика XVII века (Karulis 1992, I, 592); древнепрусское *Meſtan* в Эльбингском словаре начала XIV века (№ 796) и *maiſta* с вариантами в словаре С. Грунау первой половины XVI века (№ 3) (Mažiulis 1981, 45, 49). Таким образом, слово известно балтийским языкам уже с самых ранних письменных памятников.

Общепринято считать лит. *miẽstas* 'город' заимствованием из славянского, при этом указываются в первую очередь др.-русск. *мѣсто*, ст.-блр. *место*, блр. *места* и ст.-польск. *miasto*, *miesto*, польск. *miasto* в значении 'город'[1]. Заимствованиями в свою очередь считаются как лтш. *miests* (из восточнославянского, согласно К. Карулису, еще до XIII в.) (Karulis 1992, I, 592; см. LEW, 450), так и др.-прусск. *maista*, *mestan* (последний, согласно В. Мажюлису, из польск. **město*) (Mažiulis III, 99, 136; см. LEW, 450).

Указанные славянские слова, как известно, наряду со многими соответствиями в других славянских языках, возводятся к праслав. **město* в изначальном значении 'место, locus'. По словам авторов «Этимологического словаря славянских языков», «первоначальное значение 'locus' сохранилось у южных и восточных славян, у западных славян с XIV в. развивается значение 'urbs' (< 'поселение' < 'ограниченная часть пространства, определенная часть пространства, где может расположиться что-либо') не без влияния немецких *Ort*, *Stadt*, сочетающих значения 'locus' и

[1] См. Buck 1949, 1309; Būga I, 345, III, 678; LEW, 450; Sabaliauskas 1990, 231; Skardžius IV, 188; Zinkevičius 1987, 75 и др.

'urbs'. [...] Значение 'город' в украинском и русском – калька средневосточнонемецкого *stat* 'город, место', через посредство западнославянских языков».[2]

По определению ЭССЯ праславянское **mĕsto* – «этимологически трудное слово, лишено внутриславянских связей, отсутствуют точные балтийские и другие и.-е. соответствия. Достаточно широким кругом исследователей принимается этимология, согласно которой слав. **mĕsto* следует считать родственным лит. *mintù*, *mitaũ*, *mìsti* 'питаться', лтш. *mìtu*, *mist* 'проживать, находиться, кормиться', лит. *maĩstas* 'питание', *maitinù*, *maitìnti* 'кормить', авест. *maēϑana-* (ср.р.) 'местопребывание, жилище, дом', *mitayaiti*, *miϑnaiti* 'живет, пребывает', но определенные трудности связаны с интонационными различиями. Праслав. **mĕsto* трактуется как производное с суффиксом *-to* от незасвидетельствованного глагола с и.-е. корнем **meit(h)-*, который определяется как 'местопребывание; питание, пропитание' (Pokorny 715). [...] Другая точка зрения исходит из представлений о праслав. **mĕsto* как образовании с суффиксом *-to*, сложившимся на базе и.-е. **mēit-* (: **məit-* : **mit-*) с общим значением 'укреплять; палка, бревно' (Pokorny 709). Продолжения с этим корнем в др.-инд. *methís* (м.р.), *methī* (ж.р.) 'столб', лат. *mēta* 'пирамида', ср.-ирл. *methas* 'пограничный знак' (< **mitostu-*), др.-исл. *meiðr* 'брус, бревно', лит. *miẽtas*, лтш. *mìets* 'кол, палка'. Первично **mĕt-to* < **moit-to* – прилагательное, которым определялась определенная часть пространства, отграниченная, отделенная от остальной территории. [...] Как видно, в той и другой версии слав. **mĕsto* предстает как новообразование праславянской эпохи, по типу имен на *-to* оформлена и.-е. основа (именная или глагольная), утраченная славянскими языками» (ЭССЯ XVIII, 205–206)[3].

Если принять последнюю этимологию (а надо заметить, что именно такую этимологию славянского слова высказывает в своем «Этимологическом словаре индоевропейских языков» Ю. Покорный, и она в качестве единственной указывается в «Историко-этимологическом словаре современного русского языка» П.Я. Черных (Pokorny 1959, 709; Черных 1999, I, 526)), то следует обратить внимание на то, как объясняются указанные балтийские слова лит. *miẽtas* и лтш. *mìets* 'кол, палка'. Дело в том, что они не только отвечают перечисленным родственным существительным дру-

---

[2] ЭССЯ XVIII, 205, шире с многочисленными примерами из других славянских языков см. 203-205; ср. Фасмер 1996, II, 608; Zinkevičius 1987, 75 и др. По данным И.И. Срезневского (Срезневский 1989, т. II, ч. 1, ст. 246), это слово в значении 'город либо поселение городского типа' засвидетельствовано с самых ранних источников древнерусского языка, т.е. с XI века (за указание на это приношу искреннюю благодарность др. Сергею Темчину).

[3] Здесь же литература относительно обеих этимологий; дополнительно см. Черных 1999, I, 525–526; Karulis 1992, I, 592; Sabaliauskas 1990, 231; Zinkevičius 1987, 75.

гих и.-е. языков, но и возводятся непосредственно к балтийскому глаголу, представленному в латышском *mìe-nu*, *mìet* ‘вбивать в землю тычину частокола’[4] и в реконструированном К. Бугой литовском **miẽti* с тем же значением. Глагол этот в свою очередь восходит к и.-е. **mei-* ‘befestigen, укреплять’: ср. др.-инд. *minóti* ‘укрепляет, сооружает’, *mitá-* ‘укрепленный’, *métar-* ‘созидатель, строитель’, *mití-* ‘сооружение’ и *mit-* ‘столб, колонна’ наряду с *methís* ‘столб’ из **mēit-*; а также лат. *moenia* ‘городские стены; укрепления, укрепленное место, оплот; городская черта, (собственно) город (внутри стен); здание, строение и т.п.’, *mūnio,-īre* (< *moenio*) ‘укреплять, обносить укреплениями; ограждать и т. п.’, *mūrus* (< *moiros*) ‘стена (преимущественно городская); вал, оплот’ наряду с *mēta* ‘пирамида’ из **mē[i]t-* и др. Таким образом, лит. *miẽtas* ‘кол, палка’, как и лтш. *mìets*, беспрепятственно объясняется на основе восточнобалтийского, сохраняя при этом индоевропейскую словообразовательную модель: оно представляет собой причастие страдательного залога прошедшего времени от глагола **miẽti* (= лтш. *mìet*) ‘вбивать в землю тычину частокола’ так же, как и.-е. **mei-to-s* – от указанного глагола и.-е. **mei-*. Семантически такое отношение иллюстрируют лит. *baslỹs* ‘кол’ от *bèsti* ‘втыкать’, *kuõlas* ‘кол’ от *kálti* ‘вбивать’ и т. п.[5] Ср. соответственно праслав. **kolъ* (русск. *кол*) от **kolti* (русск. *коло́ть*) (Фасмер 1996, II, 285; Черных 1999, I, 410; ЭССЯ X, 160–161).

Последний пример заслуживает внимания еще и по той причине, что рефлексы праслав. **kolъ* могут получать не только значение ‘кол’, но и собственно ‘частокол’, например, блр. диал. *кол* (ЭССЯ X, 161), ср. наконец и само *часто-кол*. Типологически ср. др.-гр. *staurós* ‘кол, шест’, *stauróō* ‘окружать кольями, обносить частоколом’ и *staúrōma* ‘частокол, заграждение’ (ДГРС, 1500); лат. *vallus* ‘кол’, но опять же и ‘частокол, изгородь’ (ср. *vallum caedere* ‘вбивать, вколачивать частокол’) и даже ‘насыпь с частоколом, вал’, ср. производное *vallum* ‘изгородь из стволов молодых деревьев […]; вал, насыпь с частоколом’ (ЛРС, 910). Эти примеры в свою очередь находят типологическую параллель в упомянутых лат. *moenia* ‘г о р о д с к и е стены’ (ср. *moenibus urbem cingere* или *circumdăre* ‘окружить’ или ‘обнести город стеной’ (ЛРС, 558)), но и собственно ‘г о р о д (внутри стен)’, *mūnio,-īre* ‘ограждать’, *mūrus* ‘стена (преимущественно г о р о д с к а я)’, ‘вал’ – из и.-е. **mei-* – нараду с лит. **miẽti*, лтш. *mìet* ‘вбивать в землю тычину частокола’ и лит. *miẽtas*, лтш. *mìets* ‘кол’. Еще «в этой связи заслуживают внимания такие анатолийские назва-

[4] Ср. *miet mietu zemē* ‘вколачивать кол в землю’ (LaLKŽ, 382).

[5] В отношении сказанного в абзаце см.: Būga I, 370, II, 256; LEW, 451; Karulis 1992, I, 592-593; Mayrhofer II, 636–637, 683; Pokorny 1959, 709; Skardžius I, 321: §182; Walde–Hofmann II, 80, 100–101, 131–132; значения древнеиндийских слов по СРС, 511, 512, 521, латинских – по ЛРС, 558, 568, 570.

ния г о р о д а, как лув.-иерогл. *mini-*, лик. *meñña-*, м. б. хетт. **mina/i-*», которые тоже, видимо, восходят к и.-е. **mei-* 'укреплять' (Топоров 1981, 124). Таким образом, данный глагольный и.-е. корень **mei-* 'укреплять' развивает не только значение 'кол', но и 'частокол', 'ограждение', 'городская стена' и собственно 'г о р о д', причем типологически это весьма характерно (дополнительно ср. лат. *pāgus* 'село, деревня, округ' из *pango, -ere* 'вбивать, вколачивать' (ЛРС, 625, 628; Walde–Hofmann II, 236, 245-246)). Отношение значений 'ограждение, ограда' и 'город' в отдельном обсуждении вообще не нуждается: достаточно указать на др.-русск. *городъ* 'ограда, забор' и 'укрепление, крепость, город', русск. *гóрод* 'населенное место, огороженное стеной, оградой для защиты от неприятеля, крепость', диал. (волог., калуж.) 'изгородь, ограда', (арх., перм., терск.) 'огороженное место' и т.п. (праслав. **gordъ*) (см. ЭССЯ VII, 37–38). В литовском славянскому слову в точности соответствует *gar̃das* 'огороженное место, загородка, загон для скота в пастбище' и т. п., но также и 'город', причем последнее значение не является заимствованием из славянского, о чем свидетельствуют такие древние литовские топонимы, как *Gardai* (впервые упомянуто в 1253 г., сейчас Жемайчю Калвария), *Gar̃damas* (местечко в Расейнской области) и *Gar̃dinas* (собственно Гродно). По словам К. Буги, «древне-русское название Гродна *Городенъ*, род. *Городна* заимствовано из литовской формы *Gar̃dinas*, ср. *gardiñ̃ys*, *gar̃dinio* 'отгородка в хлеве для мелких животных'» (Būga I, 440; см. Sabaliauskas 1994, 93; LKŽ III, 120).

Следует подчеркнуть, что на территории древних балтов, в частности современных литовцев и латышей, начиная по меньшей мере с верхнего неолита (конец III тысячелетия до н. э. – начало II), городища строились именно посредством сооружения укрепленных оград: они окружались (валом с) одним, двумя и более рядами частокола, которые дополнительно могли укрепляться горизонтальными брёвнами, глиной, камнями и т. п. (см. Rimantienė 1984, 239-241; Volkaitė-Kulikauskienė 1987, 92; Gimbutienė 1985, 125).

Ср. в этой связи типичные примеры употребления лит. *miẽtas*: *Pritaisė daugybę mietų, kana kiek t v o r ų galės aptverti* 'Приготовил множество колов, достаточно заборов сможет загородить'; деноминативов *miẽtyti*, *mietúoti* 'вколачивать колы': *Mietyk mietus, kol užmietysi, o paskui t v e r k* 'Колоти колы, пока заколотишь, а потом городи'; *Vienas mietuoja, antras t v e r i a t v o r ą* 'Один колы вколачивает, а другой забор городит' (LKŽ VIII, 157–158); лтш. *mìets* в словосочетаниях *mietu ž o g s* 'забор из колов, жердей', *s ē t a s miets* 'кол, жердь в заборе, ограде' (LaLKŽ, 382), притом что лтш. *sẽta* означает не только 'забор, ограда', но и 'двор, усадьба', а *pilsẽta* – буквально 'город' (< *pils sẽta* 'ограждение городища'). Весьма показательно поэтому, что С. Даукантас (XIX в.), описывая строительство древнелитовского городища, прибегает именно к существитель-

ному *miẽtas* ‘кол’: *Vardas pats pilis, nuo žodžio pilti, rodo, ką jis žymina, nesgi kalnėnai ir žemaičiai, norėdami savo lobį nuo neprietelių paglemžti, strūnijo tas pilis tokiu būdu. Visų pirma [...] pylė žemės sienas, į ketvirtainį pailguotiną pavėdžias, it į trobesį keliais sieksniais aukštą ir mažne tiek pat storą; nuo neprieinamosios pusės buvo anga, o visos to ketvirtainio sienos kaip iš lauko, taip ir iš vidaus giliu grioviu apkastos, kurio griovio lauko pašalys buvo užtvertas statiniu ąžuolo atbulų m i e t ų, prie kits kito sudurtų. Ant tų sienų viršaus [...] vėl buvo atbulų m i e t ų statinys, už kurio pilies gyventojai stoję akmenaičius iš svilksnių ant neprietelių svaidė it krušą bėrė* ‘Само название *pilis* ‘городище’, от слова *pilti* ‘сыпать’, показывает, что им обозначается, ибо литовцы, с целью защиты своего добра от врагов, строили их следующим образом. В первую очередь […] насыпали земляные валы, напоминающие прямоугольник или здание высотой в несколько саженей и такой же толщины; с непроходимой стороны было отверстие, а все стены прямоугольника, как снаружи, так и изнутри, окружал глубокий ров, внешний край которого огораживался частоколом из приставленных друг к другу перевернутых дубовых колов. На такой стене […] опять же стоял частокол из перевернутых колов, из-за которого жители городища градом сыпали на неприятеля камни из пращей’ (Daukantas 1976, 598–599)[6].

Следовательно, в о - п е р в ы х, вполне правдоподобным было бы предположение о том, что и глагол лит. **miẽti* (лтш. *mìet*) ‘вбивать в землю тычину частокола’ мог применяться в отношении сооружения городища, т. е. древнего города. И если с суффиксом *-ta-* из этого глагола правомерно получается существительное *miẽtas* ‘кол’ (Skardžius I, 321: §182 (шире 319–324: §181–183)), то с суффиксом *-sta-* (Skardžius I, 324–325: §184) из него же не менее правомерно могло быть образовано и существительное лит. **miẽstas* в значении ‘частокол’ > ‘город’. Ср. *gruñstas* ‘ком (земли)’ наряду с *gruñtas* ‘то же’ из *grùmti* ‘сжимать, мять, комкать’; *lañkstas* ‘изгиб, объезд, обход’ наряду с *lanktas* ‘свод’, *lañkas* ‘дуга’ из *leñkti* ‘сгибать, гнуть’ (Skardžius I, 324–325: §184)[7] и др.

---

[6] При переводе не ставилось целью отражение стиля текста.

[7] См. соответственно LKŽ III, 663–665 и VII, 134, 137, 347сл. Ср. Būga II, 592. Причем с суффиксом *-sta-* от глагольных корней образуются именно существительные результативного значения (nomina acti) (Ambrazas 1993, 93: §146).

Предложенное В. Смочиньским объяснение элемента *-sta-* в качестве результата «ресегментации» носителями языка интенсивно-итеративных глаголов с суффиксом *-styti* – например, *klõst-as* (наряду с *klõt-as*) ‘складка’ или мн.ч. ‘жерди, на которых расстилается лён, мостки’ < *klóst-yti* < *kló-styti* ‘расстилать’ (итератив от *klóti* ‘стелить, стлать’) (Smoczyński 2000, 162, 167-168; см. LKŽ VI, 149–152) или, обращаясь к уже знакомым примерам, *gruñst-as* < **grumst-yti* < **grum-styti* (итератив от *grùmti*), *lañkst-as* < *lankst-yti* < *lank-styti* ‘сгибать, изгибать, гнуть, складывать’ (итератив от *leñkti*) и т.п. – не меняет сути дела, так как в данном случае достаточно было бы указать как на промежу-

В о - в т о р ы х, если лит. **miẽti* (лтш. *mìet*) 'вбивать в землю тычину частокола' отвечает и.-е. глагольному корню **mei-* 'укреплять', то вполне правомерно было бы от расширенного корня и.-е. **mei-t-* ожидать в литовском глагола **miẽsti* с тем же или близким значением.[8] Причастие страдательного залога прошедшего времени с суффиксом *-ta-* от этого глагола имело бы форму именно **miẽstas* – совершенно так же, как *miẽtas* первоначально является причастием страдательного залога прошедшего времени от глагола **miẽti*. Аналогичное отношение показывают, например, такие глаголы, как *skriẽti* в значении 'вращаться, описывать окруж-

---

точное звено на интенсивно-итеративный глагол **miestyti*, на тех же правах образованный с помощью суффикса *-styti* от **miẽ-ti* 'вбивать в землю тычину частокола', причем итеративность обозначаемого им действия в результате тем более подразумевала бы не отдельный 'кол' (*miẽtas* из **miẽti*), а именно 'частокол' > 'город' (**miẽstas* из **miestyti*).

[8] Тут можно вспомнить деноминатив *miẽtyti* 'вколачивать колы', который формально может рассматриваться не только в качестве деноминатива, но и в качетве производного с суффиксом *-yti* непосредственно от первичного глагола **miẽsti*, причем производные с этим суффиксом получают характер либо каузатива (реже, ср. *mir̃k-ti* 'мокнуть' : *mirk-ýti* 'мочить'), либо итератива (более регулярно, ср. *spáus-ti* 'жать' : *spáud-yti* 'сжимать'; *teñp-ti* 'тянуть, тащить' : *tamp-ýti* 'потягивать, дергать, таскать'; *mès-ti* 'бросить, кинуть' : *mė́t-yti* 'бросать, кидать' и т.д.) (Gramatika 1994, 396–397, 399; Skardžius I, 529–532, 534–535: §237). В нашем случае, правда, согласно правилу изменения огласовки корня в древних глаголах на *-yti*, следовало бы ожидать глагол **maityti* (ср. *aižýti* 'лущить' : *iẽžti*, *svàidyti* 'бросать, кидать' : *sviesti* 'бросить, кинуть' и др.), однако со временем глаголы с *-yti* по аналогии стали образовываться также из корней первичных глаголов (Skardžius I, 529-532). Учитывая такую оговорку, в *miẽtyti* 'вколачивать колы' все же можно усмотреть наличие глагольного корня *miet-*, первичным производным которого как раз был бы не засвидетельствованный глагол **miẽsti* (**miẽčia*, **miẽtė*).
При помощи данного глагола можно было бы более удачно объяснить и название луга *Miestinė* в окрестностях поселка Картена (Skardžius I, 266: §154): не как 'городской, принадлежащий городу' от существительного *miẽstas* 'город' (в таком случае в качестве атрибута скорее бы ожидался просто генитив *miesto*), а как 'огороженный (оградой со вбитыми колами)' именно от глагола **miẽsti* в качестве имени результативного значения (nomen acti), ср. *kastìnė* 'выкопанная яма' от *kàsti* 'копать' (LKŽ V, 395) и пр. [о регулярных именах результата действия (nomina acti) с суффиксом *-inis*, *-inė* см. Ambrazas 1993, 95–96: §151]. В отношении такого словообразования вместе с соответствующей семантикой ср. литовское название Гродна *Gar̃dinas*, а также апеллятивы *gardinỹs* 'отгородка в хлеве для мелких животных' и особенно *gardìnis* 'то же' (LKŽ III, 122). В таком случае *Miestinė (pieva)* означало бы просто '(оградой со вбитыми колами) огороженный (луг для пастбища)', что звучит куда правдоподобнее, чем связь с городом (хотя последняя, разумеется, тоже возможна). Такое понимание названия луга *Miestinė* в свою очередь могло бы служить дополнительным аргументом в пользу реконструкции глагола **miẽsti*.

ность' (от которого происходит существительное *skreĩtas* 'поднятый подол') и *skriẽsti* (*skriẽčia*, *skriẽtė*) 'описывать круг (циркулем)', из которого в свою очередь образовано существительное *skriestas* в значении 'циркуль' (наряду со *skriestùvas*) (LEW, 816–817; LKŽ XII, 1050, 1069–1070 и сл). Также *siẽti* 'связывать, соединять' и *siẽsti* (*siẽčia*, *siẽtė*) в том же значении (LKŽ XII, 530, 531 и сл.) и др.

А поскольку «в определенных случаях трудно сказать», по словам П. Скарджюса, «имеем ли мы суффикс *-sta-* или *-ta-*, напр., *kar̃stas* '(зоол.) землеройка, Spitzmaus' Svėdasai (: *ker̃ta*, *kir̃sti*)» (Skardžius I, 325: §184) и т. п., то и существительное *miẽstas*, при его литовской интерпретации, может рассматриваться как в качестве производного от глагола **miẽti* 'вбивать в землю тычину частокола' с суффиксом *-sta-*, так и в качестве производного от (менее надежного) глагола **miẽsti* с суффиксом *-ta-*, тем более что относительно значения обе возможности равноценны.

Таким образом, литовское *miẽstas* с не меньшим успехом может быть объяснено непосредственно теми же словами, которыми объясняется славянское **mě̆sto*, в частности в качестве «образования с суффиксом *-to*, сложившегося на базе и.-е. **mēit-* (: **məit-* : **mit-*) с общим значением 'укреплять; палка, бревно' (Pokorny 709)» (ЭССЯ XVIII, 205-206). Первично **meit-to(s)* – «прилагательное, которым определялась определенная часть пространства, ограниченная, отделенная от остальной территории» (там же, 206), притом отграничение это подразумевает именно частокол или, во всяком случае, ограду со вбитыми в землю колами, лит. *miẽtas* (лтш. *mìets*), чем в свою очередь сохраняется связь с глаголом **miẽti* (лтш. *mìet*). Достаточно вспомнить, что «слав. **mě̆sto* предстает как новообразование праславянской эпохи, по типу имен на *-to* оформлена и.-е. основа (именная или глагольная), утраченная славянскими языками», и что слав. **mě̆sto* по определению – «этимологически трудное слово, лишено внутриславянских связей» (там же, 205) и т. п., чтобы со всей очевидностью выступило преимущество именно балтийской этимологии лит. *miẽstas* (как и латышского и древнепрусского слов), а может быть, в конечном счете, и самого славянского **mě̆sto* (в частности в балтославянской перспективе).

Первичным значением лит. *miẽstas*, таким образом, было бы 'огороженный'. Такое же значение мы в полном праве предполагать и для источника праславянского слова **mě̆sto* 'место, locus': ср. ст.-польск. *miasto*, *miesto* в значении 'окруженная стеной территория' (XVI в.), др.-русск. *мѣсто* в значении 'определенное ограниченное место' («Повесть временных лет», XI в., и др.) (ЭССЯ XVIII, 203–204), а также уже цитированное определение первичного праславянского и, в конечном счете, индоевропейского слов в качестве прилагательного, «которым определялась определенная часть пространства, ограни-

ченная, отделенная от остальной территории», или «ограниченная часть пространства, определенная часть пространства, где может расположиться что-либо» (см. выше). За типологическими примерами развития значения ‘место’ из первичного ‘ограниченный, огороженный’ тоже далеко ходить не надо. Ср. лит. *vietà*, лтш. *vieta* ‘место’, которые К. Карулис весьма убедительно связывает с лит. *vytìs* ‘лоза, прут’, лтш. диал. *vīte*, *vītis* ‘стебель, вьюнок’, русск. *ветвь* и др. (и.-е. **u̯eit-* < **u̯ei-* ‘гнуть, вить’), ср. лтш. *apvīts* в значении ‘обведенный оградой’ (XVII в.) < ‘вокруг утыканный ветвями’ или ‘огороженный свитыми лозами’. Первичным значением лит. *vietà*, лтш. *vieta* ‘место’, таким образом, согласно автору, является *‘отмеченное утыканными или свитыми ветвями, огороженное пространство’, ср. лтш. *dārza vieta* ‘огороженная площадь для огорода’, *mājas vieta* ‘усадебные постройки с огороженным вокруг пространством’ и т. п. (Karulis 1992, II, 526–527)[9]. Последний пример в нашем случае особенно показателен, так как здесь налицо потенциальное развитие в сторону значения ‘город’. Значением ‘двор, усадьба’ до недавнего времени обладало также лит. *vietà* (Būga I, 335), типологически указывая, в свою очередь, на внутреннюю предрасположенность к развитию значения ‘город’ и для праславянского **město*. Другим типологическим примером соответствующих семантических отношений могут служить упоминавшиеся уже русск. *гóрод* ‘населенное место, огороженное стеной, оградой для защиты от неприятеля, крепость’, но и просто (диал.: арх., перм., терск.) ‘огороженное место’ (к лтш. *dārza vieta* ‘огороженная площадь для огорода’ ср. русск. *огорóд*), также лит. *gar̃das* в самом общем значении просто ‘огороженное место’, но также и ‘город’ и т. п.

Почему же, собственно, литовское слово *miẽstas* все-таки считается заимствованием? Решающий аргумент по этому вопросу в свое время высказал К. Буга: «Литовский дифтонг *ie*, восходящий к древне-русскому *ѣ*, в северо-западных (Тельшевский у.) и юго-восточных (Россиенский у.) жемайтских говорах строго отличается от другого, пралитовского, дифтонга *ie*. В северо-западных жемайтских говорах пралитовский дифтонг *ie* звучит как дифтонг *ẹi* (с „закрытым“ кратким *e*), а в юго-восточных – как монофтонг *ī*. Напр. *píeva* ‘луг’, *líepa* ‘липа’, *siẽti* ‘вязать’, *ríeti* ‘складывать (дрова)’, *kíelė* ‘трясогузка’ в только что названных говорах произносятся: *pė́iva* – *pī́va*, *lė́ipa* – *lī́pa*, *sė̃itė* – *sī̃tė*, *rė́itė* – *rī́tė*, *kė́ilė* – *kī́lė*, между тем как заимствованные *vierà*, *svíetas*, *viẽdras* и др. произносятся на аукштайтский лад с дифтонгом *ie*. Во всех аукштайтских говорах оба дифтонга вполне совпали в одном *ie*. У аукштайтов одинаково произносится *ie* и в исконно-литовском *síetas* ‘сито’ и в заимствованном *svíetas* ‘свет’.

[9] Иные, менее убедительные толкования этих слов см. Būga I, 335, 491; Pokorny 1959, 1123–1124; ср. Фасмер 1996, I, 321 и др.

[…] Жемайтское *miẽst(a)s* ‘город’ своим *ie* ясно показывает, что и аукштайтское название города–места *miẽstas* не есть исконно-литовское слово» (Būga I, 345). Указанные жемайтские говоры, таким образом, являются единственным серьезным аргументом в пользу заимствования слова *miẽstas*, ибо на основе аукштайтского, т. е. собственно литовского языка такого вывода сделать нельзя. Однако оказывается, что жемайтские говоры «на аукштайтский лад» произносят н е т о л ь к о заимствования, но и некоторые слова литературного языка. Так, в качестве примера, в «Диалектологии» З. Зинкявичюса наряду с заимствованиями *b'íesas* ‘бес’, *gr'iẽks* ‘грех’, *pl'iẽnc* ‘плен’, *sus'iẽc* ‘сосед’, *s'v'íec* ‘свет’, *v'iẽdras* ‘ведро’ и др., к которым, разумеется, причисляется и *m'iẽsc* ‘город’, даются такие исконнолитовские слова, как *d'iẽu̯as* ‘бог’, *s'iẽlà* ‘душа’, *v'iẽšpac* ‘господин, господь’, *v'iẽšas* ‘публичный, общественный, открытый’ и др. (Zinkevičius 1966, 86). Указанные исконнолитовские слова, произносимые в жемайтских говорах на аукштайтский лад под влиянием литературного языка, к тому же хорошо известны с самых ранних письменных памятников литовского языка, как и *miẽstas*. Следовательно, можно предполагать, что известное влияние на произношение этих слов жемайтские говоры могли испытывать задолго до окончательного сформирования литературного языка в начале XX века. В свою очередь нельзя упускать из виду тот факт, что соответствующее фонетическое воздействие с теми же последствиями могло происходить и со стороны именно славянских слов, широко использовавшихся в Великом княжестве Литовском, учитывая при этом принципиальное различие между фонетическим воздействием и заимствованием. А указанные обстоятельства снимают аргумент Буги в качестве окончательного: произношение литовского слова *miẽstas* в жемайтских говорах XX века н е м о ж е т служить окончательным аргументом в пользу его заимствования, тем более в литовский язык первых письменных памятников.

Таким образом, в действительности пока не существует достаточно веских аргументов в пользу заимствования лит. *miẽstas* из славянского. Наоборот, есть все основания рассматривать это слово как исконнобалтийское, отношение которого к соответствующему славянскому в таком случае нуждалось бы в специальном исследовании.

Литература и источники

ДГРС – Древнегреческо-русский словарь / Составил И.Х. Дворецкий. Москва, 1958.

ЛРС – Латинско-русский словарь / Составили Дворецкий И.Х., Корольков Д.Н. Москва, 1949.

Срезневский 1989 – Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка (репринтное издание). Москва, 1989.

СРС – Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. Издание 3-е, исправленное и дополненное. Москва, 1996.

Топоров 1981 – Топоров В.Н. К семантике четверичности (анатолийское *meu̯-* и др.) // Этимология 1981. Москва, 1983.

Фасмер 1996 – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. Санкт-Петербург, 1996.

Черных 1999 – Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I–II. Москва, 1999.

ЭССЯ VII, X, XVIII – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под редакцией О.Н. Трубачева. Москва, Т. VII: 1980; Т. X: 1983; Т. XVIII: 1993.

Ambrazas 1993 – Ambrazas A. Daiktavardžių darybos raida. Lietuvių kalbos veiksmažodiniai vediniai. Vilnius, 1993.

Buck 1949 – Buck C.D. A dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. Chicago, 1949.

Būga I–III – Būga K. Rinktiniai raštai. T. I–III. Vilnius, 1958–1962.

Daukantas 1976 – Daukantas S. Raštai. T. I. Vilnius, 1976.

Gimbutienė 1985 – Gimbutienė M. Baltai priešistoriniais laikais: etnogenezė, materialinė kultūra ir mitologija. Vilnius, 1985.

Gramatika 1994 – Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Redaktorius V. Ambrazas. Vilnius, 1994.

Karulis 1992 – Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. Sēj. I–II. Rīga, 1992.

LaLKŽ – Balkevičius J., Kabelka J. Latvių-lietuvių kalbų žodynas. Vilnius, 1977.

LEW – Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, Göttingen, 1962–1965.

LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas. T. I–XX. Vilnius, 1956–2002.

Mayrhofer I–III – Mayrhofer M. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. A Concise Etymological Sanskrit Dictionary. Bde. I–III. Heidelberg, 1956–1976.

Mažiulis I–IV – Mažiulis V. Prūsų kalbos etimologinis žodynas. T. I–IV. Vilnius, 1988–1997.

Mažiulis 1981 – Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai II. Vilnius, 1981.

Pokorny 1959 – Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Bern, München, 1959.

Rimantienė 1984 – Rimantienė R. Akmens amžius Lietuvoje. Vilnius, 1984.

Sabaliauskas 1990 – Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos leksika. Vilnius, 1990.

Sabaliauskas 1994 – Sabaliauskas A. Iš kur jie? Pasakojimas apie žodžių kilmę. Vilnius, 1994.

Skardžius I–V – Skardžius P. Rinktiniai raštai. T. I–V. Vilnius, 1996–1999.

Smoczyński 2000 – Smoczyński W. Litewskie wyrazy typu *iñdas, ãpstas* oraz typu *sam̃das* // Балто-славянские исследования 1998–1999. Москва, 2000.

Walde–Hofmann I–II – Lateinisches etymologisches Wörterbuch von A. Walde / 3., neubearbeitete Auflage von J.B. Hofmann. – Bde. I–II. Heidelberg, 1938–1954.

Volkaitė-Kulikauskienė 1987 – Volkaitė-Kulikauskienė R. Brūkšniuotosios keramikos kultūra // Lietuvių etnogenezė. Vilnius, 1987.

Zinkevičius 1966 – Zinkevičius Z. Lietuvių dialektologija: lyginamoji tarmių fonetika ir morfologija. Vilnius, 1966.

Zinkevičius 1987 – Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. T. II: Iki pirmųjų raštų. Vilnius, 1987.

О «простой мове»

М. Мозер (Вена)

1. Нельзя не заметить, что «простая мова»[1] (далее: ПМ), употреблявшаяся в XVI и XVII вв. в качестве одного из письменных языков украинцев и белорусов, до сих пор представляет собой объект исследования, вызывающий много споров[2]. Первые трудности возникают относительно самого ее названия. В новейших украинских и белорусских публикациях[3] его, впрочем, все больше избегают, употребляя альтернативные названия «староукраїнська літературна мова» и «старабеларуская літаратурная мова». При этом, однако, возникают некоторые трудности, и прежде всего потому, что ПМ по сути дела не представляет собой ни исключительно староукраинский, ни исключительно старобелорусский, но скорее совместный «староукраинский и старобелорусский литературный язык», что отражается и в том, что для множества памятников однозначное отнесение их к украинскому или белорусскому языку не оказывается возможным. Далее вызывает сомнения тот факт, что в некоторых публикациях говорится о литературных языках уже по отношению к языкам, которые качествами литературного языка еще явно не обладали. Это в частности касается делового языка украинцев и белорусов XIV–XV вв., когда на этом языке писались почти исключительно деловые документы. Далее, как известно, носители ПМ, если они называли свой язык по его этничес-

[1] Данная статья представляет собой значительно сокращенную версию статьи «Что такое простая мова?», которая опубликована в журнале Studia Slavica Hungarica, см. Мозер 2002.

[2] Ср., напр., Гардзанити 1999, 169: «К сожалению, мнения ученых расходятся в вопросе об этом языке, обычно именуемом «проста мова», но встречающемся под иными многочисленными названиями […] отсутствует какое-либо системное описание самого языка и его релевантных характеристик прежде всего в сопоставлении с польским и с церковно-славянским того периода».

[3] Ср. Беларуская мова 1994; Українська мова 2000, где нет леммы «проста(я) мова».

http://www.bibliorossica.com

кой принадлежности, употребляли лишь глоттоним «рус(ь)кий язык» или «рус(ь)кая мова» на основании того, что они называли себя «русинами»[4] и рассматривали себя как один «руський народ». «Руський язык», в свою очередь, казался им их общим языком, которым он в определенной степени фактически и был. Между тем, понятия «украинский» и «белорусский» в XVI и XVII вв. еще не закрепились как названия тех земель, которые имеются в виду, или имели совсем другие значения[5]. Тем не менее, из современной перспективы названия «староукраинский» и «старобелорусский» язык по отношению к ПМ, естественно, приемлемы, так как она представляет собой этап в развитии именно украинского и белорусского литературных языков.

Термин же «ПМ» вкратце обозначает то же самое, что и обозначение «руський» или выраженное другими словами, но несколько громоздкое «украинский и белорусский литературный язык среднего периода». Он сам по себе, однако, не сообщает ничего конкретного, если заранее неизвестно, о чем идет речь. Более того, выражение «простая мова» или «простой язык» в современных славянских языках имеет в первую очередь значение «невыработанного» или «сниженного» языка, что не соответствует сути ПМ, обладавшей, в принципе, всеми качествами литературного языка. Далее, выражение «ПМ» нуждается в оговорках и потому, что не только в Белоруссии и на Украине, но и в других славянских землях на определенных исторических этапах писали на языках, которые также назывались «простыми». Как у украинцев и белорусов, так и у других славян выражение «простой язык» обозначало в основном ‘язык, освободившийся от прежних иноязычных книжных традиций’.

Откуда же происходит выражение «простая мова»? Слово *простъ*, согласно словарю И.И. Срезневского (Срезневский 1893–1903, см. *простыи*), уже в древних восточнославянских памятниках встречается в значении ‘светский’, которое в свою очередь восходит к более древнему значению ‘неграмотный’ а также ‘из низшего социального слоя’. Эти последние значения, впрочем, проявляются также в старославянском слове *простъ*, служившем, помимо остального переводом греческого

[4] Этноним и глоттоним, кстати, лучше всего переводятся на другие языки как укр. *русини*, *руський*, блр. *русіны*, *рускі*, пол. *Rusini, ruski*, нем. *Ruthenen, ruthenisch*, франц. *Ruthenes, ruthene*, англ. *Ruthenians, Ruthenian*. Теперь эти названия приняты прежде всего у американских славистов.

[5] Ср. Сабаленка 1988; Грицкевіч 1988; Witkowski 1969, 8. С другой стороны, великороссы назывались в Речи Посполитой, впрочем без всяких пейоративных оттенков, «москалями», а также «новгородцами», «тверцами» и т. д., пока эти другие княжества не были присоединены к Великому Княжеству Московскому. То же самое наблюдается, впрочем, и в практике западной дипломатики (до XVIII в.): Украинские и белорусские территории назывались там, как правило, «Ruthenia», великорусские же – «Moscovia».

ἀδιώτης (Цейтлин, Вечерка, Благова 1994, см. *простъ*). Одновременно, выражение *простъ* по отношению к языку также обозначало ‘простой, несложный, невитиеватый стиль’ (Успенский 1987, 251). Так как в болгарских «Дамаскинах» выражения *простымъ/простимъ сказанїемъ* или *простымъ/простимъ езыкомъ* могли переводить греческое **κοινῇ γλώσσῃ** (Петканова-Тотева 1965, 17, 57; Иванова 1967, 11), то можно было бы подумать, что именно оно послужило источником названия «простой мовы». Оказывается, однако, что перевод *простымъ/простимъ сказанїемъ* или *простымъ/простимъ езыкомъ* является вторичным: в более ранних «Дамаскинах» его нет и там преобладает более точный перевод «общїимъ сказанїемъ», «обьщымъ езыкомъ»[6]. Поэтому нам кажется маловероятным, что выражение «простая мова» переводит греческое **κοινῇ γλώσσῃ.** Кроме того, нельзя, наверное, считать его переводом ни латинского *lingua rustica*, как полагает Б.А. Успенский (Успенский 1987, 261), так как последнее переводилось бы скорее как «сельский язык» или т. п., ни романского *lingua vernacula* («местный язык») ни *lingua volgare* («народный язык»).

Нам кажется более вероятным, что источник этой кальки можно найти в чем-то другом, в частности, в немецком выражении *die gemeine (deutsche) Sprache*, которое употреблялось по крайней мере с 1384 г., когда венский писец Леопольд Штайнройтер противопоставил выработанный им искусственный, ориентированный на латинский синтаксис вариант немецкого письменного языка тому стилю, который был принят *in gemeinen teutsche*, т.е. в «простом немецком языке» (Eggers 1969, 153), и получил самое широкое распространение именно во время реформации. Далее, поражает семантика немецкого прилагательного *gemein*, обозначавшего и отчасти обозначающего до сих пор не только ‘общий’, но также и ‘простой’. Кроме того, *gemein* по отношению к человеку могло и может до сих пор обозначать то же самое что «простой» в обороте *der gemeine Mann* ‘простой человек’. Таким образом, все основные значения слова *gemein*, за исключением ‘общий’, совпадают со значениями слова *простой*. Это отражается также в значении немецкого понятия *Gemeinsprache*, ср. Atlas 1985, 95: «Eine bereits im Spätmittelalter mit diesem Namen belegte (zuerst 1384) Sprachform ist das gemeine Deutsch. Der Ausdruck ist doppeldeutig: Einmal bezeichnet er eine stilistisch schmucklose Sprachform im Gegensatz zu einer rhetorisch überhöhten, andererseits auch eine Ausgleichssprache, die sich im (ost-)oberdeutschen Raum vor allem durch den Einfluß der kaiserlichen Kanzlei herausgebildet hat.»

---

[6] Ср. Dell’Agata 1984, 158: «[*простымъ/простимъ сказанїемъ* или *простымъ/простимъ езыкомъ*] are not generic variants, but have a definite model in the Greek text: **λόγος πεζῇ φράσει**».

Если, кроме того, принять во внимание, что и в Польше выходили протестантские книги вроде катехизиса Яна Секлюциана 1545 г. с титулом «Katechizmu tekst prosty dla prostego ludu» (Целунова 1997-1998, 89) или с предисловием как в Постилле Миколая Рея «oto masz przed oczyma od prostaka prostymi słowy napisane święte słowa Jego» (Klemensiewicz 1985, 226), а также далее, что и первая литовская книга, катехизис лютеранина Мартина Мажвидаса, по сути дела перевод катехизиса Секлюциана, называется «Catechismusa prasty Szadei» (Кёнигсберг, 1547), то это нам служит дополнительным аргументом в пользу нашего тезиса: По-видимому, «prostak»/ «простак» – это «der gemeine Mann», а «język prosty»/ «простая мова» и т.п. – «die gemeine Sprache». «Простой», «prosty» или «der gemeine» текст обозначал так или иначе ориентацию на узус «простых» в смысле «светских» или «неграмотных» людей, т.е. также на язык тех, кто не знал традиционных письменных языков, т.е. латыни или церковнославянского языка, которые считались, в свою очередь, «сакральными» языками для «образованных» людей.

Белорусы и украинцы, начиная с 1517 г., по-видимому, первые среди православных славян начали называть свой язык, воспринимаемый как новый литературный, «простым», а другие следовали им: сначала русские с конца XVII до начала XVIII в. под влиянием украинцев и белорусов (ср. Moser 2000 и приведенную там литературу), потом и сербы и болгары (ср. Dell'Agata 1984, 158–159) под влиянием русских, а также украинцев и белорусов. Но в отличие от украинцев и белорусов, выработка так называемых «простых языков» для них обозначала на самом деле первые шаги на пути от церковнославянского к консолидации новых литературных языков на народной основе[7], между тем как судьба украинской и белорусской ПМ существенно отличается от других славянских «простых языков» тем, что она ни в хронологическом, ни в структурном смысле не образует настоящего связующего звена между церковнославянскими традициями и новыми литературными языками.

С другой стороны, название «простая мова», по-видимому, только по отношению к украинскому и белорусскому языкам употребляется уже давно как термин, обозначающий литературный язык нескольких десятилетий, образовавших целый период в их истории. На этом фоне оно также имеет свои преимущества. Итак, если уже известно, что речь идет об «украинском и белорусском литературном языке среднего периода», то относительно краткое и точное название «простая мова» кажется вполне приемлемым, тем более, что другое название, употреблявшееся самими «простомовными» авторами, в частности «руська мова» или «руський язык», охватывает значительно больше разновидностей украинского и бе-

[7] Отклонения от церковнославянского языка, кстати говоря, допускались в произведениях на «простых языках» по довольно разной мере.

лорусского языков среднего периода[8], в том числе долитературных и нелитературных.

2. История ПМ в собственном смысле слова началась только вместе с проникновением европейской реформации на территории Польши и Литвы. Идеологическая основа этого развития была положена за рубежом[9], когда Франциск Скорина издал в Праге свою «Бивлию Руску», «Богу ко чти и людемъ посполитымъ к доброму научению» (Скарына 1988, 7). На общепонятном, «руськом» языке Скорина, однако, писал только в предисловиях, между тем как сами библейские тексты остались главным образом верными церковнославянским традициям, хотя они иногда содержали глоссы, переводящие самые непонятные церковнославянские слова (Жураўскі 1988). Но полстолетия спустя[10], немедленно после того, как и в Польше окончательно расцвела церковная и светская письменность на польском языке, возникли первые тексты, сознательно написанные на разных вариантах ПМ. Это в основном переводы религиозных книг, которые, независимо от того, были ли переводчики протестантами или нет, составлялись так или иначе в соответствии с программой реформации и на основе польских оригиналов. Все переводы самого Священного Писания, однако, остались в рукописях; других списков или мало или совсем нет[11]. Вышло только Евангелие Василия Тяпинского (ок. 1570 г.), простомовная часть которого является переводом польского Нового Завета Симона Будного (Bolek 1983, 28). Но и оно было издано параллельно на ПМ (на белорусской основе) и на церковнославянском языке, так что простомовный столбец можно было рассматривать лишь как средство для лучшего понимания авторитетного церковнославянского текста. Итак, широко распро-

[8] Попытка Мякишева (Мякишев 2000) ограничить «руськую» от ПМ как два самостоятельных языка не кажется нам удачной: правда, о «руськом языцѣ» / «руськой мове» можно говорить задолго до возникновения простомовной письменности. На таком же «руськом» языке написаны, например, интермедии, которые, однако, простомовными назвать нельзя. С другой стороны, сами простомовные авторы часто называли «простую мову» «простой руськой мовой», «простым руським языком» или только «руським языком». Итак, «простая мова» представляет собой лишь особую разновидность «руськой мовы»/»руського языка».

[9] В 1520 г. Франциск Скорина вернулся в Полоцк, где он также установил печатню и напечатал еще несколько старозаветных книг, широко распространившихся в Польше-Литве.

[10] В том, что вторая половина XVI века означала веху в нормировании языков, согласны специалисты по истории украинского и белорусского литературного языков, ср. Жураўскі 1967, 95 или Курс 1958, 68–138, в котором новый период начинается с середины XVI в.

[11] Полный обзор переводов библейских книг на «простую мову» находится в работе Чепіга 2001, 13–16.

страненных полноправных переводов Библии на ПМ у украинцев и белорусов не было. Сколь бы ни были важны названные произведения для истории языка, все же их роль образца при выработке нового языка осталась ограниченной. Все-таки, раз были сделаны переводы Священного Писания, путь был уже проложен. Украинская и белорусская ПМ удивительно быстро стала полифункциональным литературным языком. На ней писались и на нее переводились, в частности, так называемые «Учительные Евангелия», т.е. гомилии, разные другие проповеди и катехизисы (в которых даже некоторые молитвы могли быть переведены на «простую мову»[12]), агиографическая литература, несколько произведений Отцов церкви и все произведения полемики вокруг церковной Унии, которые не сочинялись на польском языке. Кроме того, на ПМ писались повести, разные произведения силлабической поэзии (так называемые «вирши»), а также первые диалоги, зародыши школьной драмы. В области историографии на «простую мову» были переведены, например, отрывки Хроники Мартина Бельского; на том же языке были также составлены оригинальные летописи. На ПМ были написаны, кстати, и несколько «Толкованїй» в Грамматике Лаврентия Зизания (ср., напр., Грамматики 2000, 33–34).

Существуют, однако, также украинские и белорусские тексты данного периода, которые нельзя называть «простомовными»: Это, например, частные записки вроде рукописных «Исторических записок» Федора Евлашевского, которые были составлены на рубеже XVI–XVII вв. на весьма интересном языке, не совпадающем с ПМ (Свяжынскі 1994а), и прежде всего потому, что польский язык влияет на язык этого текста намного глубже, чем на язык типичных представителей простомовных произведений, в том числе и в области флексий[13]. Еще ближе к украин-

[12] В киевском «Кратком катехизисе», изданном в 1645 году под руководством Петра Могилы в качестве перевода польского оригинала, изданного в том же году, встречается, например, Отче наш на ПМ (Голубев 1898, прил., 432–440); такой же перевод встречается уже и в «Книге о вѣрѣ», изданной в 1620–1621 гг. в Киеве (Тітов 1924, 34; см. также Успенский 1987, 270–271).

[13] У Евлашевского встречаются, например, многочисленные имена прилагательные среднего рода с окончанием именительного падежа единственного числа на *-е* (*велке*, *кгвалтовне*, *заховане*) и родительного и дательного падежа на *-екго*, *-ему* (*велкекго*, *вшехмокганцэкго*, *мадрекго; велкему*, *млодему*). Существительные и прилагательные женского рода в винительном падеже принимают иногда окончания -э (из польского деназализованного *-ę*) / *-ą* (*впадлэм у велка хоробэ*, *зналисмы велка милост*), в творительном падеже даже *-ą* (*за ласка божа*, *лева се ренка бронил*) и т. д. (Свяжынскі 1994а). Другой же известный пример частных записок, «Диариуш» Афанасия Филиповича 1646 г. (Свяжынскі 1994б; Shevelov 1979, 578), сочиненный на украинской основе, но также обнаруживающий белорусские языковые черты, оказывается намного тщательнее об-

ским и белорусским народным диалектам был обычно прежде всего язык так называемых «люстраций», т.е. описаний владений и имущества, если они не были написаны по-польски. То же самое относится к так называемым интермедиям, которые в антрактах школьных драм издевались над украинскими и белорусскими крестьянами и их языком, ср., напр., интермедию поляка Якуба Гаватовича 1619 г., язык которой основывается на волынских диалектах. В частности, памятники такого рода показывают следующее: чем ближе язык определенного памятника стоит к настоящим народным украинским и белорусским диалектам, тем менее оказывается возможным называть его «ПМ». Дело в том, что ПМ на самом деле не была народным языком, но чем-то вроде идеала языка украинской и белорусской шляхты. Как пишет Б.А. Успенский (Успенский 1987, 265), в этой роли ПМ должна была быть, по-видимому, эквивалентом польского литературного языка, который как в Польше, так и в Литве также считался прежде всего языком шляхты[14].

Кстати, что можно сказать об устном употреблении ПМ? Любопытные сведения предоставляют, например, уставы братских школ. Устав Львовской братской школы, например, устанавливал, что нельзя было говорить в школе «простою мовою», но требовал, чтобы ученики спрашивали друг друга по-гречески, чтобы получить ответ по-церковнославянски, а дальше спрашивали по-церковнославянски, «абы имъ отповҍдано по простой мовҍ» (Огієнко 1930, 133). Таким образом, даже в тех школах, в которых самой ПМ не учились и в которых на ней нельзя было общаться, она все-таки играла немаловажную роль, так как она, как правило, служила как окончательное средство понимания того, о чем шла речь. Между тем, в уставе Могилянской братской школы эксплицитно указано, что учителя «языка и письма словеньского, руского, греческого, латиньского и польского […] учити повинны» (Успенский 1987, 267–268), так что надо полагать, что в некоторых братских школах даже учились каким-то образом ПМ. На такую практику указывают, кстати, также слова Смотрицкого в его полемическом произведении «Exęthesis abo Expostulatia»: «Szkoły dla

работанным: в нем встречаются в основном только типические для «простой мовы» полонизмы, а церковнославянизмы выступают прежде всего в цитатах из Библии.

[14] На достоверность этого предположения указывают, кстати говоря, не в последнюю очередь многочисленные эпиграммы под гербами, представляющие собой, как правило, простомовные вирши. Добавим, однако, что «простая мова» как язык руськой шляхты не сосуществовала с польским языком как языком польской шляхты в равновесии. Вернее, польский язык все больше вытеснял «простую мову», не только среди светских, но и среди церковных представителей украинских и белорусских элит, не только среди конвертитов в протестантизм, католицизм или униатство, но и среди борцов за православие.

ćwiczenia dziatek w ięzyku graeckim, łacińskim, słowieńskim, ruskim y polskim są nam sporządzone» (цит. по Frick 1985, 35).

Если же ПМ была тем или иным образом в школьном употреблении, то надо полагать, что она также подлежала определенной регламентации. Учителя братских школ должны были обладать практикой в письменной форме ПМ, в которой они наверное ориентировались уже потому, что должны были читать на ней, например, проповеди. Поэтому у них должен был быть определенный опыт, на основе которого они должны были решать, какие языковые средства допускались в «хорошей» ПМ, а какие нет. Ученики, в свою очередь, наверное, привыкали к нормам ПМ, прислушиваясь к учителям и проповедникам и читая разные простомовные произведения, например катехизисы и образцовые проповеди. Таким образом они, вероятно, отвыкали от некоторых родных, недопускаемых в ПМ языковых черт, за которые они карались замечанием учителя или смехом других учеников, и привыкали писать и говорить на языке, более или менее совпадавшем с тем языком, на котором писались простомовные произведения, – с приблизительно таким же произношением, с каким они читались в их окружении (см. ниже). Таким образом, по всей вероятности, ПМ была, несмотря на ее фактическую искусственность, также и живым языком в собственном смысле этого слова.

Разумеется, что памятников, непосредственно демонстрирующих устное употребление ПМ, нет. Двуязычный простомовно-церковнославянский разговорник под титулом «Розмова – Бесѣда», как недавно показал Г. Кайперт (Keipert 2001), был составлен в середине XVII в. Иваном Ужевичем, автором «Грамматики славенской», в качестве дополнения восьмиязычного издания популярного разговорника Берлемонта из XVI или XVII в. Таким образом, речь идет не только о письменном тексте, отражающем лишь определенный идеал устного употребления ПМ, но и о переводе иноязычного оригинала[15].

Далее, можно поставить вопрос об официальном устном употреблении ПМ. Если речь идет о Церкви, то ПМ, по свидетельствам современников, вне литургии занимала в ней немаловажное место как у униатов, так и у православных, в частности, в проповедях. Эта практика, кстати, вполне отвечала постановлениям римско-католического тридентского собора (1545–1563): «Missa vulgari lingua non celebretur, eius mysteria populo explicentur» (ср. Klemensiewicz 1985, 228; Goldblatt 1991, 23). Кроме того, если имеется в виду, что катехизисы традиционно писались для того, чтобы их выучивали наизусть, то и их язык звучал, несомненно, часто в устном употреблении. Далее, ПМ также звучала в некоторых церковных ритуа-

---

[15] Интересно, что польское издание не служило образцом для простомовного столбца – за это сообщение я благодарю проф. Гельмута Кайперта, под руководством которого в Бонне готовится издание этого текста.

лах: В киевском «Требнике», изданном Петром Могилой в 1646 г., например, в церковнославянском тексте содержится чин свадьбы, составленный на ПМ (Успенский 1987, 271).

Если, наконец, речь идет об официальном устном употреблении ПМ в светской сфере, то можно иметь в виду по крайней мере два текста: речь подканцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги на Варшавском сейме 1588 г., напечатанную в качестве предисловия к Литовскому Статуту 1588 г. (Хрэстаматыя 1961, 210–212), и так называемую речь Ивана Мелешки. Речь Льва Сапеги, однако, представляет собой, по всей вероятности, перевод с польского оригинала, составленный по поводу ее опубликования в Литовском Статуте, так как на Варшавских сеймах обычно говорили только по-польски (Struminsky 1984, 149–150), а так называемая речь Ивана Мелешки на самом деле является анонимным сатирическим произведением 1615–1638 г. и не настоящей речью кастеляна Смоленска Ивана Мелешки (Struminsky 1984). Тем не менее, эти тексты можно рассматривать как примеры того, как мог бы быть построен язык официальных речей на ПМ. Кстати, нам не кажется вероятным, что таких речей вовсе не было, например, на разных сеймиках. Если, наконец, учесть третий текст, речь от имени львовского мещанства, адресованную к польскому королю, так называемый «Лямент албо мова до короля єго милости», то она, судя по ошибкам текста, представляет собой лишь набросок настоящей речи, которая позже должна была быть, возможно, произнесена по-польски (ср. также такие полонизмы как *менъжне*, *цос болшого*, *предсяж*, *понеконд*; Грушевський 1996, 14, Ісаєвич 1966, 103).

Подводя итоги, можно, однако, с уверенностью сказать, что ПМ вполне отвечает одному из самых важных требований, предъявляемых к литературному языку: его полифункциональности.

3. Нередко исследователи подчеркивали «искусственность» ПМ, причем чаще всего имея в виду ее многочисленные польские или церковнославянские по происхождению элементы, не соответствующие их представлениям о «народном» украинском или белорусском языке. Но «искусственность» принципиально является признаком каждого литературного языка. Итак, если речь идет об «искусственности» ПМ, то должны учитываться и другие моменты. В частности, мы имеем в виду ее надрегиональный характер, который был унаследован от традиций древнего делового языка (ср. Stang 1935, Stang 1939) и который в рамках ПМ был усилен. Это, конечно, не значит, что определенных региональных черт в ПМ нет. Но диалектизмы встречаются в ней, как правило, только спорадически, как разбросанные в ПМ находящиеся в ее русле признаки происхождения автора, переписчика или печатника, причем наименьшее число специфических диалектных черт наблюдается в печатных произведениях XVII в., а наибольшее – в начале выработки ПМ в последних деся-

тилетиях XVI в. Кстати, сверхрегиональный характер ПМ обуславливается также кругом адресатов простомовных произведений, которые предназначались для всего «руського» народу Речи Посполитой.

Раз признается сверхрегиональность ПМ, то разумеется также, что она должна была быть в определенной степени нормированной. Какими чертами в частности отличались произведения украинской и белорусской письменности среднего периода, в подробностях описывается монографиями по исторической грамматике украинского и белорусского языков. Эти монографии, однако, обычно не занимаются характерным для ПМ употреблением украинских и белорусских языковых элементов. Попробуем сформулировать некоторые обобщения:

1. Фонология и морфология простомовных произведений, насколько они отражены в орфографии, в основном отвечают правилам, общим для грамматического строя украинского и белорусского языков. Специфические черты, выделяемые как украинские или белорусские или же как употребляемые в узких диалектных ареалах, чаще всего не допускаются. Только некоторые признаки выступают в простомовных рукописях, а также в печатных книгах довольно часто, например:

– произношение неударяемого *'а* как *е* типа *светый,* распространенное во многих диалектах белорусского языка, а также на северо-западе украинского языкового ареала,

– смешение *ѣ* и *е*, характерное для большинства белорусских диалектов и для северо-западных диалектов украинского языка, если *ѣ* не под ударением,

– смешение *и* и *ы* или после шипящих, *ц* и *р*, характерное для белорусских диалектов, в отличие от смешения *и* и *ы* независимо от позиции, характерное для украинских диалектов,

– написание рефлексов *о* < *е* в соответствии с белорусским или же с украинскими правилами,

– написание окончания *-мо*, типичного в основном для украинских диалектов.

Несмотря на это, писцы, а тем более авторы и печатники в своих печатных изданиях обычно стремились к тому, чтобы избегать самых специфических диалектных черт, причем множество региональных фонетических черт не отражалось, как правило, на письме, но все-таки проявлялось, по всей вероятности, когда простомовные тексты читались или произносились вслух. Наверное, белорусы, читая, например, слова типа <*не*> и <*бити*> или <*би*^{т}>, произносили [n'e] и [b'ic'i] (или даже [b'ic'], между тем как украинцы произносили [ne] и [byty]. Далее, большинство украинцев произносило *ѣ* как [i] или [i^{e}], в отличие от белорусов, которые не отличали его от *е*. Весьма вероятно также, что белорусы часто акали, между тем как украинцы произносили рефлексы *о* и *е* в новых закрытых слогах именно так, как это было принято в их родных диалектах (ср. прив.

http://www.bibliorossica.com

ниже цитату из Назаревского 1911, 47). Кстати, на такую практику применения народной фонетики к ненародным текстам указывают не в последнюю очередь фрагменты записей украинского и белорусского церковного произношения латинским письмом (ср. Огієнко 1930, 232–234). Таким образом, фонетика и фонология ПМ была, по всей вероятности, намного более локальной, чем это видно по письменным памятникам. Все-таки бесспорно, что уже «руський» деловой язык, а тем более ПМ обнаруживали далекоидущие моменты языкового выравнивания.

Польские и церковнославянские элементы выступали в ПМ почти исключительно в лексических заимствованиях и в синтаксисе. На других уровнях польские элементы встречаются чаще всего как результат нетщательной обработки польских образцов. Весьма вероятно, однако, что польская фонетика в языковой действительности также выступала иногда в результате интерференции, когда говорящий в конкретной ситуации думал скорее по-польски, чем по-«руськи». Относительным доказательством этого могут служить такие рукописные тексты как, например, «Троянская история» середины XVI в. или «Дневник» Федора Евлашевского рубежа XVI/XVII вв., которые обнаруживают множество фонетических и морфологических интерференций с польским языком, не появляющихся, как правило, в прототипических простомовных текстах.

Церковнославянские же элементы помимо лексики выступали в простомовных произведениях как результат попытки придания данному тексту особого сакрального достоинства. Иногда встречаются также, например, церковнославянские окончания прилагательных вроде *-аго* (род. под. м. р. ед. ч.) или *-ыя* (им. пад. ж. р. м. ч.), хотя они чаще всего заменяются народными окончаниями *-ого* и *-ыѣ* (> *-ые*, *-ыи*). Отчасти они также показывают, что данные категории уже не были живыми в народных языках, что касается, например, активных причастий настоящего времени, которые иногда выступали с церковнославянским формантом *-щ-* вместо *-ч-* (*знающій* вместо *знаючій*). Так как сама фонетика церковнославянского языка украинской и белорусской редакций более или менее совпадала с народным украинским или белорусским языком, на уровне фонетики о церковнославянских интерференциях не может быть речи. Неосознанные церковнославянские интерференции помимо лексики в общем кажутся крайне маловероятными.

2. Синтаксический строй простомовных текстов был, как правило, весьма сложным и выработанным[16] часто в зависимости от польских оригиналов. Строй периодов, естественно, являлся также одним из полей стилистической дифференциации и зависел от жанра данного текста. Просто-

[16] См. также Успенский 1987, 261: «О книжном (литературном) характере "простой мовы" свидетельствует ее сложных синтаксис, явно искусственный и противопоставленный синтаксису разговорной речи».

мовные тексты обычно построены на довольно сложных конструкциях. Деепричастные обороты нередко осложняют синтаксис простых, сложносочиненных и многочисленных сложноподчиненных предложений. Причастные обороты часто выступают в сложных определениях имен существительных. Таким образом, синтаксис простомовных текстов существенно отличался от обыкновенного «народного» синтаксиса.

3. Лексика ПМ была крайне проницаема для польских, но также и для церковнославянских элементов. Как правило, простомовные авторы не только ориентировались на польские оригиналы, но также опирались на образец самого польского языка, нередко даже независимо от того, находился ли перед их глазами конкретный польский подлинник или нет. На основе широко распространенного двуязычия польская лексика была настолько усвоена представителями украинских и белорусских элит, что некоторые простомовные тексты отличаются от реально существовавших подлинников или от потенциальных польских «подлинников», существовавших лишь в головах авторов, фактически только на уровне фонологии и морфологии. Характерно, что, как утверждает Назаревский (Назаревский 1911, 24) по поводу сравнения языка Евангелия Негалевского с языком его польского оригинала, Евангелия Чеховица: «[…] внимательнѣе присмотрѣвшись, мы и у Негалевскаго найдемъ извѣстную долю самостоятельности; окажется, что онъ не только переписывалъ польскій текстъ русскими буквами, но – кое-что опускалъ вовсе, мѣстами дѣлалъ выборъ изъ параллельныхъ чтеній, а нѣкоторыя слова и выраженія замѣнялъ другими, переводилъ». То же самое оказывается верным по отношению ко множеству других простомовных текстов: «самостоятельность» перевода сводится, как правило, к настоящему переводу лишь маленького набора слов. Большинство простомовных текстов относится к своим оригиналам так же, как это наверное случалось, когда священники делали то, о чем писал архимандрит Киево-Печерской Лавры Василий Ясинский в своем послании к патриарху Иоакиму: «Еще бо блаженныя памяти […] митрополитъ Кіевскій Петръ Могила увидѣ, яко мнози здѣ отъ священниковъ, на праздники святых Божіхъ не имуще откуду прочести въ церкви предъ народомъ жития коего отъ святыхъ пространнѣ неже въ прологахъ написано, обыкоша то отъ книгъ полскихъ, церкви православной не прислушающихъ и много оной противящихся, читати, прелагающе словесно на русскую рѣчь, не безъ многаго прегрешения» (цит. по: Martel 1938, 113). Кстати, вполне вероятно, что такая практика непосредственного перевода польского текста (в конкретном случае издания «Żywoty świętych» Петра Скарги) на «простую мову» скрывается также за знаменитым анекдотом Касияна Саковича о некоем попе из окрестностей Львова, который читал из «Постиллы» кальвиниста Миколая Рея и ввел свою проповедь словами: «Posłuchayte Chrestiane Kazania światoho Reia» (Frick 1994, 212; 233). И этот поп, наверное, перевел польский

текст, снабдив оригинал украинской фонетикой и морфологией. Если у него была уже определенная практика такого рода, он мог это делать, вероятно, даже без письменной записи «руського» текста, но, наверное, не «безъ многаго прегрешения» не только в религиозном, но и в языковом отношении. В этой связи совершенно справедливо спрашивает Д.А. Фрик: «If our poor priest 'thought in Cyrillic' as he read from, and adapted for his Orthodox audience, the Polish-language sermons of Mikołaj Rej, in what manner did his oral performance differ from the written performances of Smotryc'kyj, Mohyla, Sakovyč, and others, who translated, adapted, and based themselves upon Polish texts and models when they composed in Ruthenian?» (Frick 1994, 221).

По-видимому, для украинских и белорусских авторов как устных, так и письменных текстов употребление лексических полонизмов обычно не было связано с большими ограничениями[17]. Тем более, если в их распоряжении имелись польские оригиналы, то частотность полонизмов, как правило, была особенно высока[18]. Впрочем, украинцы и белорусы сами осознавали, что их язык был насыщен полонизмами. Автор анонимной «Перестороги» 1615–1616 писал: «Як Поляцы у свой языкъ намѣшали словъ Латинскихъ, которыхъ южъ и простые люди зъ налогу уживаютъ; такъ же и Русь у свой языкъ намѣшали словъ Польскихъ и оныхъ уживаютъ» (цит. по: Martel 1938, 93).

Кроме польских элементов, особенно в лексике присутствовала также и церковнославянская стихия. Правда, церковнославянская лексика оставалась прежде всего в сфере религии и духовной культуры, наверное в первую очередь потому, что эти понятия были или связаны с православными – в отличие от католических – традициями, или же потому, что авторы хотели стилизировать свой язык церковными элементами для того, чтобы придать своему языку оттенок особого достоинства. Такой узус можно наблюдать, например, в переписке духовных лиц (ср., напр., Голубев 1898, приложения, 28–46). Почти все простомовные авторы происходили из высших слоев православного или униатского духовенства, так что они чаще всего достаточно хорошо знали литургический язык. Нередко церковнославянские элементы употреблялись также на основе церковнославянских оригиналов[19].

---

[17] Это, впрочем, относится уже к «руському» деловому языку, хотя еще в меньшей мере, ср. Карский 1904, 140.

[18] Множество параллельных мест на польском языке и на ПМ можно найти в монографии Martel 1938.

[19] Трудно, кстати, согласиться с утверждением Б.А. Успенского (Успенский 1987, 262), что ПМ существует в двух вариантах, причем «украинский вариант простой мовы более славянизирован, белорусский в большей степени полонизирован». Достаточно указать на сильно полонизированный киевский катехизис Петра Могилы 1645 г. (Голубев 1898,

Впрочем, наличие неукраинской и небелорусской по происхождению лексики в ПМ обуславливается не в последнюю очередь и тем, что для большинства абстрактных понятий из сферы религии и духовной культуры просто не существовало «народных» украинских или белорусских слов, так как об этих предметах столетиями писалось исключительно по-церковнославянски. Поэтому простомовные авторы или употребляли традиционные церковнославянские слова или же принимали те польские слова, которые были в обиходе у белорусских и украинских светских и духовных элит. Выдумывание новых слов на «чисто руськой основе» не предусматривалось деятелями культуры этой эпохи. Пуризм романтизма был им еще совершенно чужд.

Кстати, еще одним признаком литературного языка, связанным с его нормированностью вообще, считается стилистическая дифференциация его средств выражения. По отношению к ней можно с уверенностью сказать, что авторы простомовных текстов, как правило, хорошо знали канон риторических тропов, что не удивительно, если имеется в виду, что большинство из них проходило в иезуитских или в братских школах по крайней мере trivium. Таким образом, простомовные авторы должны были также быть в состоянии пользоваться стилистическим потенциалом своего языка. Кроме того, не подлежит сомнению, что простомовные авторы явно различали свой язык по жанрам. Наконец, как средство стилизации, по-видимому, использовалась также разнородность ПМ. Церковнославянские вкрапления, например, придавали тексту оттенок возвышенного стиля. Естественно, что конкретный стилистический спектр данного текста зависел от способностей его автора.

4. Настоящая кодификация ПМ не имела места. Правда, как таковая рассматривается иногда «Грамматика славенская» 1643 г., составленная студентом парижской Сорбонны Иваном Ужевичем. Но эта написанная по-латыни грамматика существует лишь в двух рукописных списках, хранящихся за рубежом, в Париже и в Амстердаме (Ужевич 1970). Таким образом, она не могла обеспечивать настоящей кодификации ПМ. Кроме того, как шаг к кодификации ПМ иногда рассматривают переводы нескольких парадигм на «простую мову» в церковнославянской грамматике Мелетия Смотрицкого (Успенский 1987, 268). Но и это сомнительно, так как простомовные столбцы приводятся там лишь в качестве перевода собственно кодифицированных церковнославянских столбцов. Таким образом, нормированность ПМ основывается не на кодификации, но на узусе. Это, впрочем, в принципе не отличало украинцев и белорусов от поляков: ранние грамматики польского языка, начиная со знаменитой первой грам-

---

приложения, 358–469), в котором церковнославянские элементы играют весьма незначительную роль.

матики польского языка, опубликованной в 1568 г. французом Пьером де Тионвиль, т.е. Петром Статориус-Стоенским, «Polonicae grammatices institutio», также не были составлены поляками для поляков. Они были написаны иностранцами для иностранцев, желавших учиться польскому языку. Простомовные авторы ориентировались на свое знание «руського», польского и церковнославянского языков. Таким образом, в результате некоторая степень нормированности ПМ признается почти всеми исследователями.

5. Нередко авторы простомовных текстов приводили причины для употребления этого языка в своих предисловиях. Все их высказывания сводятся к тому, что авторы выбрали «руський» или «простый язык» «для лепшого выразуменія люду христіанского посполитого», как это сказано в Пересопницком Евангелии, т. е. для того, чтобы «простой народ», т.е. люди, не знавшие церковнославянского языка, могли понять эти тексты. И Мелетий Смотрицкий издал в 1616 г. свое Учительное Евангелие не на «зацнѣйшом, пенкнѣйшом, звязнѣйшом суптелнѣйшом и достаточнѣйшом языку Словенском», но в «подлѣйшом и простѣйшом языку» по той единственной причине, что он – в отличие от церковнославянского – был общепонятен. Но тот же самый Смотрицкий издал в 1610 г. в Вильнюсе «Threnos To iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostolskiey Wschodniey Cerkwie» на польском языке с тем же самым аргументом «dla snadnieyszego wszech ludzi poięcia». Причем, однако, Смотрицкий выдумал, что это был польский перевод церковнославянского перевода греческого оригинала, чтобы придать своему произведению более высокое достоинство. По его мнению, церковнославянский язык отличался тем же самым достоинством, что и греческий и латинский языки, между тем как польский язык и «руськая» ПМ стояли на одинаковой ступени более низкого достоинства. На них писалось лишь для того, чтобы было понятно всем.

Но что именно препятствовало простомовным авторам с самого начала издать свои произведения только по-польски? Возможный ответ содержится в знаменитой петиции киевского сеймика к польскому королю Стефану Баторию 1571 г.:

Особливе теж єго кр. м. н˜шго м˜стивого п˜на просимъ, – абы листы сеймовыє, универсалы, констытуцѣи и кождая справа подле обетницы и привилю [!] єго кролевскоє милости, при скончeню унеи выданого, не иншими литерами и словы, одно рускими литерами и єзыком до земли києвскоє писаны и выдаваны были, кгдыж з млодости =нашого писма отцове наши учити нас не давали, одно своєго прирожоного руского, і школы теж полскоє в Києве немашъ, а кгды приносят листы єго кр. милости, писаныє полскими литерами з мешанємъ латинских слов, вырозумети не можем […] (Огієнко 1995, 101).

Украинские и белорусские шляхтичи рассматривали употребление «руського» языка как свое традиционное право. Но их эксплицитный протест в 1571 г. коснулся лишь польского алфавита и типичных для польского делового языка того времени латинизмов. Между тем, о самом польском языке не было речи, по-видимому потому, что шляхтичи и так понимали по-польски без особых трудностей. Если шляхтичи учились грамоте, то обычно только кириллическому письму, так как только его знание требовалось от них издавна, если они хотели быть в состоянии читать деловые бумаги. По той же самой причине арианин Негалевский пишет на ПМ: русины, не умеющие читать латинские буквы, должны были быть в состоянии читать Священное Писание и понимать его. В языковом же отношении его текст, кроме его «руськой» грамматики, отличается от польского оригинала преимущественно кириллическим письмом. Итак, самый важный шаг в направлении лучшей понятности данного польского текста состоял в его транслитерации. Поэтому и Василий Тяпинский, выступив против полонизации русинов, спокойно основывает свой простомовный столбец на польском оригинале, в основном лишь транслитерируя его на кириллическое письмо, так что совершенно справедливо утверждает Д.А. Фрик: «Without the graphic transferal from Latin to Cyrillic scripts it is difficult to imagine that there would have been any printed works in the early seventeenth century that advertised themselves as 'translated from Polish into Ruthenian'» (Frick 1994, 21).

Поэтому и А. Мартель (Martel 1938, 54–61) начал свою классическую монографию, посвященную полонизации русинов, с наблюдения, что, начиная с конца XVI в., под их грамотами появлялось все больше подписей на латинском письме. Если вспомнить слова протеста киевского сеймика из 1571 г., то в нем отнюдь не было сказано, что польскоязычные грамоты, даже с их латинскими элементами, мешали шляхтичам как таковые. Напротив, даже было выражено сожаление, что не было школ, в которых шляхтичи могли бы усваивать польское письмо. Таким образом, в конечном итоге представители киевского сеймика настаивали на своих правах на основании того, что они признавались в своем неумении, которого они, однако, в принципе хотели лишиться. На этом фоне польское письмо, как и сам польский язык с течением времени приобретали в их глазах все больший престиж. Итак, в начале XVII в. почти все представители шляхты уже подписывали грамоты по-польски, и около двадцати лет спустя высшее духовенство, и православное, и униатское, следовало им. Одновременно польский язык все более вытеснял «руський» язык из делового употребления. 1696 г. пережили лишь традиционные «руськие» формулы, между тем как сами тексты уже в большинстве случаев писались по-польски (Martel 1938, 61–65).

Таким образом, после того, как элита русинов отказалась от кириллической азбуки, идеологическая основа для выработки ПМ уже исчезла,

поскольку прототипический текст на ПМ представлял собой переделку польского оригинала, отличающуюся от него в первую очередь кириллическим письмом и «руськими» флексиями. И поэтому ПМ была, по-видимому, обречена на вымирание. К концу XVII в., в Польше-Литве как отличительный признак русинов уже рассматривалась лишь православная или униатская конфессия и связанный с ней церковнославянский язык как язык церковных книг и святой литургии. Шляхта, а также мещанство, однако, уже перешли на употребление польского языка и польского письма. В таких условиях на литовском, белорусском и украинском субстрате образовывалась особая разновидность польского языка, так называемая «Polszczyzna kresowa» (см. Moser 2002 и приведенную там литературу). Таким образом, бывших адресатов простомовных произведений уже не было, так что и полемика православных с католиками и униатами велась, начиная с 20-х гг. XVII ст. уже исключительно по-польски. Кроме проповедей и катехизисов, важных печатных произведений на ПМ уже с половины XVII в. осталось довольно мало. И если в XVIII – нач. XIX вв. ПМ сохранялась лишь в униатских монастырях (Успенский 1987, 263), то это были уже отчаянные попытки василиян противодействовать дальнейшей полонизации крестьян, тем более их перекрещиванию в римский католицизм[20]. На ПМ печатались уже почти исключительно немногочисленные катехизисы и проповеди, на ПМ еще печатались и пелись духовные песни. ПМ сейчас уже была ориентирована лишь на настоящее «простонародье», на крестьян, так что и сегодня в западной Белоруссии и в Литве люди говорят о белорусском языке как о ПМ. Простомовные произведения XVIII в. – нач. XIX в. из печатней Супрасля и Почаева принадлежали униатским священникам, которые, в свою очередь, уже нередко транслитерировали их на польское письмо. Правда, в Галиции и отчасти в Прикарпатьи до первой половины XIX в. не забывались совсем традиции простомовных катехизисов и проповедей. Все-таки и там развитие нового литературного языка пошло в конце концов другим, народным путем.

Такова была, вкратце, судьба ПМ в Польше-Литве. В тех же частях Польши-Литвы, которые были присоединены к России после 1667 г. и позже после разделов Польши, ПМ была, начиная с первого запрета печатания простомовных книг, изданного Петром Великим в 1720 г., довольно

---

[20] Но, вопреки Б.А. Успенскому (Успенский 1987, 263), так называемое «язычие», употребляемое в Галиции в XIX в., вряд ли можно рассматривать как непосредственное продолжение ПМ: в нем весьма важную роль играют, как правило, великорусские элементы, которых в ПМ еще совсем нет. Далее, церковнославянская стихия оказывается там намного более важной, чем в простомовных текстах. Впрочем, «язычие» воспринималось в Галиции прежде всего как консервативная альтернатива новому литературному языку на народной основе, между тем, как ПМ рассматривалась как новаторство по отношению к церковнославянскому языку.

быстро вытеснена русским литературным языком нового типа, который рассматривался его сторонниками как общерусский, между тем как ПМ, также как украинский и белорусский языки вообще, рассматривалась как испорченный польским языком вариант этого мнимого общерусского языка. Новый же украинский и белорусский языки были образованы без сознательной опоры на простомовные традиции на основе осознания того, что настоящие народные языки украинцев и белорусов не могут рассматриваться как диалекты «общерусского» языка, но представляют собой, несомненно, самостоятельные языки.

Литература

Беларуская мова 1994 – Беларуская мова. Энцыклапедыя / рэд. А.Я. Міхневіч. Мінск, 1994.

Гардзанити – Гардзанити М. *Учительское евангелие* Мелетия Смотрицкого в контексте церковно-славянской гомилетики и проблема перевода евангельских чтений // Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia Ucraina e Russia XVI–XVIII secolo, a cura di G. Brogi Bercoff – M. Di Slavo – L. Marinelli / red. M. Piacentini. Alessandria, 1999.

Голубев 1898 – Голубев С.Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники (Опыт церковноисторического исследования) т. II. Киев, 1898.

Грамматики 2000 – Грамматики Л. Зизания и М. Смотрицкого / сост. Е.А. Кузьминова. Москва, 2000.

Грицкевіч 1988 – Грыцкевіч А.П. Белая Русь // Скарына 1988.

Грушевський 1996 – Грушевський М. Історія української літератури, в 6 томах, т. IV: Літературний і культурно-національний рух першої половини XVII в., кн. 1. Київ, 1996.

Жураўскі 1967 – Жураўскі А.І. Гісторыя беларускай літаратурный мовы, т. V. Мінск, 1967.

Жураўскі 1988 – Жураўскі А.І. Глоса // Скарына 1988.

Иванова 1967 – Иванова А. Троянски Дамаскин. София, 1967.

Ісаєвич 1966 – Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI–XVIII ст. Київ, 1966.

Карский 1904 – Карский Е.Ф. Белоруссы. Введение к изучению языка и народной словесности, кн. 1. Вильна, 1904.

Курс 1958 – Курс історії української литературної мови, т. 1: Дожовтнєвий період / ред. И.К. Білодід. Київ, 1958.

Мозер 2002 – Мозер М. Что такое „прóстая мова“? // Studia Slavica Hungarica 47, 2002, 3–4.

Назаревский 1911 – Назаревский А.А. Новый Завет В. Негалевского в ряду других переводов XVI-го века, его отношение к польскому переводу М. Чевовича и характер перевода // Университетскія Извѣстія (Киев), 1911, кн. 8; кн. 11; кн. 12.

Огієнко 1930 – Огієнко V. Українська літературна мова XVI-го ст. і українськкий Крехівський Апостол, т. 1–2. Варшава, 1930.

Огієнко 1995 – Огієнко V. Історія української літературної мови. Київ, 1995 (впервые напечатано: Winnipeg 1949).

Петканова-Тотева 1965 – Петканова-Тотева Д. Дамаскините в българската литература. София, 1965.

Сабаленка 1988 – Сабаленка Э.Р. Беларусы // Скарына 1988.

Свяжынскі 1994а – Свяжынскі У.М. «Гістарычныя запіскі» Ф.М. Еўлашоўскага // Беларуская мова 1994.

Свяжынскі 1994б – Свяжынскі У.М. «Дыярыуш» А. Філіповіча // Беларуская мова 1994.

Скарына 1988 – Францыск Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік / гал. рэд. V.П. Шамякін. Мінск, 1988.

Срезневский 1893–1903 – Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка, 3 тт. Санкт-Петербург, 1893–1903.

Тітов 1924 – Тітов Х. Матеріяли для книжної справи на Україні в XVI–XVII вв. Всезбірка передмов до українських стародруків. Київ, 1924.

Ужевич 1970 – Граматика слов'янська И. Ужевича / підг. до друку V.К. Білодід – Є.М. Кудрицький. Київ, 1970.

Українська мова 2000 – Українська мова. Енциклопедія / гол. ред. О.С. Мельничук. Київ, 2000.

Успенский 1987 – Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München, 1987 (Sagners Slavistische Sammlung, Bd. 12).

Хрэстаматыя 1961 – Хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы, ч. 1 / рэд. Р.V. Аванесаў. Мінск, 1961.

Цейтлин, Вечерка, Благова 1994 – Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.) / ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерка, Э. Благова. Москва, 1994.

Целунова 1997–1998 – Целунова Е.А. Культурная и языковая ситуация Великого Княжества Литовского // AION Slavistica (Annali dell'Istituto universitario Orientale di Napoli: Dipartimento di studi dell'Europa orientale. Sezione Slavistica), 5, 1997–1998.

Чепіга 2001 – Чепіга V.П. Пересопницьке Євангеліє – унікальна пам'ятка української мови // Пересопницьке Євангеліє 1556–1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик. Київ, 2001.

Atlas 1985 – dtv-Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte. Mit Mundart-Karten, 6. Auflage. München, 1985.

Bolek 1983 – Bolek A. Rozwój poglądów na tak zwaną «mowę prostą» w XVI i XVII wieku // Zeszyty naukowe Uniw. Jag. DCXXXIII, Prace językoznawcze, zesz. 74. Kraków, 1983.

Dell'Agata 1984 – Dell'Agata G. The Bulgarian Language Question from the Sixteenth to the Nineteenth Century // H. Goldblatt, R. Picchio (Hrsg.) Aspects of the Slavic Language Question, Vol. I: Church Slvonic – South Slavic – West Slavic. New Haven, 1984.

Eggers 1969 – Eggers H. Deutsche Sprachgeschichte III: Das Frühneuhochdeutsche. München, 1969 (rowohlts deutsche enzyklopädie 270/271).

Frick 1985 – Frick D.A. Meletij Smotryc'kyj and the Ruthenian Language Question // Harvard Ukrainian Studies, 9, 1985.

Frick 1994 – Frick D.A. «Foolish Rus'»: On Polish Civilization, Ruthenian Self-Hatred, and Kasijan Sakovyč // Harvard Ukrainian Studies, 18, 1994/3–4.

Goldblatt 1991 – Goldblatt H. On the Language Beliefs of Ivan Vyšens'kyj and the Counter-Reformation // Harvard Ukrainian Studies, 15, 1991.

Keipert 2001 – Keipert H. «Розмова/Бесѣда»: Das Gesprächsbuch Slav № 7 der Bibliothèque nationale de France // Zeitschrift für Slavische Philologie, 60, 2001/1.

Klemensiewicz 1985 – Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego, t. II. Warszawa, 1985.

Martel 1938 – Martel A. La langue polonaise dans les pays ruthènes, Ukraine et Russie Blanche. Lille, 1938.

Miakiszew 2000 – Miakiszew W. Мовы Великого княжества Литовского в единстве своих противоположностей // Studia Russica. 18. Budapest, 2000.

Moser 2000 – Moser M. «Prostoj jazyk» und «prostorečie» in Rußland – Versuch einer Begriffsgeschichte // Zeitschrift für slavische Philologie, 59, 2000/2.

Moser 2002 – Moser M. Zur Polszczyzna kresowa in Weißrussland und der Ukraine und ihrer sprachlichen Charakteristik // Welt der Slaven, XLVII, 2002/1.

Shevelov 1979 – Shevelov G.Y. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979 (= Historical Phonology of the Slavonic Languages, ed.: G.Y. Shevelov, vol. IV).

Stang 1935 – Stang C. Die westrussische Kanzleisprache des Großfürstentums Litauen. Oslo, 1935.

Stang 1939 – Stang C. Die altrussische Urkundensprache der Stadt Polozk. Oslo, 1939.

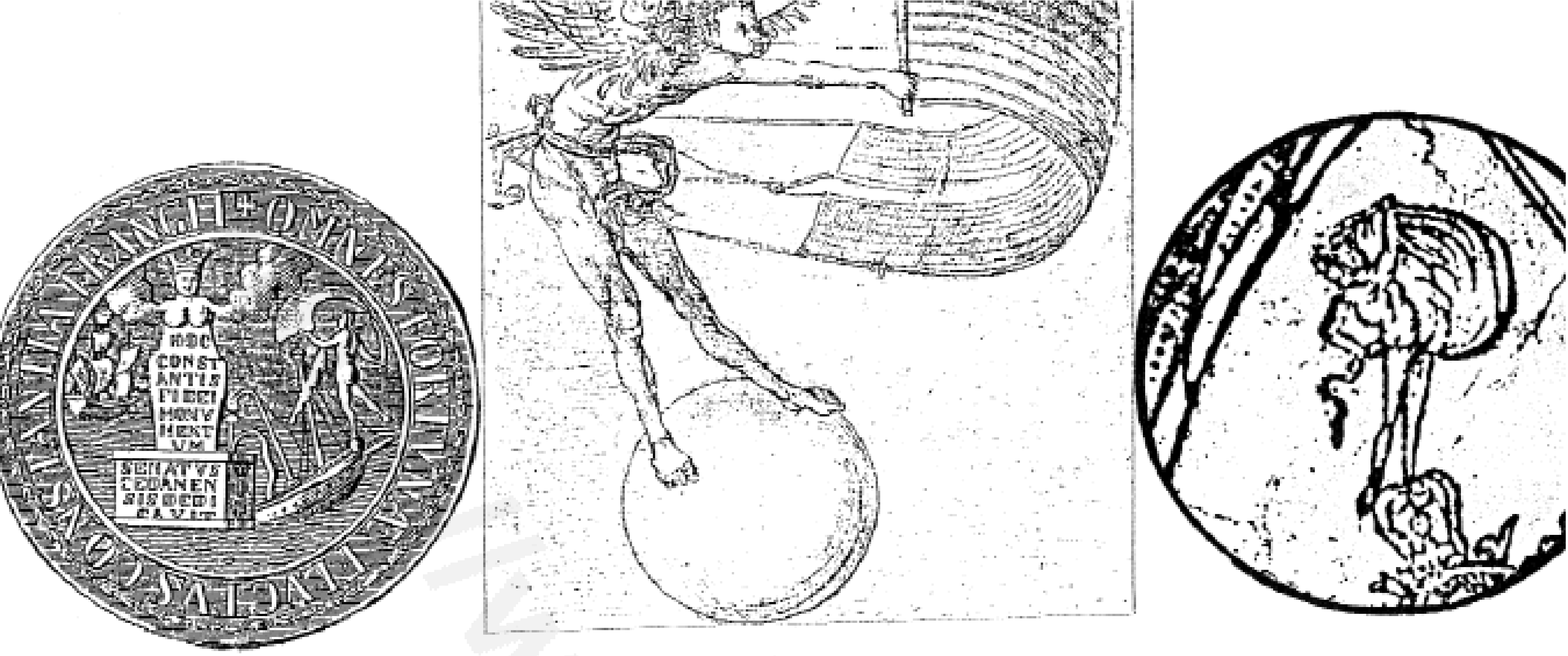
Struminsky 1984 – Struminsky B.A., Pseudo-Meleško. A Ukrainian Apocryphal Parliamentary Speech of 1615–1618. Harvard, 1984.

Witkowski 1969 – Witkowski W. Język utworów Joannicjusza Galatowskiego na tle języka ukraińskiego XVII wieku. // Zeszyty Naukowe Uniw. Jag. CCXI, Prace językoznawcze, zesz. 25. Kraków, 1969.

л. 1. Портрет Сигизмунда III — об. тит. листа экз. ЛС Университетской б-ки, У
Ивеция), инв. № 781 и Национальной б-ки, Варшава (Польша), шифр XVI. F. 561.

Д ...ский Мазовецкий и далматский. того бою щастием назначоны корол шведский к...

вандальский. и великое княже лифляндское ... ѿ нинѣ Хв.



...л. 4. Изображения Фортуны в XVI веке: реверс памятной медали, отбитой в знак верн... ...ителей Гданьска Сигизмунду III (ок. 1630); Fortuna Amoris, рисунок Петера Фи... ...ч. XVI в.); Литовский Статут (1588).

СТАТУТЪ ВЕЛИКОГО КНЯЗТВА ЛИТОВСКОГ

Отъ наяснейшого г(осподар)я короля его милости Жикгимонта третего на коронацыи въ Кракове выданы року ҂АФПИ.

Въ друкарни дому Мамоничовъ.

Замки и привилья короля его милости.

СТАТУТЪ ВЕЛИКОГО КНЯЗТВА ЛИТОВСКОГ

Отъ наяснейшого г(осподар)я короля его милости Жикгимонта третего на коронацыи въ Кракове выданы року ҂АФПИ.

Замки и з привильемъ короля его м(и)л(ост)и.

www.bibliorossica.com

Книги 2 паралип. глава 19. Смотрите што маете чинити. Бо не справуете суду чловечого але суду Божого. А што колвекъ судите все на васъ выпадетъ. Нехай будетъ в васъ страхъ Господенъ з вами. А справуйте все щирѣ. Нестъ бо предъ паномъ Богомъ нашимъ неправости. Ани врагованья особъ. Ани пожаданья даровъ.

Мудрос. Саломон. глава 1. Милуйте справедливость которые судите землю.

Псалом 10. Хто любитъ неправду тотъ ненавидитъ души своее.

[illegible]

сегды в отчизне своей безпечне мешкаючи не боится абы его хто
на доброй славе его змазати, албо на теле, и на здоровью его укра
зити, албо теж на власной маетности его укривдити могъ,
тогды то ничому иншому, одно праву прычитати маетъ
з несторонымъ над кождого впосполсю сидитъ, а жадного уйстива
не зелживленья, и обкривдженья нас обе не поносить, бо тотъ цель
животовъ у нихъ правъ естъ, и маетъ быти на свете, абы кож
дый добрую славу свою, здоровье и маетность в целости мелъ, и
жадного то вже жадного ушкодженя не терпелъ, и тая то есть
наша вольность, которою мы межы иншими народы хрести
янскими хвалимъ, же пана надъ собою не маемъ, жадного славы
учстивое, такъ живота, и маетности вольно ужываетъ, бо хто
бы колвекъ з тыхъ троехъ речей в чомъ насъ укривдити, и подлугъ
уподобанья своего надъ нами паствитиме мелъ, тотъ бы уже
паномъ нашимъ былъ, а мы быхмо невольниками его были
слушне за правду маемъ, за што пану Богу дяковати, же подъ па
нованьемъ Королей ихъ милости, и великихъ князей, и пановъ наши
тую владзу и вольность в рукахъ своихъ маемъ, а права сами собе
творачи яко наиболшей можемъ вольности своее во всемъ постерегати. Бо
не только все застоны нашу ушыбати вочы негалениат жадны па нашу
жадное зверхности над нами заживляти не може, одно тое которого
ему право доступуе, а просто маючи тасовыи справедливе в рукахъ наших
которы жадною мовою переплачоны быти не може, при котором домъ
постановомъ человеку дати учне веда, а бо будучи добре ведомы, абы
яко самъ себе и потребности свои тамовалъ, и водлугъ права пи
саного справовалъ се, а никого не укривдилъ, а такъ если бы которого
былъ укривдилъ онъ, абы ведалъ где и обороны и маестатства в скры
де свое искати маетъ, бо яко одинъ и сенаторъ рымъский, и друг
гого штродовалъ, же права отчизны своее не умелъ, и такъ ко

Неизвестные страницы мамоничевской первопечати в Литовском Статуте 1588 года

В. Мякишев (Краков)

«Zdziwi się nie jeden, a uśmiechnie się każdy, ... że jeszcze ... niepotrzebnie silimy się nad opisaniem rozlicznych dzieła rzeczonego druków» (Daniłowicz 1823, 261), – эти слова, относящиеся к мамоничевскому Литовскому Статуту (далее – ЛС), написаны И.Н. Даниловичем в 1823 году, в то время вся библиография кодекса ограничивалась юридическим сочинением Т. Чацкого (Czacki 1800-1801) да филологическим С. Линде (Linde 1816). О чем же можно говорить сегодня, когда литература вопроса насчитывает многие десятки позиций, а для некоторых именитых ученых статутовая проблематика вообще стала главной в исследовательской деятельности[1]? Что можно добавить к описанию печатных сводов права писаного, если учтен, казалось бы, каждый их сохранившийся экземпляр? Очевидно, немногое; но, как утверждал тот же И.Н. Данилович, даже «drobne sprostowania, a zatem wzbogacenia» работы предшественников «dla miłośnika pomników litewskich obojętnym bydż nie może, a grzeszyłby każdy, który drobiazgowych nawet w tey mierze wyśledzonych spostrzeżeń zaraz upowszechnić zaniechał» (Daniłowicz 1823, 262).

Взяв в руководство наставления славного историка права, попробую и я поделиться своими наблюдениями, ставшими результатом знакомства с пятьюдесятью пятью экземплярами (это почти все к настоящему времени известные[2]) самой важной из «книг, увидевших тогда свет в Великом

[1] Назовем здесь хотя бы того же И.Н. Даниловича, Ф.И. Леонтовича, И.И. Лаппо, Ю. Бардах.

[2] По моим подсчетам, доныне сохранилось 59 «руских» Статутов мамоничевской печати: 22 из них находится в библиотеках, музеях и архивах России, 14 – Украины, 13 – Польши, 7 – Литвы, по 1 – Латвии, Чехии и Швеции. Есть надежда, что представленная статистика может немного измениться в лучшую сторону – если удастся найти несколько упоминавшихся в научной литературе, но считающихся утраченными экземпляров.

княжестве Литовском» (Лабынцев 1988, 80). Скромные находки – три неизвестные страницы мамоничевской первопечати – на самом деле будут продемонстрированы, потому заглавие статьи следует трактовать не только фигурально.

С учетом нынешней постановки библиографического дела, доступности как самих старых изданий, так и информации о них простой просмотр упоминаемых в справочной литературе экземпляров кодекса не сулил никаких неожиданностей. Шанс на обнаружение чего-то нового давал целенаправленный поиск книги, которая на протяжении последних 180 лет считалась безвозвратно утерянной – Статута из библиотеки графа Суходольского. Судьбе надо было так распорядиться, что в начале XIX века именно этот впоследствии окруженный ореолом таинственности экземпляр «gorliwy i niezmordowany w śledzeniu dawnych zabytków ... JPan Bentkowski Professor i Bibliotekarz Liceum, Redaktor Pamiętnika[3] ... odkrył w naszych stronach, pragnął dokładny iego opis w piśmie swoiem peryodycznem umieścić» (Linde 1816, 1) и в этой связи обратился к С. Линде. Знаменитый лексикограф взялся за работу, не зная, что описываемый экземпляр на фоне всех других когда- и кем-либо упоминаемых является уникальным, отличается неповторимыми особенностями оформления. Эта книга с трудом «впишется» в установленную позже схему изданий и на протяжении почти двух столетий будет «путать карты» библиографам[4]. Единственным исследователем, которому «zdarzyło się oglądać» экземпляр Суходольского (далее – ЭС) после С. Линде, был И.Н. Данилович. От опытного глаза профессора не укрылась неординарность[5] книги, оцененной им в шесть золотых дукатов – в полтора раза дороже кодексов «обычных». Ученый не сомневался, что «exemplarz ten jest niezawodnie pierwszym drukiem Statutu, jak z liter gładkich ostro zakończonych i lepszego papieru można się przekonać, który jest szmaciany gładzony» (Daniłowicz 1823, 172). И хотя степень износа типографского материала – не самый надежный показатель в определении относительной хронологии[6], да и бумага ЭС,

---

[3] «Pamiętnik Warszawski» – ежемесячный журнал научно-литературной направленности, выходивший в 1815–23 гг.; неофициальный орган Королевского общества друзей наук.

[4] См., напр.: Estreicher 1933, 232; Cytowska 1961, 116; Raudeliūnas 1966, 128; КБ 1986, 65.

[5] Именно неординарность, но не уникальность: И.Н. Данилович объединил в одну группу (т. е. представил как одно издание) экземпляры библиотек Суходольского и монастыря Базилианов в Вильно. Монастырский экземпляр и сейчас находится в столице Литвы – в Университетской библиотеке (шифр RK 156) – и представляет собой «обычное» первое издание ЛС.

[6] Недостатки этой методики много позже продемонстрировала заочная дискуссия о датировке мамоничевских изданий ЛС. Концепция А.С. Зерновой, построенная на «графических» доводах и относящая типографские варианты кодекса к 1588-му, 1592/93-му и 1594/95-му гг. (см.: Зернова 1959, 196) оказалась не очень точной. Коррек-

как потом выяснилось, не лучше, чем в большинстве других кодексов продукции 1588 года[7], интуиция И.Н. Даниловича не подвела. Перед ним был пробный образец мамоничевской статутовой первопечати – возможно, единственный из сохранившихся.

Тем большей оказалась утрата: эту книгу никто из статутовых специалистов после И.Н. Даниловича воочию не видел, хотя мало кто о ней не вспоминал. Несколько лет назад ЭС вошел в сферу моих исследовательских интересов: я занялся вопросом его идентификации, определения принадлежности к одному из трех ныне известных либо четвертому неизвестному изданию кодекса. Возможность для решения этой задачи, с одной стороны, предоставил С. Линде, «ze zwyczajną mu ścisłością, w naydrobniejszych szczegółach wypracowaniem» (Daniłowicz 1823, 261) описавший раритет, воспроизведший на страницах своего сочинения множество из него цитат. С другой стороны, пришлось обратиться к наследию самих Мамоничей: Статуты, вышедшие из их дрꙋкарни в 1588, 1590–91 и 1600 гг., несмотря на без малого абсолютное тождество текстов, различаются между собой сотнями деталей – и не только графического характера. Наличие опечаток и отражение многообразных вариативных написаний позволяет опознать и датировать каждую статутовую страницу.

Детальное сличение приведенной в труде С. Линде информации с данными сохранившихся Статутов показывало, что в основной – законодательной – части кодекса не фиксировалось ни одного случая расхождения «реставрированного» материала с аналогами первого издания, тогда как различия со вторым и третьим проявлялись системно. Вместе с тем,

---

тивы – с опорой на филиграноведческий анализ – ввел Э. Лауцявичюс, убедительно доказавший, что книги третьего издания «отпечатаны в типографии Мамоничей около 1600 года» (см.: Лауцявичюс 1967, 154–155). Кстати, как представляется, в уточнении нуждается также датировка второго издания, которое следовало бы соотнести с 1590/1591 гг. – сошлюсь на свою аргументацию, представленную в статье: Мякишев 1998, 168-172.

[7] В целом издание напечатано на бумаге с водяными знаками «Топор», «Любич», «Короны», «Подкова», «Колосья» и проч., выработанной на польских бумажных мельницах – в основном окрестностей Кракова. Сохранившиеся экземпляры заставляют предполагать, что Мамоничи сортировали отпечатанные единым набором листы в соответствии с качеством использованной бумаги: пример «показательного», а, может быть, «подарочного» Статута можно увидеть в Национальной библиотеке в Варшаве (XVI. F 561); там же, а еще в библиотеках Кракова, Москвы, Вильнюса и др. находятся «обычные» экземпляры кодекса, напечатанные на добротной бумаге среднего качества (BN XVI. 669, Publ. F. 6, BJ Cim. 8428; РГБ № 3166; VUB RK 156); и с последней – «второсортной» – разновидностью статутовой мамоничевской продукции – книгами, набранными на толстой непрозрачной бумаге, подчас лишенной водяных знаков – можно познакомится в фондах РНБ (Петербург) 1.2.8, РПБ (Москва) № 3166 и 6446, БАН (Киев) I 213/5013.

вводная часть описанной С. Линде книги была оригинальной, по меньшей мере три из пяти «церемониальных» листов, включая титульный – ни в каком другом экземпляре ЛС точного соответствия не находили[8].

Справедливость этих наблюдений можно было бы проверить одним «простым» способом, но для этого следовало отыскать загадочную книгу. Гарантию же того, что ЭС – не фикция, не модная в то время книжная фальсификация, давали научный авторитет и добросовестность С. Линде и И.Н. Даниловича.

Однако скудные биографические данные владельца книги – графа Яна Суходольского – зацепки для продолжения поиска практически не давали. Шляхетский род с Суходолов (герб Janina) в XVI веке осел в Люблинском воеводстве. В 1800 году Войцех, радомский каштелян, получил от австрийского монарха Франциска II титул графа, позже – в 1847 году – для сына его Яна-Бонавертуры-Франциска-Винцента в России подтвержденный (ЕР 1867).

Родовое имение Суходольских находилось в Дорогуске – сегодня этот городок лежит на самой границе Польши и Украины. Старый барочный дворец с просторными подвалами, еще в конце XIX века принадлежавший потомкам графской династии (SGKP 1881, 124), стоит и поныне, составляя главную достопримечательность местечка (SGP 1992, 135). Однако книжного собрания графа Яна здесь не было уже в 70-е годы позапрошлого столетия. Фр. Радзишевский, издавший тогда своеобразный справочник о польских библиотеках и архивах, указывает в прошедшем времени: «Była tu (w Dorohusku – В.М.) biblioteka zebrana staraniem hr. Jana Suchodolskiego i zawierająca wiele rzadkości bibliograficznych» (Radziszewski 1875, 11). К кому попало книжное наследие графа, установить, к сожалению, не удалось. Единственная, ведущая к ЭС ниточка, оборвалась.

Однако параллельно проводимая мной библиотечно-архивная работа в рамках подготовки книги о мамоничевских изданиях кодекса – выверка экземпляров, известных по упоминаниям в литературе, поиск неизвестных (или, вернее, неописанных, забытых) – к тому времени в одной мелочи дала свои результаты. В книгах первого издания из Университетской б-ки в Упсале (инв. № 781) и Национальной в Варшаве (шифр XVI. F. 561) был обнаружен даже не лист – страница незнаемой мамоничевской печати. Это был портрет короля – Сигизмунда III – помещенный в Статутах на обороте титульного листа. В обоих случаях время не пощадило редкие образцы творчества **дому Мамоничов**: в «шведском» экземпляре титульный лист достаточно аккуратно оборван со всех сторон, в «польском» же два клока вырваны чуть выше срединной его части справа и слева (см. илл. 1). Плохая сохранность, по всей видимости, и стала причиной того, что представленный вариант гравюры никогда в публикациях

[8] Подробнее см.: Мякишев 1996, 385–399.

не воспроизводился и потому внимания исследователей не привлек. Совмещение двух листов с дефектами дает возможность восстановить прототип гравюры (илл. 3).

Необычен фон, обрамляющий новоизбранного монарха: с левой стороны, на уровне предплечья короля мы видим, правда, традиционный герб Вазов «Сноп», повторяющийся во всех изданиях кодекса, но выше – неожиданность: прямо на навершии скипетра расположена фигура человека, собственным дуновением наполняющего удерживаемый в руках парус. Есть и еще одно новшество – изображение портьеры со складками, ее откинутая пола по краю обшита кружевной декорацией.

Во всех иных экземплярах всех трех изданий Статута эти фоновые «детали» отсутствуют. Сопоставление гравюр однозначно указывает на направленность изменений: вариант с «приукрашенным» интерьером является исходным, подвергнутым позднейшей переделке. Но почему нужно было избавиться от загадочной фигурки и богатой драпировки?

Существо с парусом – это Фортуна, древнеримская богиня счастья, удачи и судьбы. Она изображается обычно в виде женщины, опирающейся одной рукой на кормило, а в другой держащей рог изобилия. Иногда Фортуна представлялась также стоящей на шаре или передней части корабля (как на позднейшей, но отбитой при жизни Сигизмунда III памятной медали – см. илл. 4), причем чаще на одной ноге, другая легко вознесена в воздух. Символика атрибутов очевидна, разве что шар может трактоваться двояко: как знамение постоянной переменчивости либо всеземного могущества богини. Знаками Фортуны также иногда были: повязка на глазах, колесо, крылья (как на рисунке нач. XVI в. Петера Фишера – см. илл. 4), чаша жертвоприношения, раскрытый над глобусом циркуль (см.: WEP 1889, 896; EP 1862, 91).

У Мамоничей божественная атрибутика представлена скудно, это лишь наполненный парус. Слабая маркированность образа и нелучшее исполнительское решение гравера приводят к тому, что Фортуна здесь почти нераспознаваема. Но были, думаю, и другие причины, предопределившие необходимость устранения фигурки. Это многочисленные отступления от канонов изображения изменчивой богини, скажем, локализация королевской регалии под ее ногами. Для сравнения отметим, что скипетр московских государей уже в начале XVII века венчал государственный символ – двуглавый орел (см.: Дорошкевич 1993, 75–77).

Типографов, а скорее власти предержащих, не устроило также размещение занавеса за плечами короля. Портьера, действительно, может показаться слишком тяжелой, она если не подавляет, то затеняет портрет монарха.

Новую доску для гравюры изготавливать не пришлось. Дело в том, что Мамоничи освоили и использовали в практике достаточно редкий по тем временам прием – технику «вставной» гравюры, когда портрет вырезают на одной доске, рамку – на другой. Вообще гравюрные обрамления

на протяжении всего XVI века используются чрезвычайно активно – особенно при оформлении титульных листов, но в рамку при этом вставляется название книги, чаще всего набранное шрифтом (см.: Szwejkowska 1983, 71). Два печатных рисунка у восточных славян первым совместил Иван Федоров в знаменитом изображении евангелиста Луки в фронтописе *Апостола* (Сидоров 1946, 55–56). На западе эта техника была вообще неизвестна. Новаторство давало возможность раздельного использования в других изданиях центрального элемента и рамки. Мамоничи, работая с кодексом, не раз прибегали к опыту русского первопечатника[9]: то же самое обрамление, «принявшее» в себя три разных королевских портрета, встречается в трех изданиях Статута; по оттискам видно, как износилось и потрескалось дерево за двенадцать лет типографской службы.

Таким образом, в 1588 году задача мастеров, взявшихся видоизменить гравюру с портретом Сигизмунда, была опрощена: центральная доска просто опилена и тем самым лишена ненужных элементов (илл. 2, вариант С). Только после этого страница с королевским портретом, признаваемая ныне «wspaniałym osiągnięciem w dziedzinie ilustracji książkowej» (Topolska 1984, 143), окончательно обрела свой привычный облик[10].

Однако вернемся к поискам книги-призрака, исчезнувшей в середине XIX века на приграничных территориях Польши и Украины – экземпляра ЛС Суходольского.

При подготовке очередной частной «экспедиции» по исследованию Статутов – на сей раз на литовских землях – я познакомился с публикацией вильнюсского историка А. Дубониса, в которой приводятся сведения о шести[11] «руских» кодексах, содержащихся в библиотеках Литвы (Dubonis 1989, 28–29). Описывая в числе прочих Статут из Музея науки Вильнюсского университета, автор статьи представил его как экземпляр Суходольского. Основанием тому послужила чернильная запись в верхнем левом углу форзаца: *O tym egzemplarzu napisał M. S. B. Linde w dziele swoim p. t.: «O Statucie Litewskim ruskim językiem i drukiem wydanym*

[9] Как известно, Мамоничи – пусть опосредованно – были связаны с Федоровым и знакомы с секретами его мастерства. Поставить типографское дело в середине 70-х годов им помог «клеврет» первопечатника Петр Мстиславец; позже – в 1582-м г. – ушлым братьям удалось хоть ненадолго, но переманить из Львова ученика Федорова – Гриня Ивановича (см.: Iljaszewicz 1938; Зернова 1959, 167–168, 180–181).

[10] В мамоничевских «руских» Статутах встречается, как мы видели, другой – менее удачный – портрет Сигизмунда III (см. илл. 2, вариант А). Не случайно сами типографы дважды – в первом и третьем изданиях – от него отказывались в пользу «короля без Фортуны».

[11] С декабря 1997 года – после того, как Национальная библиотека Мажвидаса приняла на хранение ЛС, обозначенный ныне шифром R 9442, – в Литве имеется семь экземпляров мамоничевского кодекса.

wiadomość», Warszawa 1816 и некомплектность экземпляра – отсутствие листов, на которое «z wielkim żalem» указал еще С. Линде: Статут «się przerywa w połowie 3-go Artykułu 14 Rozdziału» (Linde 1816, 10). Информация литовского коллеги пробудила долгожданную надежду, смешанную, правда, с некоторой долей пессимизма: переплетчики XIX века взамен оригинального титульного листа, который, как известно, наиболее подвержен порче[12], нередко вставляли в Статут репродукцию из сочинения С. Линде (я видел таких книг по меньшей мере пять[13]). Впоследствии эта достаточно грубая подделка не раз представлялась в научной литературе как образец мамоничевской первопечати. Приведенный в статье А. Дубониса снимок был сделан именно с такой репродукции – рисунка Антония Ханна, ученика Варшавского лицея, который снял для С. Линде очень точную копию.

На счастье, мое недоверие оказалось необоснованным. Обратившись за уточнениями к автору обнадежившей меня публикации и другим литовским коллегам, я получил сведения, благодаря которым еще перед поездкой в Вильнюс знал, что цель многолетних разысканий достигнута.

В Музее науки университета под шифром Sign. I 10/ K 1900 меня ждала книга из собрания Суходольского, когда-то – почти двести лет назад – ставшая предметом пристального научного внимания С. Линде.

Статут оправлен добротным коричневым картонным переплетом, датированным «не позднее первой половины XIX века»[14]. Верхняя обложка украшена тиснением золотого цвета: выведенным по периметру мелким грече-

---

[12] И.И. Лаппо, посвятивший кодексу свыше двадцати лет влюбленного исследовательского внимания, в свое время писал: «С одной стороны, именно начальные и последние страницы книг чаще всего погибали и от небрежного с ними обращения, а с другой стороны, – заглавные листы, напечатанные более крупным и красивым шрифтом, нередко отрывались как своего рода рисунки, которые собирали в своих примитивных коллекциях малопросвещенные люди» (Лаппо 1936, 289).

[13] Краков, Ягеллонская библиотека, шифр Cim. 8427; Вроцлав, Библиотека Оссолиньских, шифр XVI. F. 4004; Санкт-Петербург, РНБ, шифр 1.2.6г; Вильнюс, Центральная библиотека Литовской АН, шифр L 16 / 2–2; Львов, Музей украинского искусства, шифр 607.

[14] См.: Dubonis 1989, 28. Датировку переплета можно несколько уточнить: на бумаге форзаца виден водяной знак – дерево с тремя зябликами на ветвях, под которым читаются буквы «IFA». В атласе Э. Лауцявичуса эта филигрань обозначена № 2858 и зафиксирована в виленских и трокайских документах 1777–1778 гг. По утверждению этого авторитетного исследователя, бумага «с птичками» или по-польски «pod ptakami», широко распространенная в Литве, производилась в Финкеле (Восточная Пруссия) на протяжении всего XVIII в., но разновидность «Dreifinkenpapier» (с тремя зябликами) выходила в 70–80-е годы, пока на мельнице работали мастера Heinrich и Johanh Fridrich Austigal (инициалы последнего видим на филиграни статутового форзаца) – см.: Лауцявичюс 1967, 131.

ским орнаментом и надписью посередине *Statut W. X. Litewskiego*, *1588.* Тисненые надписи есть также на рифленом корешке, поделенном восемью перегородками: во второй клетке сверху читаем *Statut W. X. Litewskiego,* в третьей *Ruskim Językiem wydany w Wilnie 1588 Roku*, в восьмой *I.H.S.*

Эту книгу Музей купил в 1977 году[15] у вдовы Павиласа Каразии (1887–1955) – литовского общественного деятеля, нумизмата и библиофила, который в свою очередь, еще задолго до войны приобрел кодекс в антикварном магазине в Вильно, где тогда проживал и работал. Штамп на 2-м листе Статута *Z ksiąg Napoleona Domaradzkiego* называет еще одного прежнего владельца ЭС. А просматривающаяся здесь же карандашная строчка, неразборчиво подписанная тремя-четырьмя буквами *N...* (Napoleon Domaradzki – ?) открывает очередную, более раннюю и, к сожалению, пока последнюю страницу «биографии» этой книги: *Kupion u Rinnolsina w Wilnie w r. 1905.* Вся вторая половина XIX века, таким образом, остается в «судьбе» ЭС сплошным «белым пятном». Ясно только, судя по замечательной сохранности, что книга была в хороших руках.

Какие же неожиданности прятали в себе ее страницы? К моему удовлетворению, предварительные расчеты подтвердились: интерес представляли первые пять листов Статута, все остальное по набору являлось стандартным изданием 1588 года. Наибольшие сюрпризы, если не считать титульного листа, успешно распропагандированного С. Линде, преподнесли страницы 2 и 10 – обороты титульного и 5-го листов. Портрет Сигизмунда III против ожидания не повторял рассмотренных нами аналогов – ни с Фортуной, ни без нее. Здесь была использована гравюра, известная по принадлежности ко 2-му изданию 1590–91 гг. (илл. 2, вариант А). Таким образом, печатая кодекс в 1588 году, Мамоничи дважды меняли изображение короля, причем хронологически первая гравюра, оказавшись сразу же «забракованной», спустя два года – опять же на время – вернет к себе чью-то благосклонность.

Большую часть десятой страницы в ЭС занимает незнакомое изображение Погони, под которой размещены выдержки из Священного Писания (см. илл. 6) – те самые[16], которых «не хватает» на «tytule», известном по сочинению С. Линде.

[15] Акт купли-продажи называет конкретную дату, когда это произошло – 22 ноября, и сумму, заплаченную за библиографический раритет – 1200 рублей (Vilniaus Universiteto Mokslo muziejus, pirkimo aktas, nr 25, l. 8).

[16] Добавлена лишь цитата из Притчей Соломона (17–15) **Хто судить правымъ неправого, а правого неправы$^{\text{м}}$ нечисты$^{\text{м}}$ и бритки$^{\text{м}}$ есть въ бога**, да в видоизмененном варианте воспроизведен перевод фрагмента из II Книги Паралипоменон (19–6,7): вместо «обычного» мамоничевского **Нетъ бо пре$^{\text{д}}$ господемъ Богомъ нашимъ неправости**.

Именно совмещение двух «пробных» оформительских версий, отраженных в ЭС, кладется в основу компоновки титульного листа, ставшего, может быть, главным опознавательным знаком мамоничевской деятельности и признанным «вершиной художественного вкуса и композиционного мастерства» (Шматаў 1984, 89) (см. илл. 5).

Представленный в ЭС «рабочий» вариант введения к Статуту перед выходом в большой тираж подвергся ряду других трансформаций: после утверждения кодекса Сигизмундом III можно и нужно было поместить здесь королевские привилеи, в соответствии со стандартами официальных изданий того времени ввести Герб и *Посвящения на Герб* меценату. Сравнение «церемониальных» частей «пробного» и «обычных» экземпляров Статутов указывает также на некоторую языковую корректировку текста – в основном графического характера – в рамках широко трактуемой «рускомовной» вариативности.

Перечисленными доработками, относимыми к разряду скорее технических, отнюдь не исчерпываются статутовые метаморфозы. Было и другое более скрытое, но очень значимое направление корректировки. Еще А.С. Зернова указала на любопытную трансформацию гравюры с изображением Погони. На копии из книги Линде (т. е. на ЭС) «венок, окружающий всадника, заканчивается наверху тремя страусовыми перьями, как на гербах литовских вельмож; позже доска переделана, отпилена верхушка с перьями и заменена короной» (Зернова 1959, 193) (см. илл. 5). Исследовательница предположила, что герб «переделан» для напоминания о верховенстве королевской власти и, кажется, была права, поскольку видоизмененный текст обращения Сапеги ко **Всимъ вобецъ станомъ** содержит другие подтверждения подобной акцентировки лояльности властей ВКЛ к Короне и королю. Эти реверансы носили, впрочем, исключительно внешний характер и были призваны смягчить реакцию поляков на кодекс, в самой своей сути противоречащий федеральным идеям Речи Посполитой. Именно стремление лишний раз не дразнить самолюбия **сꙋседовъ заграничниковъ** и продиктовало нужду в косметической правке одного из фрагментов вводной части Статута. В ЭС вице-канцлер позволяет себе заметить (стр. 8 Введения – см. илл. 7): **и таꙗтъ то есть наша волность которою се мы межы инъшыми народы хрестиꙗнъскими хвалимъ, же пана надъ собою не маемъ.** Эта смелая декларация в «обычном» 1-м издании, приняв форму сослагательного наклонения, заметно снижает свой пафос: **и то ес^{т}инаша волнос^{т}икоторою се мы межы и^{н}шыми народы хрестиꙗ^{н}скими хвалимъ, же пана и^{ж} бы водле воли своее а не во^{д}ле правъ наши^{х}опанова^{л}, надъ собою не маемъ.** Та же нацеленность на обход острых углов предопределяет преобразование следующей фразы Сапеги, представленной в ЭС в неоднозначной формулировке: **хто бы колвекъ ... в чомъ насъ ꙋкривдити и подлꙋгъ ꙋподобаньꙗ своего надъ нами паствитисе мелъ, тотъ бы вжо паном нашимъ былъ, а мы**

быхъмо невольниками его были. В иных Статутах 1-го издания скорректированный вице-канцлером текст переносит действие (снова условное) в сугубо правовую сферу отношений: **хто бы ко^{л}векъ ... в чомъ насъ укри^{в}дити и по^{л}лугъ уподоба^{н}жхсвоего, а не во^{л}ле пра^{в}тнашы^{х}онадъ нами паствитисе ме^{л},бто^{т}и бы вжо не паном наши^{м}, але сказителе^{м} пра^{в}ки во^{л}носте^{н} наши^{х}обы^{л}, а мы бы^{с}мо неволниками его быти мусели.**

Эти единичные факты фрагментарной «содержательной» доработки Введения в кодекс являются отголоском напряженной – подчас закулисной – борьбы великокняжеских и коронных интересов, в которой Статуту была отведена роль одного из главных «возмутителей спокойствия».

Представленные страницы мамоничевской статутовой печати – всего лишь три из 616, будучи, как сейчас сказали бы, рабочими версиями, наглядно показывают, как много внимания уделялось форме подачи материала, какой большой подтекст крыла в себе любая деталь, сколько мысли и труда стояло за выработкой окончательного решения. Эта основательность, отличающая не только авторов кодекса, но и людей, делавших книгу своими руками, определила феномен Статута – «wielkiego jak na swój wiek pomnika prawodawstwa ... jakiego ówczesna Europa nie posiadała» (Maciejowski 1856, 207).

Литература

БАН – Библиотека академии наук (Киев)

Дорошкевич 1993 – Дорошкевич А.Л. Символы русской государственности. Москва, 1993.

Зернова 1959 – Зернова А.С. Типография Мамоничей в Вильне (XVII век) // Книга. Исследования и материалы, 1959, № 1.

КБ 1986 – Книга Белоруссии 1517–1917. Сводный каталог. Минск, 1986.

Лабынцев 1988 – Лабынцев Ю.А. «Статут Великого княжества Литовского» 1588 года – памятник белорусской старопечатной литературы // Советское славяноведение, 1988, № 5.

Лаппо 1936 – Лаппо И.И. Литовскій Статутъ 1588 года, т. I, ч. 2. Каунас, 1936.

Лауцявичюс 1967 – Лауцявичюс Э. Бумага в Литве в XV–XVIII вв. Вильнюс, 1967.

Мякишев 1996 – Мякишев В. Об одной загадке Литовского Статута 1588 года // Slavia Orientalis, 1996, nr. 3.

Мякишев 1998 – Мякишев В. К датировке второго мамоничевского издания Литовского Статута 1588 года // Teksto analizė ir interpretacija. Šiauliai, 1998.

РГБ – Российская государственная библиотека (Москва)

РНБ – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)

Сидоров 1946 – Сидоров А.А. История оформления русской книги. Москва, 1946.

Шматаў 1984 – Шматаў В.Ф. Беларуская кніжная гравюра XVI–XVIII ст. Мінск, 1984.

BJ – Biblioteka Jagiellońska (Kraków)

BN – Biblioteka Narodowa (Warszawa)

Cytowska 1961 – Cytowska M. Bibliografia druków urzędowych XVI w. Wrocław, 1961.

Czacki 1800–1801 – Czacki T. O Litewskich i Polskich prawach, t. I–II, Warszawa 1800–1801.

Daniłowicz 1823 – Daniłowicz I. Opisanie bibliograficzne dotąd znanych exemplarzy Statutu Litewskiego // Dziennik Wileński, 1823, t. II.

Dubonis 1989 – Dubonis A. Trečiojo Lietuvos statuto egzemplioriai Lietuvos bibliotekose // Bibliotekų darbas, 1989, nr. 3.

EP 1862 – Encyklopedyja Powszechna, t. IX. Warszawa, 1862.

http://www.bibliorossica.com

EP 1867 – Encyklopedia powszechna, t. 24. Warszawa 1867.
Estreicher 1933 – Estreicher K. Bibliografia Polska, t. XXIX. Kraków, 1933.
Iljaszewicz 1938 – Iljaszewicz T. Drukarnia domu Mamoniczów w Wilnie. Wilno, 1938.
Linde 1816 – Linde S.B. O Statucie Litewskim Ruskim językiem i drukiem wydanym wiadomość. Warszawa, 1816.
Maciejowski 1856 – Maciejowski W. Historia prawodawstw słowiańskich, t. I. Warszawa, 1856.
Publ. – Biblioteka Publiczna (Warszawa)
Radziszewski 1875 – Radziszewski Fr. Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach. Kraków, 1875.
Raudeliūnas 1966 – Raudeliūnas V. Pirmieji Lietuvos statuto leidimai (1588–1600) // Rusų knygos spausdinimo pradžia ir Litwa. Vilnius, 1966.
SGKP 1881 – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, z. XIII, t. II. Warszawa, 1881.
SGP 1992 – Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski. Warszawa, 1992.
Szwejkowska 1983 – Szwejkowska H. Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny. Wrocław, 1983.
Topolska 1984 – Topolska M.B. Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku. Wrocław, 1984.
VUB RK – Vilniaus Universiteto biblioteka, retų knygų skyrius.
WEP 1889 – Wielka Encyklopedya Powszechna, t. XXI. Warszawa 1889.

Отображение языковой и культурной полифонии Великого княжества Литовского в крупнейшем собрании его документальных памятников: первые годы существования Виленского Центрального архива древних актовых книг

Л.Л. Щавинская (Москва)

Приехавший в начале 1820-х г. в Вильну молодой украинский ученый, будущий знаменитый профессор И.Н. Лобойко был поражен обилием в здешних архивах памятников письменности и документов на старобелорусском языке. Не в силах скрыть свой восторг по поводу этих письменных богатств он писал: «... я весьма удивлен был письменными памятниками белорусского наречия, но мое удивление еще более возросло, когда я увидел, что здешние архивы по большей части ими наполнены» (Чтения 1864, 45).

Подобное положение объяснялось прежде всего тем, что Вильна – столица древнего Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, где после 1569 г. (Люблинской унии) по крайне мере две трети населения составляли белорусы, а государственным языком был старобелорусский. Огромное число старинных актовых, документальных памятников, хранившихся столетиями во многих местах обширного Великого княжества Литовского, в том числе и в Вильне, жители которой в большинстве были славянами, преимущественно белорусами-православными, католиками или же униатами, в первой половине XIX столетия не поддавалось даже самому первичному учету, не говоря уже хотя бы о поверхностном, предварительном их описании. Гигантскую и весьма важную работу эту еще предстояло сделать. А начать ее по-настоящему и в значительной степени завершить выпало на долю Н.И. Горбачевского, стоявшего у истоков многих гуманитарных знаний в Белоруссии, по сути, основателя белорусской научной архивистики, которой он посвятил свою жизнь (Толкачева (Щавинская) 1991; Щавинская 1994, 386–394; Щавинская 2004, 352–355; Щавинская 2005, 225–231).

http://www.bibliorossica.com

В основу «Центрального архива древних актовых книг губерний: Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской» было положено собрание архива Главного литовского трибунала, находившегося в Вильне. Этот архив в 1837–1840 гг. был значительно пополнен за счет перевезенных сюда различных документов, прежде всего трибунальских книг из Минска, а также поступления Скарбового трибунала и Троцкого архива. После правительственного указа 1852 г. о создании в Вильне «Центрального архива древних актовых книг» в Архив стали поступать в огромных количествах самые разнообразные документы из учреждений Виленской, Гродненской, Минской, Ковенской и других губерний. Поступали эти документы и от частных лиц.

Центральный архив вскоре стал основным хранителем документов по истории Великого княжества Литовского до конца XVIII столетия включительно. В нем сосредоточилось свыше 13 миллионов древних актов, отражающих все стороны жизни белорусского, литовского, украинского, русского, польского и некоторых других народов за несколько веков их истории. В Архиве были представлены документы из сотен учреждений. Свозились они в Архив зачастую совершенно не разобранными, перепутанными. Всю титаническую работу по созданию Архива и упорядочиванию материалов предстояло выполнить в течение десятилетий немногочисленным его сотрудникам во главе с Н.И. Горбачевским. По мнению некоторых современников (см.: Спрогис 1880, 401; Родосский 1907, 112–113), именно он, Н.И. Горбачевский, был одним из инициаторов создания в Вильне «Центрального архива древних актовых книг». Он же стал и его первым архивариусом. Сейчас можно без преувеличения сказать, что задачу эту первый архивариус выполнил с честью. «Центральный архив древних актов» или Виленский центральный архив стал его главным детищем, образцовым научно-практическим учреждением, столь много сделавшим не только для сохранения, но и для изучения памятников древней письменности, преимущественно деловой, актовой.

Назначение Н.И. Горбачевского главным действующим лицом в «Центральном архиве древних актовых книг губерний: Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской», которое состоялось 15 апреля 1853 г., не было случайным. В ученых кругах Вильны Н.И. Горбачевский уже давно слыл редким знатоком многих древних и новых языков, специалистом в области истории документальных памятников и археографии. Подобному назначению способствовала и особая прилежность Н.И. Горбачевского, который мог в течение длительного времени, почти не отрываясь, вести кропотливую, порой изнуряющую монотонную работу по систематизации и описанию огромного числа самых различных актов, написанных труднейшими для прочтения почерками кириллицей и латиницей во множестве их вариантов на старобелорусском, латинском, польском и других языках. Отличали его и значительные административные способности. Соб-

ственно, профессионально заниматься устройством Архива Н.И. Горбачевский начал еще за год до окончательного утверждения в новой должности. 15 марта 1852 г. он ушел с преподавательской службы и всецело посвятил себя работе над созданием Архива, который официально открылся 2 апреля 1852 г.

Чисто личные и деловые качества Н.И. Горбачевского способствовали и тому, что он был «единственным реальным сотрудником» (см.: Улащик 1973, 86) образованной 17 апреля 1864 г. для издания документальных источников Виленской археографической комиссии. Именно на нем «в первые годы существования этого учреждения держалась вся работа» (там же, 87). Дореволюционные историографы комиссии отмечали, что Н.И. Горбачевский являлся «наиболее понимающим и полезным работником за первые 15 лет существования комиссии» (см.: Юбилейная записка 1914, 17–19). «Самым деятельным членом Комиссии был Горбачевский. Всесторонне изучив дело археографии, он не только принимал деятельное участие во всех изданиях комиссии, но и сам лично издал несколько трудов, которые доставили ему значительную известность в ученом мире» (см.: Турцевич 1906, 28).

Заслуги Н.И. Горбачевского в области архивистики и археографии были действительно очень высоки. Их можно подразделить на достижения ученого-архивиста практика, собственно научные достижения исследователя, результаты работы ученого-эдитора и издателя, а также ученого-учителя, создавшего собственную научную школу архивистики и археографии. Как считал такой знаток истории белорусского источниковедения, как Н.Н. Улащик: «Важнейшая работа, проделанная Горбачевским в архиве, заключалась в составлении каталога актовых книг, в предисловии к которому Горбачевский показал, какие суды имелись в Великом княжестве Литовском, их функции и как велось в них делопроизводство, облегчив, таким образом, работу всех последующих работников как самого архива, так и членов Комиссии. Знание архивных материалов дало возможность Комиссии быстро укомплектовать первые тома Актов, а проделанную ранее Горбачевским работу выдать за текущую работу этой Комиссии» (см.: Улащик 1973, 87). Н.Н. Улащику принадлежит и самая верная оценка Н.И. Горбачевского как специалиста по вспомогательным историческим дисциплинам: «Без сомнения за все время существования Комиссии Н.И. Горбачевский и Д.И. Довгялло были самыми большими знатоками палеографии, метрологии и хронологии Белоруссии и Литвы» (там же, 87–88). Столь же высокого мнения был о Н.И. Горбачевском и известный польский ученый Р. Меницкий (см.: Mienicki 1925, 36), упоминают о нем и нынешние зарубежные историки архивного дела (см.: Grimsted 1981, 300).

Первым крупным печатным трудом Н.И. Горбачевского, на котором указано его имя, стали «Краткие таблицы, необходимые для истории,

хронологии, вообще для всякого рода археологических исследований и в частности для разбора древних актов и грамот западного края России и Царства Польского» (Вильна, 1867). Труд этот в силу специфичности и универсальности до сих пор не потерял своего значения. В результате кропотливой, многолетней работы его создателю удалось составить незаменимое справочное пособие, единственное в своем роде и сейчас.

Появление этого уникального справочника стало возможно благодаря удачному сочетанию в лице его автора блестящего математика и археографа и опытного источниковеда. Н.И. Горбачевскому удалось представить в виде единой стройной системы необходимую сумму сведений как по хронологии, так и по отдельным разделам других вспомогательных дисциплин. Эти сведения излагаются автором в строжайшей взаимосвязи особенностей двух главнейших культурных традиций Европы – православной и католической, отчего справочник Н.И. Горбачевского и сейчас может служить незаменимым пособием для ученых, занимающихся изучением истории, культуры и литературы не только Белоруссии, Литвы, Польши, Украины, России, но и других стран.

То особое место, которое занимают «Краткие таблицы..» Н.И. Горбачевского в истории вспомогательных дисциплин, уникальность и актуальность этих «таблиц», их значение для специалистов наших дней, практически лишенных подобных пособий, заставляют нас подробнее остановиться на их рассмотрении. Изданные в 1867 г. «Краткие таблицы...» представляют собой комплексную систему таблиц для хронологических расчетов и вычислений при археологических исследованиях и изучении исторических документов, связанных с историей Великого княжества Литовского. Особую ценность этим таблицам придает то, что они были составлены археографом-практиком, который подготовил их исходя из конкретных нужд, связанных с изучением подлинных исторических документов. Представленные в удобной табличной форме все необходимые сведения для определения датировки древних документов как по старому, так и по новому стилям Н.И. Горбачевский снабдил необходимыми объяснениями и описаниями всех встречающихся терминов, описал подробный алгоритм поиска и расчетов по различным ключам при датировке древних документов, привел подробные примеры употребления таблиц при проведении хронологических изысканий.

В 1869 г. в Вильне выходит еще одна работа Н.И. Горбачевского по хронологии – «Археологический календарь на две тысячи лет (325–2324) по Юлианскому счислению и на семьсот сорок два года (1583–2324) по Григорианскому счислению», а также публикуется весьма важная, во многом итоговая, обширная статья «О Центральном архиве древних актовых книг губерний: Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской», увидевшая свет в том же году и в виде отдельной брошюры. Хронологические таблицы и календарь Н.И. Горбачевского остаются полезными и поныне. Они по-

зволяют переводить даты с латинских, польских, белорусских, украинских, немецких и других источников на юлианский календарь.

В 1872 г. в Вильне издается девятисотстраничный «Каталог древним актовым книгам губерний: Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской, также книгам некоторых судов губерний Могилевской и Смоленской, хранящимся ныне в Центральном архиве в Вильно» – итог двадцатилетней работы Н.И. Горбачевского в Архиве.

Необходимо заметить, что начиная с середины 1860-х гг. многие важные работы, выполненные Н.И. Горбачевским единолично или почти единолично, публикуются в Вильне анонимно. Это прежде всего отдельные тома «Актов, издаваемых Виленской археографической комиссией для разбора и издания древних актов», «Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем княжестве Литовском» (Вильно, 1867) и другие.

В 1874 г. выходит в свет известный «Словарь древнего актового языка Северо-западного края и Царства Польского» (Горбачевский 1874)[1], за который Н.И. Горбачевский удостоен Академией наук Уваровской премии. «Словарь» этот был составлен Н.И. Горбачевским удивительно быстро – всего за три года. Однако, материал для него ученый собирал по меньшей мере два десятилетия, в основном за годы работы в Архиве. «Словарь» Н.И. Горбачевского получил высокие оценки от видных ученых России и других стран. Будучи в своей основе терминологическим и историческим, он тем не менее стал значительным явлением и в истории филологической науки, а его автора и сейчас часто именуют заслуженным ученым-языковедом (см.: Германович 1985, 44). Высокую оценку «Словарю» Н.И. Горбачевского и всей его филологической деятельности дает известный белорусский языковед М.Г. Булахов: «В историю восточнославянского языкознания Горбачевский вошел как автор довольно большого лексикографического труда "Словарь древнего актового языка Северо-западного края и Царства Польского". Фактически это был первый в истории белорусского языкознания историко-терминологический словарь, сыгравший важную роль в разработке принципов лексикографии и в практическом изучении языка старой письменности. В предисловии к словарю автор излагает не только методы толкования терминов, но и взгляды на строй белорусского языка XIV–XVII вв. Этот труд Горбачевского получил весьма высокую оценку в среде специалистов-лексикографов» (см.: Булахов 1976, 44). Этот труд Н.И. Горбачевского где он порой кратко, а чаще весьма пространно объяснил сотни старобе-

[1] Словарь белорусских (около 400) и латинских юридических терминов (свыше 5000), встречающихся в актах XIV–XVII вв. Северо-западного края и Царства Польского. В предисловии – объяснение методов словотолкования и характеристики источников словаря. Общая характеристика белорусского языка XIV–XVII вв.

лорусских слов и выражений, а также свыше пяти тысяч латинских и польских, и по сей день остается незаменимым.

Сопряжение, сочетание в одном пособии, предназначенном для конкретных прагматических целей, сразу нескольких языковых стихий и главнейших культурных традиций Европы делают его абсолютно уникальным, вот уже более столетия не имеющим даже частичных аналогов, прежде всего в латино-польской части[2] (см. Спрогис 1880, 402).

Виленский Центральный архив древних актовых книг стал крупнейшим собранием документальных памятников по истории Великого княжества Литовского, отображающим всю его языковую и культурную полифонию. В нем находилось огромное количество древних актов, отражающих все стороны жизни белорусского, литовского, украинского, русского, польского и некоторых других народов за несколько веков их истории. Титаническая работа по созданию Архива и упорядочиванию материалов в течение десятилетий была проделана немногочисленными сотрудниками во главе с его первым архивариусом Н.И. Горбачевским. «Центральный архив древних актов» или Виленский центральный архив стал его главным детищем, образцовым научно-практическим учреждением, столь много сделавшим не только для сохранения, но и для изучения памятников древней письменности, преимущественно деловой, актовой.

Литература

Булахов 1976 – Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. Минск, 1976. Т. 1.

Германович 1985 – Германович І.К. Гарбачэўскі М.І. // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Т. 2. Мінск, 1985.

Горбачевский 1874 – Горбачевский Н. Словарь древнего актового языка Северо-западного края и Царства Польского. Составлен архивариусом Центрального архива древних актовых книг губерний: Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской, членом Виленской археографической комиссии Н. Горбачевским, издан иждевением Виленского учебного округа. Вильна, 1874.

ГСБМ 1982 – Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 1. Мінск, 1982.

Родосский 1907 – Родосский А.С. Биографический словарь студентов XXVIII курсов С.-Петербургской духовной академии (к 100-летию С.-Петербургской духовной академии). Санкт-Петербург, 1907.

Спрогис 1880 – Спрогис И.Я. Никита Иванович Горбачевский (некролог) // Литовские епархиальные ведомости, 1880, № 46.

Толкачева (Щавинская) 1991 – Никита Иванович Горбачевский / Сост. Л.Л. Толкачева (Щавинская). Минск, 1991.

Турцевич 1906 – Турцевич А.О. Краткий исторический очерк Виленской комиссии для разбора и издания древних актов. 1864–1906. Вильна, 1906.

[2] Дефиниции старобелорусских терминов см. в новейшем многотомном издании: ГСБМ 1982 (издание продолжается), а также в ряде работ историков, в том числе и литовских, например, в публикации известных литовских археографов В. Рауделюнаса и А. Балюлиса: LVTS 1988, 517–602.

Улащик 1973 – Улащик Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. Москва, 1973.
Чтения 1864 – Чтения в Обществе истории и древностей российских. Кн. 2. Москва, 1864.
Щавинская 1994 – Щавинская Л.Л. Н.И. Горбачевский – исследователь белорусской, литовской, русской и украинской старины // Ученые записки Смоленского гуманитарного университета. Смоленск, 1994. Т. 1.
Щавинская 2004 – Щавинская Л.Л. Археограф Никита Иванович Горбачевский // Книга и мировая цивилизация. Материалы XI Международной научной конференции по проблемам книговедения. Т. 2. Москва, 2004.
Щавинская 2005 – Щавинская Л.Л. Никита Иванович Горбачевский // Беларускі археаграфічны штагоднік. Вып. 5. Мінск, 2005.
Юбилейная записка 1914 – Пятидесятилетие Виленской комиссии для разбора и издания древних актов 1864-1914. Юбилейная записка. Вильна, 1914.
Grimsted 1981 – Grimsted P.K. Archives and Manuscript Repositories in the URSS: Estonia, Lithuania, and Belorussia. Princeton, 1981.
LVTS – Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimai (1583–1655) / Parengė V. Raudeliūnas, A. Baliulis. Vilnius, 1988.
Mienicki 1925 – Mienicki R. Wileńska Komisja Archeograficzna. 1864–1915. Wilno, 1925.

О языке Апокрисиса Христофора Филалета (на материале «произвольников»)

Е. Целунова (Прага)

Апокрисис Христофора Филалета – одно из самых ярких и известных произведений полемической литературы конца XVI – начала XVII в., посвященных Брестской унии 1596 года. Эта книга вышла в двух языковых версиях: на польском языке и на «простой мове». Сначала эта книга была опубликована на польском языке: «APOKRICIC abo odpowiedź na xiążki o synodzie brzeskim imieniem ludzi starożytney religiey greckiey przez Christophora Philaleta w porywczą dana» (Острог, 1597 г.). Спустя некоторое время (предположительно – в 1598 или 1599 г.) вышел перевод этой книги на «русский» язык: «**Ѧпокрисис албо отповѣдь на книжкы о съборѣ берестеиском именем людіи старожитнои релѣи греческои через христофора ѳилялета врихлѣ дана**». Оба текста были в 1882 г. полностью опубликованы в 7-ом томе Русской исторической библиотеки (см.: РИБ 1882), ранее – в 1870 г. – вышел перевод этой книги на современный русский язык (см.: Апокрисис 1870). Нам известен старопечатный экземпляр «русского» текста этой книги в составе собрания Отдела редкой книги Научной библиотеки Вильнюсского университета (шифр: Rk 252; этот экземпляр дефектный, в нем недостает титульного листа, последних листов в 16 и 23 тетрадях, целой 24 тетради).

Этому произведению посвящена богатая исследовательская литература, рассматривающая его в контексте религиозно-политической борьбы конца XVI в., а также затрагивающая вопросы авторства, времени и места издания обоих текстов (см.: Голубев 1876; Скабаланович 1873; Максимович 1871; Завитневич 1883). Что касается авторства, то принято думать, что под псевдонимом Христофор Филалет скрывается Мартин Броневский, имевший титул королевского секретаря (см.: Махновець 1960, 222). О переводчике же польского текста на «просту мову» почти никто не упоминает, по предположению С. Голубева, им мог быть человек, скрывавшийся под псевдонимом Клирик Острожский (см.: Голубев 1876, 153),

хотя этот псевдоним до сих пор не удалось разгадать (см.: Маховець 1960, 434–436).

Хотя Апокрисис Христофора Филалета не обижен вниманием исследователей, язык его перевода специальному исследованию не подвергался, что само по себе и не удивительно, т. к. будучи переводом с польского языка, «русский» текст Апокрисиса насыщен полонизмами и напоминает кириллическую транслитерацию польского текста. Видимо поэтому Мелетий Смотрицкий в своей «Апологии путешествия в восточные края», написанной в 1628 г. и направленной на детальную критику ошибок и ересей в трудах Стефана Зизания и Христофора Филалета, обвиняет последнего в недостаточном знании «русского» языка (см.: Смотрицкий 1863, 112). Интересно отметить, что Мелетий Смотрицкий одно время считался автором «Апокрисиса».

Вот небольшой фрагмент обоих текстов: польского и «русского» (оба текста приводятся по изданию: РИБ 1882, 1437–1438):

Co się tycze świadectwa, ktore dziejopis z Teodorita przywodzi, mogłbym pewnie świadkowi temu przyganić, wiedząc, że ten Teodoritus był głownym nieprzyjacielem Cyrilla ś., y z Nestoriuszem heretykiem trzymał y dla tego na Konstantynopolskim concilium iest potępiony, y choć potym na Chalcedońskie concilium, Marciana cesarza przychylnością vbeśpieczony, był przyiechał, iednak gdy wszedł tam na to mieysce, gdzie się synod odprawował ...	***што ся тычетъ свѣдоцтва, которое дѣеписъ зъ Феодорита приводитъ, моглъ бымъ певне свѣдкови тому приганити, вѣдаючи, же той Феодоритъ былъ головнымъ непрiятелемъ Кирила святого, и зъ Несторiемъ еретикомъ держалъ, и для того на Константинополскомъ соборѣ естъ потопленый, и хотяжъ потомъ на Халкидонскiй соборъ, Мартiана цесара прихилностью убеспеченый, былъ прiѣхалъ, однакъ кгды вшолъ тамъ на тое мѣсце, гдѣ ся синодъ отправовалъ.ся синодъ отправовалъ.....***

Этот небольшой фрагмент достаточно наглядно демонстрирует основные языковые «установки» переводчика: в области глагольных форм – инфинитив на ***-ти*** (*przyganić* – ***приганити***), «русские» формы 3 л. ед. и мн.ч. настоящего времени на ***-тъ*** (*tycze* – ***тычетъ***, *przywodzi* – ***приводитъ***), польские формы прошедших времен и сослагательного наклонения (*mogłbym* – ***моглъ бымъ***, *był przyiechał* – ***былъ прiѣхалъ***), причастия наст. времени на ***-учи/-ючи*** (*wiedząc* – ***вѣдаючи***); в области прилагательных – «полные» формы в Им. пад. (*ktore* – ***которое***, *vbeśpieczony* – ***убеспеченый***); в области существительных – полонизированные падежные формы (*świadkowi* – ***свѣдкови***); в области фонетики – полногласие (*ktore* – ***которое***, *głownym* – ***головнымъ, соборѣ***), в области же лексики переводчик сохраняет большое количество полонизмов (***свѣдоцтва, певне, прихилностью*** и др.), однако латинские слова польского текста переводит (*concilium* – ***соборъ***) или приводит их в «русском» звучании (*Teodoritus* – ***Феодоритъ***). Более детальный анализ этого произведения позволяет выде-

лить и другие «нормативные» для его грамматической структуры морфологические показатели: форма 1 л. мн.ч. настоящего времени на ***–мо*** (***беремо, почнемо, не отдаваемо***), полонизированные формы прошедшего времени во всех лицах (***мыслилемъ, волялесь, ожидалисмы***), форма сложного будущего времени с глаголом ***быти*** (***чинити будемо, застановлятися будемо***) и др. Таким образом, полонизация в этом памятнике охватывает не только его лексику, но в определенной степени и морфологию. В то же время некоторые «нормативные» для этого произведения не польские морфологические формы были хорошо известны и другим произведениям на «простой мове» – как «старобелорусского», так и «староукраинского» происхождения. Это, например, инфинитив на *-ти*, формы 3 л. ед. и мн.ч. наст. времени глаголов на *-тъ* или причастия настоящего времени на *-учи/-ючи* (см.: Карский 1962; Журавский 1967; Житецкий 1889; Целунова 1988).

Характерной особенностью «русского» текста Апокрисиса, отличающего его от других текстов подобного содержания на «простой мове», являются так называемые «произвольники» – т. е. глоссы, поясняющие определенные слова основного текста. Отдельные словарные примечания к тексту встречаются уже в древнейших славянских рукописях; эти толкования послужили одним из источников древних словарей-ономастиконов, в которых, однако, толковались прежде всего еврейские слова и греческие имена собственные и нарицательные (см.: Ковтун 1963, 10–154). Позднее появляются «произвольники» – варианты перевода отдельных слов. Для полемических произведений, написанных на «простой мове», такого рода «произвольники» в целом не характерны. Глоссы–толковники встретились нам лишь в некоторых произведениях, причем, за исключением «Палинодии» Захария Копыстенского, их количество в этих текстах незначительно (4–5 «толкований» на весь текст; см.: РИБ IV, 1; VII,2; XIX, 3). Поскольку, как уже отмечалось, перевод Апокрисиса с польского языка на «просту мову» сильно полонизирован (в том числе – в области лексики), наличие «толкования» отдельных слов переведенного текста может представлять большой интерес для лингвистов, т. к. поможет понять механизм трансформации польского текста в «русский». Выяснив, какие слова переведенного с польского языка текста на «простой мове» могли, с позиции его современника, остаться непонятными читателю и нуждались в специальном толковании, мы могли бы, во-первых, попытаться заглянуть в «творческую лабораторию» переводчиков с польского языка на «просту мову» (ведь «произвольники» – это своего рода толковые или двуязычные словари того времени) и, во-вторых, определить тот круг сильно полонизированной лексики, который мог остаться современникам непонятным. Последнее обстоятельство нам кажется очень важным, поскольку с позиции современного читателя многие тексты на «простой мове» (особенно – переведенные с польского языка) кажутся непонятными именно из-за большого количества лексических полонизмов.

Ниже приводим полный список «произвольников» по старопечатному тексту Апокрисиса, хранящемуся в Отделе редкой книги Библиотеки Вильнюсского университета (в нескольких случаях в старопечатном тексте из-за его дефектности отсутствуют глоссы, в таких случаях глоссы приводятся по изданному тексту в РИБ, о чем делается пометка; начиная с 24 листа наблюдается расхождение в нумерации листов – в РИБ всегда на 1 лист больше); польские соответствия приводятся по переизданному тексту в РИБ.

«Русский» текст	Глосса, лист	Польский текст
1. **отповѣдь**	**отвѣтъ** (1)	odpowiedź
2. **релѣи**	**набоженства** (1)	religiey
3. **христофора**	**христоносца** (1)	Christophora
4. **филялета**	**истинколюбца** (1)	Philaleta
5. **писанием**	**всими писмы** (1об.)	pismem
6. **авторъ**	**творца** (2)	author
7. **пожертыхъ**	**поглощенных** (2)	pożartych
8. **срѡдковъ**	**способов** (2)	srzodkow
9. **релѣи**	**набоженства** (2)	religiey
10. **сентенцію**	**ꙁданье** (2об.)	sentencyą
11. **фаворѡвъ**	**прихильностій** (2об.)	faworow
12. **валкы**	**воины** (2об.)	walki
13. **васни**	**гнѣвоу** (3)	waśni
14. **оуразꙁѡвъ**	**ꙗꙁвъ** (3об.)	vrazow
15. **унѣю**	**ꙁгоду** (РИБ, 4)	vnią
16. **афектовъ**	**порушеня** (РИБ, 4)	affektow
17. **триумфу**	**ликованя** (РИБ, 4об.)	triumfu
18. **трактату**	**постановене** (РИБ, 4)	traktaty
19. **оказію**	**поводъ** (РИБ, 4об.)	okazyą
20. **пропоꙁиціе**	**прекладане** (5)	propozycyę
21. **квестіи**	**вопросовъ** (5об.)	questiy
22. **шкриптъ**	**писмо** (5об.)	szkrypt
23. **мѣшанинъ**	**ꙁамѣшокъ** (5об.)	mieszanin
24. **трактоуетсѧ**	**становитсѧ** (6)	traktuie się
25. **сентенціи**	**ꙁданѧ іли вырокы** (6об.)	sentencye
26. **фантаꙁіи**	**доумѣ** (7)	fantazyiey
27. **инстрȣментомъ**	**начинемъ** (8)	instrumentem
28. **шкріптъ**	**писмо** (8)	szkrypt
29. **протестацію**	**оповѣдане** (8об.)	protestacyą
30. **протестацые**	**оповѣдане** (10)	protestacyę
31. **шкріптъ**	**списъ** (11)	szkrypt
32. **оріенталной**	**восточной** (11)	Oryentalney
33. (**беꙁ**) **респонсȣ**	**ѡтвѣтоу** (11об.)	responsow
34. **приватное**	**потаемное** (13)	prywatne

http://www.bibliorossica.com

35. деклѧровали	ѡбюснили (13)	deklarowali
36. конклюꙁіе	ꙁавартьѧ (13)	konkluziy
37. инстроукціа	наоука (15об.)	instrukcya
38. шкриптъ	писмо(19)	
39. вылоупит	выклюетъ (22)	wylęże
40. енералной	головной (22об.)	generalney
41. пактъ	постановенѧ (22об.)	pakt
42. конвокаціа	ꙁє̆ꙁдъ (24об.)	conuocatia
43. в конфирмаціи	в потверженю (25об.)	w konfirmacyey
44. листъ	то привилей латинскими словы (РИБ, 29об.)	list
45. екстракты	выписы (34)	extrakty
46. процесомъ	постꙋпком (34об.)	processom
47. посесорове	державцы (36)	possessorowie
48. въ шкриптѣ	въ писмѣ (РИБ, 38об.)	w szkrypcie
49. сакраментовъ	свѧтостій (40об.)	sakramentow
50. на креденсъ	на вѣрене (40об.)	na credens
51. деклѧроуе	обѧснѧет (41)	deklaruie
52. реиментъ	рѧдъ (41об.)	regiment
53. трактѡваные	становленые (41об.)	traktowane
54. сесій	ꙁасѣданій (43об.)	sessiy
55. инъфероуемѡ	внѡсимо (46)	inferuiemy
56. юлиоушꙋ	оулію (46)	Iuliuszu
57. соукцессоръ	воспріемник (46об.)	sukcessor
58. астрономове	ꙁвѣꙁдочетцы (46об.)	astrologowie
59. елементѡвъ	стихій (47об.)	elementow
60. шкриптꙋ	списоу (49об.)	szkryptu
61. вишью	ꙁѣлѧ на водѣ (50)	wiszu
62. оунѣи	ꙁгоды (57)	vnie
63. апостатами	ꙁмѣнниками (63об.)	apostatami
64. ратрактовати	наꙁад в гꙋбꙋ брати (64)	retraktować
65. въ ареопагу	пляцъ (РИБ, 84об.)	w areopagu
66. выкажены	выкꙋрены (85)	wykadzone
67. гаидоуками	не книгами (85об.)	haydukami
68. оуфоундовано	основано (91)	vfundowane
69. докторѡвъ	ѡтцевъ (91)	doktorow
70. о апелѧціахъ	о ѡтꙁовехъ (91об.)	o appellacyach
71. ꙁданьѧ	раꙁоуменѧ (99)	zdania
72. у ꙁвѡдехъ	орінналех (101)	w originalech
73. яꙁыкомъ	народомъ (РИБ, 104)	narodow
74. ораціах	словах (105)	oracyach
75. доктора	оучителѧ (106)	doktora
76. филѧрехъ	столпехъ (108)	filarach

http://www.bibliorossica.com

77. **фоундаторъ**	**надавца** (108об.)	fundator
78. **квестіи**	**вопросы** (112)	questie
79. **переслѣдоване**	**гоненіе** (114)	prześladowanie
80. **на тронѣ**	**на столици** (127об.)	na tronie
81. **во италіи**	**во влошех** (132)	w ziemi Włoskiey
82. **причинѣ**	**оказіи** (РИБ, 137об.)	okkazyey
83. **догмы**	**мандату** (РИБ, 141об.)	mandatu
84. **ꙁ догмы**	**волею** (143)	z zdania
85. **повшехного**	**вселенского** (144)	powszechnego
86. **окцидентальными**	**ꙁападными** (148об.)	Okcydentalnymi
87. **у авторовъ**	**творцов** (150об.)	v autorow
88. **рекгоуламъ**	**правленіам** (151)	regułam
89. **дороꙁꙋменьѧ**	**домышлѧна** (153)	koniektury
90. **кацѣрством**	**еретицтвом** (165об.)	kacerstwem
91. **жерела**	**источника** (170об.)	źrodła
92. **боуллы**	**печати дх҃овные або листы** (170об.)	buły
93. **канѡниꙁацiи**	**вписане в календаръ** (170об.)	kanonizacye
94. **до боул**	**печатей дх҃овных** (171)	do buł
95. **кграцiи**	**ласки** (171)	graciy
96. **ꙁа боуллу**	**боулла печати або листы папеские** (171об.)	za bułłę
97. **по канониꙁацію**	**канониꙁаціа есть принѧте ꙁа ст҃го в календар** (171об.)	kanonizacyą
98. **камень**	**опока** (172об.)	opoka
99. **електорми**	**іꙁбиратели** (173об.)	elektormi
100. **лѣпотна**	**надобна** (177)	vdatna
101. **рекгоулъ**	**чиновъ албо правленіꙗ** (179об.)	reguł
102. **ликги**	**ꙁедночена** (180)	ligi
103. **вашего**	**своего** (184об.)	-
104. **комментарiи**	**ꙁводѣ** (187)	-
105. **отоꙁватисѧ**	**аппеловати** (187об.)	appellować
106. **кондицiи**	**обѣтници або годности** (191об.)	kondycyey
107. **аннаты**	**роковины** (194)	annaty
108. **в криминалех**	**в крывавых речах** (194)	w kryminalnych
109. **интенцію**	**предсѧвꙁѧте** (201)	intencyą
110. **акцесiи**	**прибыткꙋ** (202об.)	akcessyey
111. **инстанцiами**	**попиранѧми** (204)	instancyami
112. **ексцесахъ**	**выстꙋпках** (205)	excessow
113. **сѧ реꙁолвоуе**	**роꙁважет** (205об.)	rezołwuie
114. **аппараты**	**оуберы** (206об.)	apparaty
115. **анкгарiи**	**оутиски** (207)	angaryey
116. **периодꙋ**	**пꙋнктови** (210об.)	punktowi
117. **на прономiи**	**бенефиціа** (211)	na beneficyą

118. **ꙁа оказіею**	**поводом** (212об.)	za okazyą
119. **секвеллѧ**	**послѣдȣющее** (215)	sequellą
120. **гомооусионъ**	**подобосȣщное** (217об.)	homouzyon
121. **пакта**	**постановенѧ** (218об.)	в РИБ нет двух листов польского текста

Итак, в АХФ засвидетельствована в общей сложности 121 глосса (как уже отмечалось, учитывались лишь глоссы–«толковники»; глоссы-пояснения и глоссы, отсылающие к другим книгам, нами не учитывались). Внимания заслуживают следующие моменты:

1. 13 глоссируемых слов повторяются несколько раз; это: ***авторъ*** (2), ***боулла*** (2), ***декларовати*** (2), ***догма*** (2), ***докторъ*** (2), ***канониꙁація*** (2), ***квестіа*** (2), ***релѣя*** (2); ***окаꙁіа*** (2), ***протестаціа*** (2), ***рекгоула*** (2), ***сентенціа*** (2), ***шкріптъ*** (5),

2. В подавляющем большинстве случаев (в 102!) глоссируются те слова текста АХФ, которые буквально соответствуют польскому тексту. В 9 случаях – наоборот – польскому тексту соответствует не текст АХФ, а глосса к нему. В 4 случаях ни глоссируемый текст, ни сама глосса с польским текстом никак не связаны. И лишь в 6 случаях как текст, так и глосса не зависят от польского текста, т. е. мы имеем дело с переводом: ***вылоупитъ – выклюетъ*** (*wylęże*), ***астрономове – ꙁвѣꙁдочетцы*** (*astrologowie*), ***ꙁ догмы – волею*** (*z zdania*), ***жерела – источника*** (*źrodła*), ***дороꙁȣменьа – домышлана*** (*koniektury*), ***лѣпотна – надобна*** (*vdatna*).

3. Почти все глоссируемые слова мы нашли в Словаре польского языка XVI в. (SP 16, 1–23) или же – поскольку издание этого Словаря еще не закончено – в Словаре старопольского языка (SSP), что свидетельствует о том, что к концу XVI в. они были освоены польским языком.

4. Подавляющее большинство глоссируемых слов текста АХФ являются заимствованиями из латинского (76 – в тексте и 7 – в глоссах) или греческого (10) языков, напр.: ***фаворовъ*** (лат. *favores*), ***окаꙁія*** (лат. *occasio*), ***инстрȣментъ*** (лат. *instrumentum*), ***оріенталный*** (лат. *orientalis*), ***декларовати*** (лат. *declarare*), ***пактъ*** (лат. *pactum*), ***конвокаціа*** (лат. *convocatio*), ***квестіи*** (лат. *quaestio*); заимствования из греческого языка: ***астрономъ, догма*** (2)***, тронъ, периодъ, анкгаріи, гомооусионъ***. В двух случаях переводчик перевел латинизмы польского текста словами греческого происхождения, однако в глоссе «пояснил» их латинизмами: ***периодү – пүнктови*** (*punktowi*)**,** ***догмы – мандатү*** (*mandatu*)**.**

5. Гораздо реже (всего 16 раз) глоссируются слова польского происхождения, при этом в глоссе, как правило, мы находим слова общеславянские или же – реже – церковнославянские, напр.: ***пожертыхъ*** (*pożartych*) – в глоссе ***поглощенныхъ***; ***сродковъ*** (*srzodkow*) – ***способовъ***; ***валкы*** (*walki*) – ***воины***, ***выкажены*** (*wykadzone*) – ***выкүрены***, ***повшехного*** (*powszechnego*) – ***вселенского***. Один раз полонизм «объясняется» словом латинского происхождения: ***ү ꙁводехъ – орінналехъ*** и один раз – словом

греческого происхождения: ***кацерствомъ*** (*kacerstwem*) – ***еретицтвомъ***. В то же время полонизмы достаточно часто встречаются в глоссах, т. е. получается своеобразный парадокс: глоссируемое слово, полностью соответствующее польскому тексту Апокрисиса и известное польским памятникам письменности XVI в. (по данным SP 16), будучи латинского происхождения, «объясняется» в «русском» тексте полонизмом, напр.: ***сентенцiа*** (*sentencya*) – ***ѕданье*** (пол. *zdanie*); ***фаворовъ*** (*faworow*) – ***прихильностiй*** (пол. *przychilność*); ***афектовъ*** (*affektow*) – ***порушеня*** (пол. *poruszenie*); ***трактату*** (*traktaty*) – ***постановене*** (пол. *postanowienie*); ***конклюѕiе*** (*konkluziy*) – ***ѕавартья*** (пол. *zawarcie*); ***фундаторъ*** (*fundator*) – ***надавца*** (пол. *nadawca*).

6. Знаменательно, что очень многие полонизмы, встретившиеся в глоссах, были уже освоены украинским и (или) белорусским языками, поскольку засвидетельствованы не только в исторических словарях этих языков (см.: Тимченко 1930; Носович 1870), но и в словарях современных украинского и белорусского языков, напр.: ***годность*** (пол. *godność*), укр. годность (Тимченко 1930, 542-543); блр. *годнось* (Носович 1870, 116); ***выступекъ*** (пол. *występek*) – есть в укр. (Тимченко 1930, 458) и блр. (Носович 1870, 97) языках.

7. Очень редко (всего 3 раза) глоссируются слова церковнославянского происхождения, это следующие примеры: ***писанiемъ*** – ***всими писмы***, ***языкомъ*** – ***народомъ*** (в пол. тексте *narodow*) и ***лѣпотна*** – ***надобна*** (в пол. тексте *vdatna*).

Таким образом, наблюдения над глоссами в АХФ свидетельствуют о том, что переводчик стремился объяснить прежде всего те слова «русского» текста, которые буквально совпадали со словами польского текста и, являясь заимствованиями (как правило – из латинского языка) могли быть почти одинаково непонятны как «русскому», так и польскому читателю. Это означает, что такого рода глоссы могли бы быть и в польском тексте Апокрисиса.

Это наблюдение заставляет вообще более внимательно отнестись к способу перевода заимствованной лексики в этом памятнике. Следует отметить, что польский текст «Апокрисиса» вообще насыщен заимствованной из латинского языка лексикой. Поскольку польский текст «Апокрисиса» создавался в ответ на работу Петра Скарги о Брестском соборе («Synod Brzeski», Kraków 1597; эта книга вышла и на «русском» языке: «**Описанье и оборона събору ... берестейского**», Вильна 1597), автор «Апокрисиса» в своей «**предмове до чителника**» отмечает, что будет только «**синодовымъ дѣеписцемъ**», а свои доводы будет основывать на церковной истории, при этом будет в основном пользоваться свидетельствовами писателей римской церкви, подобно тому, как Скарга приводил больше свидетельств писателей греческой церкви (см.: РИБ VII, 1020). Далее автор пишет: «**Съ тоижъ причины, же римяниновн ся отписуетъ, часть словъ въ церквахъ нашыхъ Грецескыхъ мнѣи ѕвычайныхъ, а**

толко римской вѣры людемъ приꙁвоитыхъ, фолкгуючи (т. е. помогая) **вырозумѣнью людскому, уживаемо, яко: егда ꙁовемо владыки – бискупами, соборы – концилiами, церковъ – костеломъ, и прочаа**…» (в польском тексте: «Z teyże przyczyny, że Rzymianinowi się odpisuie, często słow w cerkwiach naszych Greckich mniey zwyczaynych, a tylko Rzymskiey wiary ludziom przyzwoitych, folguiąc wyrozumieniu ludzkiemu, vżywamy, jako: gdy zowiemy władyki – biskupami, sobory – concyliami, cerkiew – kościołem etc.» (РИБ VII 1019, 1020)). Автор польского текста и – как видим – вслед за ним переводчик этого текста на «русский» язык отмечают сознательную установку на использование лексики, свойственной католическим писателям – т. е. латинизмов – с целью сделать этот текст более понятным читателям «римского» вероисповедания. Эта лексика в польском тексте «Апокрисиса», таким образом, является стилистически маркированной.

В то же время оказывается, что заимствованная (чаще всего – из латинского языка) лексика является чуть ли не единственным пластом лексики польского текста Апокрисиса, которую переводчик этого текста на «русский» язык стремился переводить. Так, в «русском» тексте АХФ мы находим переведенными многие латинизмы и грецизмы польского текста, напр.: *kollegami* – ***товаришми*** (РИБ VII, стб. 1040); *iurisdykcye* – ***власти*** (1040, 1050), ***ꙁвирхностью*** (1048); *responsu* – ***отвѣту*** (1014, 1042, 1044); *Oryentalney* – ***Восточной*** (1044); *Occydentalny* – ***Ꙁападный*** (1044); *traktat* – ***становенье*** (1041); *dignitarstw* – ***достоинствъ*** (1052); *protestacyey* – ***освѣдченья*** (1052, 1054), *astrologow* – ***ꙁвѣꙁдочетцевъ*** (1186) и другие. Как видим, некоторые переведенные в тексте слова совпадают с глоссируемыми словами «русского» текста. В то же время в тексте нередко встречаются и непереведенные заимствованные слова, напр.: ***протестацiи*** (1040, 1050); ***на фундаменте*** (1042); ***конфедерацiи*** (1044, 1050); ***декретъ*** (1048); ***опоноватися*** (1062, 1064), ***филяръ*** (1066) и др.

В то же время «русский» текст «Апокрисиса» буквально насыщен непереведенными полонизмами, напр.: ***блюꙁненье, вшетечность, ꙁгола, поквапить, вонтпливость*** (все – РИБ VII, 1016), ***ꙁвлаща, околичность*** (1018), ***ланцуховый*** (1022), ***меновите*** (1028), ***небожчикъ*** (1040), ***ведлугъ*** (1054) и мн. др. Многие из этих полонизмов были характерны и для других произведений на «простой мове» этого периода (см.: Булыка, Казаченко 1997, 123–128); можно их найти и в исторических словарях украинского и белорусского языков (см.: Тимченко 1930; Носович 1870).

Проведенное исследование позволяет, таким образом, заглянуть в творческую лабораторию одного из переводчиков конца XVI в. с польского языка на «русский». Переводной литературе конца XVI–XVII вв. с польского языка на «русский» (или «просту мову») посвящено довольно много исследований, в которых, как правило, отмечается насыщенность этих текстов полонизмами на разных языковых уровнях (от лексики до фонети-

ки). Отмечается также, что некоторые произведения (это – как бы крайний их полюс) напоминают кириллическую транслитерацию польских текстов. К числу таких произведений, казалось бы, можно было бы отнести и «Апокрисис», переводчик которого не утруждал себя поиском восточнославянских (или церковнославянских) эквивалентов для польских слов и грамматических конструкций. Однако то обстоятельство, что определенный пласт лексики польского текста «Апокрисиса» все же довольно последовательно переводился (а в тех случаях, когда в тексте это слово осталось непереведенным, перевод – толкование давался на полях в качестве глоссы), позволяет несколько иначе посмотреть на работу переводчика.

Безусловно, целью переводчика «Апокрисиса» было прежде всего донести содержание польского оригинала книги до тех читателей, которые не умели читать по-польски (предполагаем, что польскую речь в то же время они понимали). Именно поэтому переводчик стремился переводить не польскую, а прежде всего латинскую лексику текста-оригинала. Эта латинская лексика в польском тексте «Апокрисиса» использовалась в стилистических целях – для придания тексту «высокого» стилистического статуса и как свидетельство высокой эрудиции автора, его начитанности в области религиозной литературы. Именно этот маркированный пласт польского текста (как непонятный или малопонятный православному читателю Великого княжества Литовского) стремится переводчик «изъять» из своего перевода на «просту мову», заменяя его более понятной польской или общеславянской лексикой. При этом польская по происхождению лексика могла играть в «русском» тексте ту же роль, что латинская – в польском, т. е. помимо своей понятности придавала тексту более высокий стилистический статус, свидетельствуя об образованности и начитанности автора.

Насыщенность религиозно-полемических текстов на «простой мове» полонизмами, таким образом, можно было бы считать не небрежностью их авторов (или переводчиков), в пылу полемики «забывавших» переводить полонизмы, а своеобразным стилистическим приемом, толчком которому послужило вполне «земное» желание создавать тексты, понятные широкому кругу многонациональных читателей Великого княжества Литовского (или, цитируя автора «Апокрисиса», помогая «**вырозумѣнью людскому**»). Великое княжество Литовское, таким образом, будучи местом пересечения языков и культур, породило своеобразный литературный язык, «простой» и одинаково хорошо понятный людям разных национальностей, проживавших в нем, и в то же время продолжавший литературные традиции Slavia Ortodoxa.

Литература

Апокрисис 1870 – Апокрисис Христофора Филалета в переводе на современный русский язык, с предисловием, приложениями и примечаниями. Издан в память юбилея Киевской духовной академии 28 сент. 1869 г. Киев, 1870.

Булыка, Казаченко 1997 – Булыка А.М., Казаченко Т.М. Лексіка іншамоунага походжання у старабеларускай літаратурна-пісьмовай мове ранняга перыяду // Słowianie Wschodni. Między językiem a kulturą. Kraków, 1997.

Голубев 1876 – Голубев С. Библиографические замечания о некоторых старопечатных церковно-славянских книгах, преимущественно конца XVI и XVII столетий // Труды Киевской духовной академии, 1876, № 1–2.

Житецкий 1889 – Житецкий П. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII вв. Киев, 1889.

Журавский 1967 – Журавский А.И. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Мінск, 1967.

Завитневич 1883 – Завитневич В.З. Палинодия Захария Копыстенского и ее место в истории западно-русской полемики XVI и XVII веков. Варшава, 1883.

Карский 1962 – Карский Е.Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. Москва, 1962.

Ковтун 1963 – Ковтун Л.С. Русская лексикография эпохи средневековья. Москва-Ленинград, 1963.

Максимович 1871 – Максимович М. Биографическое объяснение г. Гильтебрандту // Киевские епархиальные ведомости, 1871, № 15, отдел II.

Махновець 1960 – Махновець Л.Э. Українські письменники. Біо-бібліографічний словник, т. 1. Давня українська література (XI–XVIII ст.ст.). Київ, 1960.

Носович 1870 – Носович И.И. Словарь Бѣлорусскаго нарѣчія. СПб., 1870.

РИБ 1882 – Апокрисис. Сочинение Фристофора Филалета в двух текстах: Польском и западнорусском 1597–1599 года // Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею, Т. VII, ч. 2. Памятники полемической литературы, 1882.

РИБ I–XXXIX – Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею. СПб., 1872–1927.

Скабаланович 1873 – Скабаланович Н. Об Апокрисисе Христофора Филалета. СПб., 1873.

Смотрицкий 1863 – Смотрицкий М. Апология моему странствованию на Восток. Издал И. Мартынов. Leipzig–Paris, 1863.

Тимченко 1930 – Тимченко Е. Історичний словник українського языка. Т. 1. А–Ж. Київ-Харків, 1930.

Целунова 1988 – Целунова Е.А. К вопросу о нормированности юго-западнорусского литературного языка XVI–XVII вв. // Kalbotyra, 39 (2), 1988.

SP 16 – Słownik polszczyzny XVI wieku / red. M.R. Mayenowa i in., t. I–XXX. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1966–2002.

SSP – Słownik staropolski / red. S. Urbańczyk i in., t. I–XI. Kraków, 1953–2003.

О технике перевода с польского на старобелорусский в XVI в. (на материале «Истории о Атыли короли угорском»)

А. Золтан (Будапешт)

При определении лингвистического характера «простой мовы» немаловажное значение имеет ее отношение к польскому языку. По определению Б.А. Успенского, «тексты на „простой мове" могут […] непосредственно коррелировать с соответствующими текстами на польском языке, отличаясь от них лишь по ограниченному набору маркированных признаков» (Успенский 2002, 394). Отношение «простой мовы» к польскому языку напоминает отношение гибридного церковнославянского к русскому языку в XVIII в., охарактеризованное В.М. Живовым следующим образом: «Релевантные для противопоставления языковых кодов признаки функционируют в гибридных текстах не как система средств выражения, мотивированная системой различий в плане содержания, а как десемантизированные элементы, служащие семиотическим индикатором книжного характера текста» (Живов 1996, 110). В настоящей статье я остановлюсь под этим углом зрения на тексте старобелорусской «Истории о Атыли короли угорском» (А.). О разных филологических аспектах этого сочинения я говорил в ноябре 1998 г. на конференции «Мартинас Мажвидас и духовная культура Великого княжества Литовского XVI века» (см. Золтан 1999) и в ряде других выступлений и публикаций (см., напр., Zoltán 1996, 2000, 2001), поэтому напомню только о том, что данное произведение находится в составе так называемого Познанского сборника ок. 1580 г. (рукопись № 94 Библиотеки Рачинских в Познани; см. также издание: Zoltán 2004, 105–211).

Познанский сборник в целом хорошо иллюстрирует тезис о возникновении «простой мовы» на основе делового государственно-канцелярского языка Великого княжества Литовского (ср. Успенский 2002, 391, Целунова 1997–1998, 89; из самой новой литературы предмета см. также Мозер 2002, Verkholantsev 2003, Иванов 2003). По наблюдениям С.Л. Пташицкого, познанская рукопись была переписана тем же канцелярским почер-

http://www.bibliorossica.com

ком, что и некоторые книги Литовской Метрики. По мнению С.Л. Пташицкого «рукопись переписана какимъ-нибудь канцлерскимъ писаремъ (дьякомъ), а Григорий Павловичъ [Униховский, первый владелец рукописи. — А.З.] купилъ её въ одну изъ поѣздокъ по дѣламъ в Вильну» (письмо С.Л. Пташицкого к А.Н. Веселовскому цитируется по: Веселовскій 1888, 130–131). Таким образом, тот же самый писарь виленской великокняжеской канцелярии в рамках своих служебных обязанностей занимался переписыванием деловых документов, и в то же время — наверное, в надежде на дополнительный заработок — составлением занимательных сборников для белорусских шляхетских семей. (В составе сборника — наряду с «Исторыей о Атыли короли угорском» — самые ранние дошедшие до нас списки двух рыцарских романов — «Повесть о Тристане», «Повесть о Бове» — переведенных на старобелорусский с сербского языка, а также так называемая Летопись Рачинского — «Лѣтописецъ великого кнѧзства литовского и жомойтъского», см. Brückner 1886, 358–359, Судник 1976, 698–700; Н.Н. Улащик в: ПСРЛ 35, 11–12; Старавойтава 2004).

Из перечисленных сочинений только «История о Атыли короли угорском» была переведена с польского. За исключением нескольких утраченных страниц в нашем распоряжении имеется и польский текст сочинения, послуживший образцом для старобелорусского перевода (Ц.). В случае сомнений можно обратиться также к латинскому оригиналу произведения (О.). Таким образом, это сочинение доставляет подходящий материал для наблюдений над техникой перевода с польского на старобелорусский литературный язык («простую мову») последней четверти XVI в.

По поводу качества старобелорусского перевода классики славянской филологии высказывались весьма критически. Александр Брюкнер, которому принадлежит первое детальное описание Познанского сборника в целом и «Исторыи о Атыли короли угорском» в частности, и который первым имел возможность сличить старобелорусский текст с польским переводом и с латинским оригиналом, писал о том, что старобелорусский перевод является почти только транскрипцией польского текста (Brückner 1886, 346, 376–377). Вслед за ним А.И. Соболевский говорил уже о том, что это произведение «почти не заслуживает названия перевода. Это просто переписанный русским алфавитом польский текст с небольшими фонетическими и другими изменениями, т. е. с заменою польских носовых русскими *у* и *а*, польского *рж* русским *р* и т. п. Такой перевод годился только для тех, которые знали по-польски, но не умели читать латиницы; он мог быть понятен только тогда, когда читатели могли понимать польский оригинал» (Соболевский 1980, 65). С другой стороны, Ю. Крижановский утверждал, что на основе старобелорусского текста легко восстанавливается блестящая проза Ц. Базилика («Przekład ten, dzieło anonimowego tłumacza, posiada cechy wspólne większości przekładów z polskiego, to znaczy nie tylko roi się od polonizmów, ale wprost ma całe

stronice, na których wystarczyłoby grafikę ruską zastąpić polską, oraz spolszczyć końcówki fleksyjne wyrazów, by otrzymać przepyszną prozę Bazylika» — Krzyżanowski 1926, 153).

Несомненно, что при сличении старобелорусского и польского текстов можно обнаружить довольно большие отрезки, в которых старобелорусский переводчик ограничился «морфонологической транскрипцией» польского текста, считая кириллическую графику самым важным признаком «рускости» создаваемого им текста (ср. Мозер 2002, 253–255). Именно такой фрагмент выбрал в свое время А. Брюкнер для характеристики всего перевода (тексты приводятся в нашей транскрипции, существенные расхождения в чтении А. Брюкнера даются в примечаниях):

А. 175:	Ц. A 7:
(тою пора[ж]кою) люду своего дэтры[к1] и матэрнъ / будучы непомалу засмучоны, мыслили ѡ томъ ꙋ дн҃и и в ночы / ꙗкъ бы ѡную подънѧтую соромоту за[ц]ны[м2] ꙗки[м3] ꙋчы[н]ко[м4] зате[р]/ли. Зобравшы тэды ѡста[т]ки ѡного воОска которыє были / ѡ[т5] пора[ж]ки зо[с]тали, взѧвшы к тому жо[л]неры длѧ бороне[н]ѧ[6] мѣста / зоставленыє и другиє на и[н]шыхъ местцахъ будучыє спра/ви[в]шы и[х] пе[р]ве[и] нижли бы ꙋгрове зъ ѡного ꙋпрацованьѧ попра/вити а покрепи[ть] сѧ могли, ꙋдарыли на ни[х7] в оноО долине та[р]нокъ.	… ludu ſwego Detryk y Matern będąc nie / pomału zaſmęceni, myſlili o thym we / dnie i w noczy iakoby onę podiętą ſro/motę zacnym iakim vczynkiem zatar/li. Zebrawßy tedy oſtatki onego woy/ſka ktore były od porażki zoſtały, wzią/wßj ktemu żołnierze[1] dla bronienia mia/ſta zoſthawione, y drugie na inßych / mieyſcach będące / ſprawiwßj[2] ie pirwey niżliby Węgrowie z onego vpracowa/nia poprawić a pokrzepić ſie mogli, v/derzyli na nie w oney dolinie Tarnok.
А. 223:	Ц. H 7v:
А та[к8] во[д]ле прере/чоного раху[н]ку которoє сѧ до пра[в]ды большеО стосуе коли атылю короле[м9] ѡбрано / в то[т10] часъ єму было се[м]десѧ[т] лѣт и двѣ, ѡ[т]туль сѧ тэды значы[ть] и[ж] ѡ[н] в то[т] часъ / коли ꙋгрове с тата[р]ское зе[м]ли вышли пѧ[ть]десѧ[т11] мѣлъ лѣ[т12] и двѣ, што все єсли въ / ѡ[д]ну ли[ч]бу зложы[ш13] покажеть сѧ же Атылѧ бы[л14] жы[в15] лѣ[т12] сто два[д]ца[ть] и чо/тыры …	A tak wedle przerzecżonego rachunku, / ktore ſie do prawdy więcey ſtoſuie, gdy / Atylę Krolem obrano, w ten czas mu /było ſiedḿdzieſiąt[3] lat y dwie. Stąd ſie / tedy znaczy, iż on w ten czas, gdy Wę/growie s Tatarſkiey ziemie wyßli, pięć/dzieſiąt lat miał y dwie. Co wßytko ie/ſli w iednę liczbę złożyß, pokaże ſie, że A/tyla był żyw lat ſto dwadzieſcia y czte/rzy…
А. 224	Ц. [I 2]
(Ведъже / поневаже[м16] ѧ ничого далеО писа[ти] на то[т10] ча[с17] не ꙋмыслилъ ѡдно до /) сме[р]ти Атылевы, прото хто бы што далеО ѡ справа[х18] ꙋго[р]скихъ / вѣда[ти] хотѣ[л19] неха[и] въ ихъ кроОницэ чытаєть	[ſ]mierći Atylowey, przeto, kthoby czo / daley o ſprawach Węgierſkich wie/dzyeć chciał, niechay w ich /Kronicze cży/ta.
[1] Дэтрыкъ [2] зацнымъ [3] ꙗкимъ [4] ꙋчынкомъ [5] ѡт [6] бороненьѧ [7] нихъ [8] такъ [9] королемъ [10] тотъ [11] пѧтьдесѧть [12] лѣтъ [13] зложышъ [14] былъ [15] жывъ [16] поневажемъ [17] часъ [18] справахъ [19] хотѣлъ	[1] zołnierze [2] sprawiwszy [3] siedḿdzieniąt

Однако, как на это было указано уже в докладе 1998 г., соотношение старобелорусского и польского текстов отнюдь не такое простое, как это следовало бы из цитируемых выше оценок исследователей, а также из приведенного фрагмента, на котором, по-видимому, и были основаны эти оценки (да ведь сам А. Брюкнер заверял своих читателей, что соотношение обоих текстов такое же на протяжении всего произведения, см. Brückner 1886, 377). При ближайшем рассмотрении оказалось, что в старобелорусском тексте обнаруживается целый ряд отступлений от польского образца в области лексики (ср. Золтан 1999, 75–77).

Эти отступления с точки зрения их системности можно разбить на два класса: на регулярные (предсказуемые) и на нерегулярные (непредсказуемые).

К предсказуемым отступлениям от польского образца относятся замены служебных слов:[1]

ведъже (< ø) 174_{12}; 224_{28}; (< wßákże) 176_{7}; 188_{12}; 189_{5}; 197_{6}; 219_{11}; **ведъжэ** 190_{6}; **ве*д*же** 184_{13}; 188_{20}; 196_{24}; 203_{18}; 209_{11}; 210_{9};212_{1}; $214_{1,\ 21}$; $221_{15,\ 25}$

велми (< ø) 174_{19}; 224_{18}; (< bárzo) $177_{12,\ 25}$; $178_{21,\ 22,\ 24,\ 25}$; $179_{23,\ 24}$; $180_{3–4,\ 4}$; 181_{30}; 183_{23}; $186_{12,\ 18,\ 30}$; $188_{14,\ 32}$; 189_{27}; 190_{32}; 192_{12}; $193_{20,\ 23}$; 195_{21}; 196_{33}; 197_{29}; 199_{15}; 201_{35}; 202_{2}; 209_{22}; $213_{7\ (2x)}$; $214_{7,\ 10,\ 11,\ 21}$; 215_{9}; $216_{5,\ 27}$; 217_{6}; (< wielce) 184_{10}; 187_{1}; 189_{17}; 191_{6}; 194_{15}; 210_{10}; (< wielcze) 201_{27}; 208_{22}; (< frodze) 184_{11}; 222_{16}; (< okruthnie) 202_{11}; **ве*ль*ми** (< bárzo) 222_{1}; (< ø) 223_{25}

Такого рода замены характерны также для соотношения церковнославянских и русских форм в XVIII в. (ср. Живов 1996, 102). Вместе с фонетическими и морфологическими изменениями они служат — заимствуя термин В.М. Живова — семиотическим индикатором «руского» (в данном случае — белорусского) характера текста. Но в польско-старобелорусском отношении «признаками рускости» выступают также полнозначные слова. Можно было бы думать, что некоторые польские слова заменяются на старобелорусские потому, что они были неизвестны старобелорусскому языку в данный период. Это, однако, не всегда так.

Польский глагол *wrócić* и производные во всех без исключения случаях заменяются на соответствующие формы глагола *вернути*:

ве*р*неньѧ Gsg (< wroczenia) 176_{8};

---

[1] Формулой 176_{8} и т. п. передается страница и строка Познанской рукописи. В скобках после знака < приводится исходная польская форма в переводе Ц. Базилика 1574 г.; знак < ø обозначает, что польского соответствия нет: оно или пропущено белорусским переводчиком, или — чаще — данный фрагмент старобелорусского перевода падает на недостающие страницы польского издания 1574 г. Факсимиле и транслитерацию обоих текстов см. в издании: Золтан 2004.

ве*р*нуть *v. inf.* (< wroćić) 221$_{19}$;

ве*р*нути сѧ *v. inf.* (< wroćić ſie) 200$_{33}$; 220$_{30}$; **сѧ … ~** (< ſie … wroćić) 188$_{35}$; 221$_{21\text{-}22}$; **сѧ … вернуть** (< ſie … wroćić) 201$_{13}$; **верну*л* сѧ** (< ø) 224$_{16}$; (< wroćił ſie) 184$_{35}$; 221$_{10}$; **ве*р*нулъ сѧ** (< wroćił ſie) 198$_{31}$; 208$_{23}$; 214$_{35}$; **сѧ ве*р*нулъ** (< ſie wroćił) 181$_{10}$; 221$_{23}$; **сѧ … ве*р*нулъ** (< ſie … wroćił) 194$_{6}$; **сѧ … ве*р*ну*л*** (< ſie … wroćił) 221$_{6\text{–}7}$; **вернула сѧ** *f.* 3sg (< wroćiła ſie) 207$_{25}$; **ве*р*нули сѧ** (< wroćili ſie) 175$_{32\text{–}33}$; 176$_{3}$; 180$_{28}$; 185$_{32}$; 206$_{30}$; **ве*р*нули се** (< wroćili ſie) 199$_{2\text{-}3}$; **ве*р*нувшы сѧ** *ger* (< wroćiwßy ſie) 184$_{28}$; 220$_{15}$;

выверну*л* 3sg (< wywroćił) 183$_{25}$; **выве*р*нувшы** *ger.* (< wywroćiwßy) 183$_{1}$; 185$_{10}$;

наве*р*нули 3pl (< nawroćili) 204$_{25}$;

ѡбе*р*нути *v. inf.* (< obroćić) 205$_{14}$; **ѡбе*р*нулъ** 3sg (< obroćił) 196$_{16}$; 213$_{8}$; 221$_{31}$; **ѡбе*р*ните** *imperat.* 2pl (< obroćcie) 205$_{24}$;

ѡбе*р*нуль: сѧ … ~ 3sg (< ſie … obroćił) 183$_{32}$; **ѡберну*в*шы сѧ** *ger.* (< obroćiwßy ſie) 206$_{7}$;

В данном случае нельзя сказать, чтобы этимологически тождественное польскому *wrócić (się)* восточнославянское *воротити (сѧ)* было неизвестно старобелорусскому языку. Как раз наоборот: *воротити (сѧ)* прослеживается на всей восточнославянской языковой территории начиная с XII в. и у нас нет никаких оснований думать, что оно не принадлежит к праславянскому наследству (СДР I, 476–477; СлXI–XVIIвв. 3, 35; ССУМ 1, 197; ГСБМ 4, 190–191), между тем как *вернути (сѧ)* отмечается в восточнославянских языках только с XV в. (см. СлXI–XVIIвв. 2, 91; ССУМ 1, 165; ГСБМ 3, 125). Значит, белорусский переводчик употребляет формы глагола *вернути (сѧ)* отнюдь не из-за необычности соответствующих форм глагола *воротити (сѧ)* в старобелорусском, но вследствие сознательного выбора: из двух равноправных синонимов — *воротити (сѧ)* и *вернути (сѧ)* — он дает предпочтение тому, который совершенно чужд польскому языку. Таким образом, замена *wrócić (się)* > *вернути (сѧ)* имеет не собственно лингвистическое, а скорее чисто семиотическое обоснование — она выступает в качестве «признака рускости».

Можно предположить, что и другие лексемы также выступают в роли подобных семиотических индикаторов. Так, например, формы польского глагола *szukać* при всех употреблениях передаются соответствующими формами глагола *искати* (**иска*ти*** *v. inf.* [< ßukać] 186$_{3}$; **ищут** 3pl [< ßukaią] 187$_{23}$; **иска*л*** 3sg [< ßukał] 192$_{36}$; 210$_{14}$; **искаль** 209$_{32}$; **ищучы** *ger.* [< ßukaiąc] 186$_{28}$; 214$_{27}$), хотя наряду с ним в старобелорусском уже начиная с XV века употреблялся и заимствованный из польского глагол *шукати* (Булыка 1972, 371; ср. ССУМ 2, 566). В данном случае речь идет об избегании польского корня *szuk-* в старобелорусском переводе, так как данный корень или заменяется другим (*oßukániu* > *…глуменю* 178$_{24}$) или оставляется без перевода (*oßukan* > […] 208$_{23}$; *oßukania* > […] 214$_{31}$) также в словоформах и производных глагола *oszukać* ‘обмануть’ несмотря на то, что в дан-

ный период старобелорусским языком уже был усвоен из польского в данном значении и глагол *ошукати* (ср. Булыка 1972, 233–234; ЭСБМ 1, 239–240). Белорусский переводчик избегает употребления также польского глагола *macać* 1. 'щупать', 2. 'нащупывать, (щупая) искать' (ср. SP 13, 1–2). Этот глагол в польском тексте выступает один раз в переносном значении 'искать' и заменяется переводчиком глаголом *искати*, как и в случае синонимического в данном значении *szukać*:

Ц. (E $5_{18–20}$): wßyt/kich do tego drog *macali* y doſwiad/czali, aby niebeſpieczności vydź mogli

А. (201_{27}): всиˣ до того дороᴦ *искали* и досвеᵀчали абы небеᶟпечности ȣОти моᴦли

Когда, однако, польский глагол выступает в своем первичном, конкретном значении 'щупать, ощупывать', белорусский переводчик капитулирует перед задачей и оставляет эти места без перевода:

Ц. (H $6_{17–21}$): Mikolta […] poczęła męża *macać* y budzić. Ktorego ciało, gdy z *macania* poczuła być źimne a bez duße

А. ($222_{8–10}$): Микольта […] почала мужа … и будить Которого тѣло, кгды … почула быᵀᴵ стюденоє а беᶟ душы

Избегаются еще следующие слова (точнее корни):

patrzać ~ patrzyć 'смотреть':

гледите 2pl (< patrzacie) 191_{18}; **на *штом* … гледѣлъ** 1sg (< na com … patrzał) $189_{33–34}$; **гледе*л*** 215_3; **(на што) єсмо … гледѣли** 1pl (< na coſmy wßyſcy patrzali) 196_{21}; **гледели** 3pl (< patrzali) 194_{18}; **гледѣли** 206_{17}; 216_{28}; **гледѣвшы** *ger*. (< patrzawßy) 188_{16};

То же самое наблюдается также в случае префиксальных производных — польский корень *patr-/patrz-* заменяется старобелорусским *глед-/глѧд-* :

загледѣвшы сѧ *ger*. (< zapatrzawßy ſie) 215_8;

прыгле/дишъ 2sg (< przypatrzyß) 219_{11}; **прыгледи*ш*** 196_{33};

сѧ … прыглѧдыва*л* 3sg (< ſie … przypatrował) 216_1;

сѧ … прыгледи*ть* 3sg (< ſie … przypatrzy) 200_5;

ȣглѧдывати *v. inf*. (< vpatrować) 197_{16};

ȣгледевшы *ger*. (< vpatrziwßy) 194_{18};

Колебание наблюдается только в случае польск. *opatrzyć* 'снабдить' и производных, которые уже сильно отошли от значения 'смотреть, видеть' (польский глагол калькирует немецкое *versehen*). В двух случаях и в этом значении наблюдается замена корнем *глед-*:

ѡгледели 3pl (< opatrzyli) 186_9;

ѡгледѣли сѧ были *plusquamperf*. 3pl (< opatrzyli ſie byli) 213_{29}.

http://www.bibliorossica.com

В двух других случаях, однако, заимствуется польский корень в форме *патр-*:

неѡпа/*т*рнех Apl (< nieopatrzne) $186_{28–29}$;
ѡпатруючы *ger.* (< opatruiąc) 195_{18}.

Начиная с 1570-х годов прилагательное *опатрныи* и его производные появляются также в других старобелорусских текстах, несколько позже, с конца XVI — начала XVII века засвидетельствован в старобелорусском также первичный глагол *патрити* с многочисленными производными (см. Булыка 1972, 239). То обстоятельство, что из всех производных этого корня именно *opatrzeć* ‘снабдить’ было заимствовано старобелорусским языком раньше всего, кроме затемнения в нем связи с ‘видением’ объясняется, вероятно, и тем, что возникшее путем калькирования *огледѣти* ‘снабдить’ почти полностью совпало по форме с глаголом *огледати* ‘осматривать’, который в нашем тексте регулярно соответствует польскому *oglądać*:

ѡгледаєте 2pl (< oglądacie) 192_{25}; **ѡгледаючы** *ger.* (< oględuiąc) 214_{27}; **ѡгледа*в*шы** ger. (< oglądawßy) 207_{23};

Корень *глед-/ глѧд-* в старобелорусском стоит не только на месте польск. *gląd-* (ср. еще: **догл*ѧ*дуючы*и*** *part. m.* Nsg < doglądaiący 178_{25}), но часто также на месте польск. *źrz-* (< **zьr-*):

***в*згл*ѧ*де** Lsg (< weźrzeniu) 178_{19};
погледенью Lsg (< weźrzeniu) 180_4;
ȣгл*ѧ*не*ш* 2sg (< weźrzyß) 187_1; **ȣгл*ѧ*не*м*** 1pl (< weźrzymy) 211_9;

В отношении передачи этого корня, однако, встречаются и другие соответствия:

дозрэть *v. inf.* (< doźrzeć) 213_2;
ѡба/чы*ть* 3sg (< vźrzy) $198_{24–25}$;
ȣбачы*л* 3sg (< vźrzał) 201_3;
ȣвиде*л* 3sg (< vźrzał) 215_5;
ȣзра*т* 3pl (< vźrzą) 192_6; **ȣзра*л*** 3sg (< vźrzał) 205_6; **ȣзре*в*шы** *ger.* (< vźrzawßy) 206_{29}.

Наблюдается также тенденция замены форм польского глагола *wołać* ‘кричать’ формами глагола *кликати*:

клика*ти* *v. inf.* (< wołać) 222_{11}; **кликал** 3sg (< wołał) 216_2; **кликали** 3pl (< wołali) 212_{29}.

Отглагольное существительное *wołanie*, однако, передается не всегда производным от *кликати*:

http://www.bibliorossica.com

кликаньє Nsg (< wołanie) 222$_{14}$; **кликан*ѧ*** Gsg (< wołania) 222$_{12}$;
мовеньє Nsg (< wołanie) 192$_{33}$.

В случае префиксальных производных заимствуется уже польский корень:
выволано *impers.* (< wywołano) 185$_{1}$;
ѡбвола*ти* *v. inf.* (< obwołać) 209$_{9}$; **ѡ*б*волать** 183$_{14}$.

Во всем тексте наблюдается более или менее последовательная замена также следующих слов: *бити < tłuc, большъ ~ большеи < więcey, большыи < więtßy, борздо < rychło, видить сѧ < zda ſie* и некоторых других.

К непредсказуемым (нерегулярным) отступлениям от польского текста относятся те лексические новшества старобелорусского текста, которые объясняются стремлением переводчика «улучшить» свой текст посредством введения в него синонимов, взятых из лексических ресурсов того же польского языка, т. е. те случаи, когда при переводе одно польское слово заменяется другим польским же словом. Эти изменения носят скорее всего редакторский характер, при этом белорусский переводчик при своем стремлении к более точной передаче польского текста свободно обращается к синонимическим средствам того же польского языка (см. Золтан 1999, 76).

Все это не означает, что в язык старобелорусского перевода вовсе не попадали элементы собственно белорусской лексики. К таким словам относится, в частности, лексема *бусел* 'аист', которая впервые фиксируется как раз в этом памятнике (см. ГСБМ 2, 259). Это слово известно только белорусским и смежным с ними славянским диалектам (см. ОЛА 1988), 128 и карта № 29). В нашем памятнике оно последовательно заменяет польск. *bocian*:

Ц. (G 5v$_{2–3}$): Bocian na wirzchu niektorey wyſokiey wieże gniazdo miał
А. (215$_{5–6}$): бусе^{л} на верху нѣкоторое высокое вежы гне^{з}до мѣ^{л}

Ц. (G 5v$_{\mathrm{Marg}}$): Wrożka z Bociana
А. (215$_{\mathrm{Marg}}$): Воро^{ж}ка з бусла

Ц. (G 5v$_{14–17}$): Bocian cżuiącz przyßły vpadek, chciał dzyeći ſwe mieć na wolnośći
А. (215$_{12}$): буселъ чуючы пры^{ш}лыО ѹпадо^{к} хотѣлъ дѣти свои мѣть на во^{л}ности

Слово *буселъ* 'аист' по своему распространению можно считать собственно белорусским словом несмотря на то, что его происхождение окончательно не выяснено (см. ЭСБМ 1, 423). В других памятниках старобелорусского языка, в том числе и в Библии Ф. Скорины, употребля-

http://www.bibliorossica.com

лось синонимическое название *ботянъ* (*ботьянъ, боциянъ, боцянъ*, ГСБМ 2, 169), совпадающее с польским названием данной птицы. Также по свидетельству П. Беринды (1621), эти слова были синонимами в «простой мове» (ср.: **Сико́ні́а: Бу̑селъ а҃ боцıанъ**, Німчук 1961, 231). Не исключено, таким образом, что переводчик «Исторыи о Атыли короли угорском» при употреблении этого слова руководствовался теми же соображениями, что и в случае приведенных выше других «семиотических индикаторов», призванных демонстрировать «рускость» создаваемого им текста.

Литература

А. — **Исторыıа ѡ Атыли короли ȣгоръскомъ** // Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Rękopis nr 94.

Булыка 1972 — Булыка А.М. Даўнія запазычанні беларускай мовы. Мінск, 1972.

Веселовскій 1888 — Веселовскій А.Н. Изъ исторіи романа и повѣсти. Санктъ-Петербургъ, 1888. (= Сборникъ Отдѣленія русскаго языка и словесности, т. 44, № 3).

ГСБМ — Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 1–. Мінск, 1982–. (Издание продолжается)

Живов 1996 — Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. Москва, 1966.

Золтан 1999 — Золтан А. Венгерский вклад в книжную культуру Великого княжества Литовского эпохи ренессанса: *Athila* М. Олаха в польском и старобелорусском переводе // Мартинас Мажвидас и духовная культура Великого княжества Литовского XVI века / Ред. кол.: Ю. Будрайтис, С. Жукас, Д. Куолис, Ю. Лабынцев, В. Топоров, Л. Щавинская. Вильнюс–Москва, 1999.

Иванов 2003 — Иванов Вяч.Вс. Славянские диалекты в соотношении с другими языками Великого княжества Литовского // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов, Любляна, 2003 г. Доклады российской делегации. Москва, 2003.

Мозер 2002 — Мозер М. Что такое «простая мова»? // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. T. 47, Budapest, 2002.

Німчук 1961 — Лексикон словенороський Памви Беринди. Надрук. з вид. 1627 р. фотомехан. способом / Підгот. тексту і вступ. стаття В.В. Німчука. Київ, 1961.

O. — Nicolaus Olahus, Athila. // Nicolaus Olahus, Hungaria — Athila. Ediderunt Colomannus Eperjessy et Ladislaus Juhász. Budapest, 1938. (= Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum Iosepho Fógel Moderante. Redigit Ladislaus Juhász, Saeculum XVI)

ОЛА 1988 — Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 1: Животный мир. Москва, 1988.

ПСРЛ 35 — Летописи белорусско-литовские / Составитель и редактор тома Н.Н. Улащик. Москва, 1980. (= Полное собрание русских летописей, т. 35)

СДР — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / Главный редактор Р.И. Аванесов. Т. I–. Москва 1988–. (Издание продолжается)

СлXI–XVIIвв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–, Москва, 1975–. (Издание продолжается)

Соболевский 1980 — Соболевский А.И. История русского литературного языка / Издание подготовил А.А. Алексеев. Ленинград, 1980.

ССУМ — Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. Том 1–2. Київ, 1977–1978.

Старавойтава 2004 — Старавойтава Н.П. Беларуская перакладная аповесць эпохі Адраджэння (тэксталогія і стыль перакладу). Аўтарэферат дысертацыі [...] кандыдата філалагічных навук. Мінск, 2004.

Судник 1976 — Судник Т.М. «Повесть о Трыщане» в познанском сборнике XVI в. // Легенда о Тристане и Изольде / Издание подготовил А.Д. Михайлов. Москва, 1976. (= Литературные памятники)

Успенский 2002 — Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Изд. 3-е, испр. и доп. Москва, 2002.

Ц. — Historia spraw Atyle Krolá Węgier-//ſkiego. Z Łacińſkiego ięzyká na Polſki przełożoná przez Cyprianá Bázyliká. [На последней странице:] W Krákowie // Drukował Máciey Wirzbiętá // *Typograph* Je° K. M. Ro-//ku Páńſkiego, // 1574.

Целунова 1997–1998 — Целунова Е.А. Культурная и языковая ситуация Великого княжества Литовского // Annali dell'Istituto universitario Orientale di Napoli (AION), Slavistica 5, Napoli, 1997–1998.

ЭСБМ — Этымалагічны слоўнік беларускай мовы 1–. Мінск 1978–. (Издание продолжается)

Brückner 1886 — Brückner A. Ein weissrussischer Codex miscellaneus der Gräflich-Raczyński'schen Bibliothek in Posen // Archiv für slavische Philologie, Bd. 9, 1886.

Krzyżanowski 1926 — Krzyżanowski J. Romans pseudohistoryczny w Polsce wieku XVI. Kraków, 1926. (= Prace Historyczno-Literackie 25)

SP — Słownik polszczyzny XVI wieku I–. Wrocław etc., 1966–. (Издание продолжается)

Verkholantsev 2003 — Verkholantsev J. A Fifteenth-Century Ruthenian Translation of the Song of Songs from Czech // Slavia, 72, Praha, 2003.

Zoltán 1996 — Zoltán A. Z węgiersko-polsko-białoruskich związków kulturalnych („Athila" M. Oláha w przekładzie polskim i białoruskim) // Acta Polono-Ruthenica I. Olsztyn, 1996.

Zoltán 2000 — Zoltán A. К изучению старобелорусской *Истории о Атыли* (О существующих изданиях текста) // Studia Russica, XVIII, Budapest, 2000.

Zoltán 2001 — Zoltán A. Rekonstrukcja zaginionych fragmentów Bazylikowego przekładu *Athili* M. Oláha (1574) // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. T. 46, Budapest, 2001.

Zoltán 2004 — Zoltán A. Oláh Miklós *Athila* című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása — Золтан А., «Athila» М. Олаха в польском и белорусском переводах XVI века. Nyíregyháza, 2004. (= Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 6)

О бытовании древнеболгарского Супрасльского сборника в Великом княжестве Литовском в XV–XVI веках

С.Ю. Темчин (Вильнюс)

Кириллический Супрасльский сборник является самым объемным из дошедших до нас древнеболгарских кодексов XI в. и представляет собой мартовскую четью минею (агиографические произведения, положенные на 4–31 марта; статьи № 1–25), дополненную фрагментом цветнотриодного торжественника (гомилии на подвижные праздники от Лазаревой субботы по воскресенье Фоминой недели включительно; статьи № 26–45) и еще тремя житиями (их чтение полагается на 4, 7 и 13/18 марта; статьи № 46–48)[1]. Все тексты этой рукописи переведены с греческого[2], но в разное время: во второй (поучительной) части преобладают архаичные кирилло-мефодиевские, а в первой (житийной) – более поздние преславские переводы. Некоторые из кирилло-мефодиевских гомилий прошли дополнительное редактирование с целью приблизить их язык к нормам Преславской литературной школы (Стефова 2003, 778–779).

Сборник, дошедший до нас в списке XI в., составлен, вероятно, в правление болгарского царя Симеона (893–927 гг.) и, согласно предположению, представляет собой один (мартовский) том значительно более объемного триодного четьего сборника, который предназначался для соборно-приходского богослужения Восточной Болгарии и содержал: а) календарные агиографические произведения на большинство дней четырех месяцев – февраля, марта, апреля и мая (до наших дней не сохранился лишь апрельский том); б) гомилии на наиболее важные дни подвижного цикла с 1-ой субботы Великого поста до воскресенья Всех святых включительно[3].

Свое название интересующая нас рукопись получила по православному (в 1614–1839 гг. – униатскому) Супрасльскому Благовещенскому монастырю, основанному в 1498 г. под Белостоком в Подляшье (восточная

Искренне благодарю А.А. Турилова за профессиональные консультации во время написания данной работы.

[1] Последнее издание: Заимов, Капалдо 1982–1983. Общие сведения о памятнике: Стефова 2003. В обширной библиографии, приложенной к этой энциклопедической статье, не указаны работы: Гиндин 1988; Иванова 1992; Панин 1997; Kaszlej 1997; Пуцко 1998; Zawisza 1999.

[2] Однако греческие оригиналы некоторых текстов Супрасльского сборника до сих пор не обнаружены.

[3] Подробнее см.: Темчин 2004б.

часть современной Польши) – на землях Великого княжества Литовского (далее – ВКЛ), принадлежавших православным магнатам Ходкевичам[4]. Кодекс был обнаружен там в 1823 г. профессором Виленского университета М.К. Бобровским[5].

Судьба данной рукописи с XII по начало XIX в. остается во многом неясной. Предварительные предположения на этот счет высказывались еще в конце XIX века (Бобровский 1887, октябрь (ч. 253), 307–308). Современные исследователи, не располагая конкретными данными, предложили несколько версий поступления кодекса в Супрасльский монастырь. А.И. Рогов не сомневался в том, что этому способствовали прочные связи Супрасля с Киево-Печерским монастырем и вообще с Киевом (Рогов 1978, 326). К. Куев считал, что кодекс принесли с собой в Подляшье монахи-выходцы с Афона, населявшие первоначально Супрасльскую обитель (Куев 1986, 196). М. Хайдук предположил иные три возможности, согласно которым кодекс мог поступить в монастырь в качестве дара: а) константинопольского патриарха Иоакима I, который мог послать его в 1505 г. вместе с письменным благословением Александру Ходкевичу, основателю Супрасльского монастыря; б) константинопольского патриарха Иеремии II, который в 1588–1590 гг. посетил Польское королевство и Великое княжество Литовское, в том числе и Супрасльский монастырь; в) неизвестного монаха-пилигрима, прибывшего из какого-нибудь балканского монастыря (Hajduk 1989, 534). А. Миронович, словно уточняя последнюю возможность, предположил, что рукопись была подарена монастырю Гавриилом, патриархом Сербским и Болгарским, в 1582 году (Mironowicz 1989, 539) – одновременно с благословенной грамотой Юрию и Григорию Ходкевичам на право их Супрасльскому архимандриту Тимофею Злобе и всем его преемникам носить митру[6].

Некоторые из этих версий заведомо неверны: опись книг Супрасльского монастыря, составленная архимандритом этой обители Сергием Кимбаром в 1557 г., среди рукописей, приобретенных монастырем еще до вступления Сергия в сан архимандрита (т. е. до 1532 г.), упоминает и пергаменный Супрасльский сборник: «Книг великих в десть соборников 4, а пятый на паркгамене»[7]. Л.Л. Щавинская полагает, что древнеболгарская

---

[4] Об истории обители см.: Модест 1867, кн. 2, 70–81; кн. 3, 83–117; кн. 4, 1–44; кн. 5, 75–104; кн. 6, 121–140; кн. 7, 1–40 (все номера страниц – второй пагинации); Николай (Далматов) 1892.

[5] О его деятельности см. основную литературу (с дальнейшей библиографией): Charkiewicz 1936, 160–161; Иванова 1979, 73–74; Куев 1985, 204–205; Щавинская, Лабынцев 2003, 7 (прим. 7), 92–103, 206–211.

[6] Грамота опубликована: Археографический сборник 1870, 82–83, № 28.

[7] Об отождествлении рукописи см.: Щавинская 1998, 78; ср. также: Щавинская, Лабынцев 1998, 38, 44–45 (прим. 3); Щавинская 1999, 133.

рукопись находилась в монастыре уже с момента его основания в 1498 году (Щавинская 1998, 127, прим. 4).

Современные исследователи обычно упускают из вида тот факт, что в процессе длительного бытования древнеболгарского Супрасльского сборника в его текст вносились дополнительные исправления. Палеографический и филологический анализ показал, что они принадлежат древнерусскому корректору XIII века (Kaszlej 1997, 22). Если данная датировка верна, то в это время кодекс, должно быть, уже функционировал на восточнославянской территории.

Считая, вслед за А.И. Роговым, что Супрасльский сборник попал на Подляшье из Киево-Печерского монастыря и датируя это перемещение временем до перехода Супрасльского монастыря в унию (начало XVII в.), В.Г. Пуцко заключил: «Так или иначе, Супрасльская рукопись оказывается древнейшей славянской книгой, оказавшейся исторически связанной с Беларусью примерно в течение более трех столетий. Сохранились ли ее более поздние списки времени пребывания книги в монастырской библиотеке? Не могла же эта драгоценная рукопись, доставленная в Супрасль, пролежать там, не привлекая к себе внимания» (Пуцко 1998, 34).

Восточнославянские списки с Супрасльского сборника, датируемые второй половиной XV–XVI вв., действительно существуют, проливая тем самым некоторый свет на бытование древнеболгарской рукописи в указанное время:

1) мартовская четья минея с дополнениями, датируемая А.А. Туриловым третьей четвертью XV в. (Санкт-Петербург, Библиотека Российской АН, собр. Текущих поступлений, № 596)[8];

2) аналогичная по содержанию рукопись XVI в. из киевских собраний (Петров 1891, 213–218 (№ 117))[9];

3) сборник слов и поучений Иоанна Златоуста и других отцов церкви (Златоуст постный), датируемый Н.А. Морозовой по филиграням первой четвертью XVI в. (Вильнюс, Библиотека АН Литвы, ф. 19, № 257)[10].

Кроме этих средневековых списков существует еще частично сохранившаяся рукописная копия XIX в. (Вильнюс, Библиотека АН Литвы, ф. 19, № 271)[11], снятая непосредственно с Супрасльского сборника его первооткрывателем М.К. Бобровским[12]. В дальнейшем изложении эта поздняя копия не будет рассматриваться.

[8] Турилов 1986, 207, № 2092 (здесь рукопись датирована втор. пол. XV в.).

[9] Напечатано также в: Чтения 1892, кн. 1, 1–174; кн. 2, 175–240, кн. 3, 241–321.

[10] Добрянский 1882, 422–428 (здесь рукопись датирована XVI в.).

[11] Там же, 461–463 и примечание на с. XXXV Предисловия.

[12] Бобровский 1887, ноябрь (ч. 254), 86; Добрянский 1882, LIV; Щавинская 1998, 67–68.

Санкт-петербургский список не имеет пока печатного описания, но, судя по названию, данному этой рукописи составителями Предварительного списка рукописных книг XV в. (мартовская четья минея с дополнениями), тексты в ней расположены в той же последовательности, что и в Супрасльском сборнике: минейная часть предшествует гомилетической. По мнению А.А. Турилова, данный список несомненно западнорусского происхождения, т. е. создан на территории ВКЛ.

На киевский список уже несколько десятилетий тому назад обратил внимание Р. Айтцетмюллер, установивший на основании опубликованной постатейной росписи, что этот кодекс содержит те же самые тексты, что и Супрасльский сборник, но расположенные в несколько иной последовательности: гомилетическая часть выписана здесь не после, а перед житийной. Отметив, что киевская рукопись: а) демонстрирует среднеболгарскую мену юсов в сочетании с элементами украинского правописания; б) содержит некоторые фрагменты текста, утраченные в древнеболгарском Супрасльском сборнике; в) представляет языковые разночтения, которые не всегда могут быть признаны вторичными, исследователь высказал сожаление о том, что физическое состояние киевского кодекса делает невозможным его полное факсимильное издание, и ограничился публикацией разночтений, а также фрагментов текста, отсутствующих в Супрасльском сборнике (Aitzetmüller 1967–1974).

Р. Айтцетмюллер отметил, что в конце киевского списка находятся пять статей, не имеющих ничего общего с древнеболгарским Супрасльским сборником, но не указал их содержания. Примечательно, что вторая из них, озаглавленная «Предисловие над Псалтырь» (л. 411 об.–416), написана на *западнорусском* наречии (т. е. связана своим происхождением с ВКЛ), а в конце ее значатся имена: «Схария, Фома грек» (Петров 1891, 218). Первая личность отождествляется со Схарией, основателем секты «жидовствующих», приехавшим в 1470 г. в Великий Новгород из Киева[13].

Вильнюсская рукопись № 257 привлекла мое внимание во время работы по исследовательской программе «Церковнославянская письменность Великого княжества Литовского»[14], когда выяснилось, что данный кодекс, поступивший в Виленскую публичную библиотеку из Супрасльского монастыря, содержит (наряду с иными текстами) почти всю гомилетическую часть древнеболгарского Супрасльского сборника. Эта восточнославянская рукопись представляет собой второй том Златоуста постного, содержащий гомилии (иногда более одной на день) с 3-го воскресенья Великого поста по воскресенье Фоминой недели включительно.

Н.А. Морозова, изучившая филиграни данного кодекса, любезно сообщила мне, что три из них идентичны водяным знакам, датируемым:

[13] Подробнее см.: Богуславский 2001, 456–457.

[14] О нем см.: Морозова, Темчин 1997, 7–39, особенно 9–14.

1499 г. (голова быка с крестом, обвитым змеей, и петлей (буквой N) внизу; два варианта, идент. Лихачев 1899, № 1280), 1504–1512 гг. (голова быка с крестом и 7-листным цветком, два варианта, идент. Piccard 1966: ГБ-XI, № 352) и 1512 г. (тиара с крестом, идент. в рук. Библиотеки АН Литвы, ф. 19, № 95, л. 2; голова быка с крестом и 7-листным цветком, идент. в рук. Библиотеки АН Литвы, ф. 19, № 95, л. 427). Верхняя хронологическая граница написания рукописи определяется филигранью, подобной водяному знаку, соотносящемуся с 1510–1525 гг. (голова быка с крестом, обвитым змеей; два варианта, подобен Piccard 1966: ГБ-XVI, № 221). На этом основании кодекс датируется первой четвертью XVI в.

Весь кодекс написан полууставом одного почерка. В описании рукописи Ф.Н. Добрянский привел запись с последнего защитного листа: «помяни мя Господи раба своего Афанасия исписавшаго и сеа другую книгу в честь Пресвятыя Троица, аминь» (Добрянский 1882, 422). Это создало впечатление, что кодекс выполнен автором данной записи: в своем своде белорусских писцов Н.В. Николаев отметил, что книга написана Афанасием в XVI веке в Супрасле (Нікалаеў 1993, 225, № 32).

В действительности ни имя писца этой рукописи, ни место его работы доподлинно неизвестны. На последнем защитном листе находятся четыре записи. Первые две выполнены самим писцом теми же светло-коричневыми чернилами, что и основной текст: **† г҃и і҃с х҃е с҃не б҃жий помилꙋ̑ мѧ̀ грⷷ҇ѣного ѡкоаⷩ҇ного г҃и помилꙋй мѧ̀ аминь** (крупным почерком в две строки); **г҃и помилꙋи ма ѡкаⷨ҇наⷨ҇ сие писаⷡ҇шего имени раⷠ҇ твоеⷢ҇ с҃таго амиⷩ҇** (мелким почерком в одну строку). Ниже расположены еще две записи, выполненные иным почерком темно-коричневыми чернилами: **помаи̇̀ мѧ̀ г҃и раба̀ своѥ́го а̇ѳанасі́а и̇списа́вшаго и̑ сеа̀ кни́ги** [последнее слово смазано] **дрꙋ́гꙋю кни́гоу в чⷭ҇ть прⷭ҇тыа̀ трⷪ҇ца а̇ми́нь** (в две строки); **помани г҃и раба своего** (более крупным почерком в одну строку). Предпоследняя запись сообщает вовсе не о том, что Афанасий написал данную рукопись, как ошибочно думал Ф.Н. Добрянский, не вполне точно прочитавший текст записи, а о том, что Афанасий снял с данного кодекса новую рукописную копию. Не исключено, что автор этой записи тождественен дьяку Супрасльского монастыря Афанасию Селецкому, переписавшему в 1610 г. сборник, хранящийся теперь в Киеве (Центральная научная библиотека Национальной АН Украины, Институт рукописей, Петров), № 219 (37))[15]. Этот дьяк не фигурирует в соответствующем разделе (кон. XVI – нач. XVII в.) списка архимандритов, иноков и всей монастырской братии, содержащегося в рукописном Супрасльском синодике, переписанном в 1631 г. супрасльским священноиноком Стефаном

[15] Упоминание писца: Щавинская 1998, 102, прим. 1.

Коханевичем (Вильнюс, Библиотека АН Литвы, ф. 19, № 89)[16] с более древнего пергаменного оригинала[17].

Можно уверенно утверждать, что анонимный писец вильнюсской рукописи № 257 работал на территории ВКЛ: в трех местах кодекса он оставил киноварные маргиналии-комментарии к переписываемому тексту, представляющие собой вирши-двустишия на *руськой (простой) мове*:

гдѐ х҃с сп҃тль и҆ ц҃ръ на́шъ бываѥ҃,
та҃ мно҃ство а҆ггльскі҃ і҆ а҃хагг҃лскі҃ сѧ во҃ ставаѥ҃ (л. 29)

пригледи҃ з ѧкою пра́цею ру́ды золото҃ добываю҃,
же з вели́ко҃ бедѝ ма́ло и҆ свѣта видають (л. 44)

ради҃ с҃ е҆сли бы вѣрны҃ не стало ву҆чи҃телѐ на зе҃ли,
те́ды ты҃ слуха҃ е҆ще лепѐ которе҃ сутъ на нб҃сѣ (л. 97 об.)

В каком бы месте ВКЛ ни был написан двухтомный Златоуст постный, вторая часть которого представлена вильнюсской рукописью № 257, к 1532 г. он уже находился в Супрасльском монастыре: в описи книг, составленной Сергием Кимбаром в 1557 г., среди рукописей старшей части собрания (сформировавшейся до 1532 г.) числятся «Две книзе Златоустаго, постных»[18], которые можно отождествить с указанным двухтомным сборником. Аналогичный реестр монастырских книг 1645 г. составлен так, что интересующий нас Златоуст отождествить невозможно: его тома, вероятно, входят в число рукописей, скрывающихся за обобщенным определением «Книг Св. Иоанна Златоус. 15»[19]. Следующая опись 1668 г. уже со всей определенностью фиксирует одну лишь вторую половину двухтомного Златоуста постного, хранящуюся теперь в вильнюсском собрании под № 257: «Книга Иоанна Златоустаго о Обретении честнаго креста, починаючи от крестопоклонной недели, аж до Воскресения»[20].

Предпринятое Л.Л. Щавинской исследование динамики состава Супрасльской библиотеки показало, что сокращение числа книг, в том числе кириллических, произошло в период 1645–1668 годов (Щавинская 1998, 99) и обусловлено изнурительными военными действиями, в том числе польско-российскими войнами (там же, 83). Не исключено, что первая

---

[16] См. описание: Добрянский 1882, 179–186.

[17] Этот оригинал, пропавший в начале XX в., частично опубликован, см.: Археографический сборник 1870, 454–459.

[18] Археографический сборник 1870, 54; Добрянский 1882, XXIX; Щавинская 1998, 130; Щавинская 1999, 142.

[19] Археографический сборник 1870, 204; Щавинская 1998, 139.

[20] Археографический сборник 1870, 242; Щавинская 1998, 146.

половина двухтомного Златоуста постного, содержавшая чтения с начала Великого поста (либо подготовительных к нему недель) до субботы 3-ей недели поста включительно и пропавшая из Супрасльского монастыря, вероятно, именно в 1645–1668 гг., когда-нибудь найдется[21].

Постатейное описание вильнюсской рукописи № 257 опубликовано в цитированном каталоге Ф.Н. Добрянского, поэтому здесь ограничимся указанием тех листов рукописи, на которых начинаются гомилии, представленные также в древнеболгарском Супрасльском сборнике:

№ текста в Супрасльском сборнике XI в.	Листы Златоуста постного перв. четв. XVI в., рук. Библиотеки АН Литвы, ф. 19, № 257
26, на Лазареву субботу	л. 138 об.
27, в тот же день	л. 142
28, на Цветоносное воскресенье	л. 150 об.
29, в тот же день	л. 156
30, на Великий понедельник	л. 164
31, в тот же день	отсутствует
32, на Великий вторник	отсутствует
33, в тот же день	л. 186 об.
34, на Великую среду	отсутствует
35, в тот же день	л. 195
36, на Великий четверг	л. 211
37, в тот же день	л. 219
38, на Великую пятницу	л. 221
39, на утреню Великой пятницы	л. 236
40, на Великую субботу	л. 226 (текст иной языковой редакции)
41, на Пасху	л. 254
42, в тот же день	л. 257 об.
43, на понедельник Светлой недели	л. 261
44, на воскресенье Фоминой недели	л. 266
45, в тот же день	л. 271

Как видим, сопоставляемые источники содержат 16 совпадающих статей, не считая одной гомилии, представленной в них в разных языковых редакциях. Столь большой процент совпадения резко отличает вильнюсский кодекс от восточнославянских рукописей аналогичного содержания, учтенных в каталоге Т.В. Черторицкой и демонстрирующих гораздо

[21] Кодекс такого содержания не числится среди источников Каталога гомилий подвижного календарного цикла, составленного Т.В. Черторицкой по рукописям XI–XVI вв. преимущественно восточнославянского происхождения, см.: Čertorickaja 1994.

http://www.bibliorossica.com

меньше подобных совпадений (максимум – пять текстов)[22], что позволяет предполагать особо тесную связь между двумя сравниваемыми сборниками. Проверка показала, что текст вильнюсского кодекса № 257 настолько близко следует древнеболгарскому Супрасльскому сборнику, что не остается ни малейшего сомнения в том, что в совпадающих частях первая рукопись восходит ко второй либо непосредственно, либо через промежуточный список.

Вскоре выяснилось, что этот факт уже давно известен А.А. Турилову, который еще в 1986 г. получил соответствующую информацию от В.Р. Федера, а теперь любезно сообщил мне о существовании вышеупомянутого санкт-петербургского списка. Сейчас нам следует уточнить взаимоотношения древнеболгарского Супрасльского сборника с тремя восходящими к нему восточнославянскими списками: двумя полными (санкт-петербургским и киевским) и одним частичным (вильнюсским).

Каким бы источником ни пользовался составитель вильнюсского Златоуста постного – самим Супрасльским сборником или же восходящим к нему списком – он переписал из него почти все древнеболгарские гомилии (16 из 20-ти). Пропуск трех статей (№ 31, 32, 34) объясняется, вероятно, тем, что составитель Златоуста решил выписать из своего источника лишь по одной гомилии на первые три дня Великой недели (понедельник, вторник и среду), подчеркнув тем самым их меньшую литургическую значимость по сравнению последующими тремя днями, непосредственно предшествующими Пасхе, на которые он выписал все полагающиеся статьи[23]. Гомилию № 40 он не стал переписывать, поскольку располагал другим источником, содержавшим тот же текст в иной, видимо, более привычной для восточнославянского книжника языковой редакции. Все это свидетельствует о том, что: а) составитель вильнюсского Златоуста высоко ценил гомилии Супрасльского сборника XI в., абсолютное большинство которых он включил в свой кодекс; б) переписка древнеболгарских гомилий была связана для него со значительными трудностями (обусловленными необычайной архаичностью их языка и, возможно, орфографии), которые проявились в стремлении книжника избежать воспроизведения четырех статей.

Сопоставление одной гомилии (№ 26) Супрасльского сборника с соответствующим текстом вильнюсского кодекса № 257 и с разночтениями киевского списка, опубликованными Р. Айтцетмюллером, показало, что:

1) обе восточнославянские рукописи восходят к одному источнику, который заметно отличался от Супрасльского сборника в отношении фонетики, лексики, грамматики, синтаксиса и текста:

---

[22] Таков, например, Успенский сборник кон. XII – нач. XIII в., см.: Благова 1966, 77–87.

[23] О различной литургической значимости первой и второй половины Великой (Страстной) недели см.: Темчин 1999, fasc. 1, 118–119.

Супрасльский сборник	Вильнюсский список	Киевский список
303, 4 различъ	разли҃ч/ноу	различнѫ
303, 11 лазара	лазарѧ	лазарѧ
303, 12 а҆ бы бо не молилъ сѧ	аще бы не молилъ сѧ	аще бы не молиль сѧ
303, 30 вꙑше е҆ да	выше егда	выше ег(д)а
304, 3 жидовъ	жидѿ	жидомь
304, 9 лазаровама	лазаревыма	лазаревыма
304, 17 и҆ждеже	идеже	идеже
304, 22 наричеши	наре҃ч ши	наре(ч)ши
304, 28 ѱаниꙗ	писанїѧ	писанїа
305, 4 и҆стеса и҆	нет	fehlt
305, 16 дѣлесꙑ	дѣлы	дѣлы
305, 21 дѣлесꙑ	дѣлы	дѣлы
305, 23 дѣлма	р҃а҃д	ради
306, 1 како не бꙑ невѣдѣниꙗ	како невѣдѣнїе не бы	како невѣ(д)нїе не бы
306, 9 дѣл҃ьма	дѣлѧ	дѣлѧ
306, 18 лазарова	лазарева	лазарева
307, 15 недѫживꙑѩ	недоужливыѧ	недоужливыѧ
307, 18 а҆ ли о҆у҆читеꙸ	и ли оучитель	и ли оуч.
307, 19 трѣбоуꙗ҆ше	требоваше	трѣбовааше
307, 22 ми	нет	fehlt
308, 4 и҆цѣли ми дъштере	исцѣли ми д҆щеръ	исцѣли ми дъщерь
308, 10 си глаголѥтъ ꙗ҆коже вѣдѣ	си г҃лть вѣдѣ	си г҃лть вѣдѣ
308, 16 творитъ	сътвори б҃гъ	сътвори б҃ъ
308, 18 сътворивъ	сътворенїе	сътворенїе
308, 19 хотѣ	хотѧ	хотѧ
308, 22 молитвꙑ . а҆цѣ вь҆сѣхъ	м҃лтвы . ꙗже вс҃ѣ	м҃лтвы ꙗже въсѣхь
308, 27 дѣлма	дѣлѧ	дѣлѧ
309, 12 слꙑшаѥши	слоушаеши	слоушаеши
309, 15 дѣл҃ьма	дѣлѧ	дѣлѧ
309, 18 дѣл҃ьма	дѣлѧ	дѣлѧ
309, 23 дѣл҃ьма	дѣлѧ	дѣлѧ
309, 27 дѣл҃ьма	дѣлѧ	дѣлѧ
309, 28 дѣл҃ьма	дѣлѧ	дѣлѧ
310, 5 о҆ть҆ць҆ о҆ть҆ць	о҃ць (без повтора)	fehlt ein отьць
310, 9 лазара	лазарѧ	лазарѧ
310, 23 дѣл҃ьма	дѣлѧ	дѣлѧ
310, 24 дѣл҃ьма	дѣлѧ	дѣлѧ
311, 4 нарокомъ	нарекѿ	нареко(м)
311, 8 нꙑнѣчоу	н҃нѣ чювь	н҃нѣ чювь
311, 13 ѿ веле чоудеса	ѡле чюдеса	ѡле чюдеса
311, 19 погрибаѭште	погрѣбающе	погрѣбаѫще
311, 27 а҆минъ	нет	fehlt

2) восточнославянские списки не восходят один к другому, так как иногда по-разному передают чтения Супрасльского сборника:

303, 26 сь҆мѣрь҆нѣѥ҆	смиренѣе	съмѣренїе
303, 28 неже молити сѧ	ниже молити сѧ	неже ли м. сѧ
305, 17 ноѥ҆ ꙗ҆ко	но ꙗко	не ꙗко
307, 29 и҆ и҆нъ вѣшта рь҆ци	но и р҆ци	и инь вѣроу ръци (nach вѣроу über der Zeile eingefügt ю)

3) лишь в одном случае вильнюсский список оказывается инновационнее киевского, который точнее передает текст Супрасльского сборника:

309, 19 дѣ́ѥши	нет	дѣеши

4) киевский кодекс, напротив, довольно часто содержит разнообразные инновации по сравнению с вильнюсской рукописью и Супрасльским сборником:

303, 24 бол͡ии прѣдавыи и҆ю҆да христоса	болїи предавыи юда х͠а	болѣи їоуда продавыи х͠а
304, 14 не вѣдѣ сквозѣ породѫ хода	не вѣдѣ сквозѣ породоу хода	fehlt
304, 21 ѥ҆смъ	есмь	есми
304, 24 наричеши	наричеши	наре(ч)ши
304, 27 наричеши	наричеши	наре(ч)ши
305, 2 съконь̓чаваі҆ѫтъ сѧ	скончавают сѧ	скончеваѫтсѧ
305, 8 съконь̓чаваі҆ѫтъ сѧ	скон҆чавают сѧ	скончеваѫтсѧ
306, 4 братъ ти	бра͞т ти	брать твои
306, 6 съконь̓чаваі҆ѫтъ сѧ	скон҆чавают сѧ	скончеваѫтсѧ
307, 6 надъ дѣвицѫ	на͞д дв͠цоу	на дв͠цоу
307, 6 талиѳа коумъі	талиѳа коумы	тавиѳа коумы
307, 17 стѣн͡ь о҆ученикъ въставь̓юше	стѣнь оуч͡никъ въставлѧше	стѣнь оубо ч͡лчь въст.
307, 21 а҆ би былъ	аще бы бы͞	аще бѡ бы быль
308, 18 сь̓	съ	fehlt
308, 29 въводиши	въводиши	въведеши
308, 30 зъла и҆ тъмами	зла и т҆мами	fehlt
309, 30 поусти… поусти (310,1)	поусти… поусти (310,1)	fehlt
310, 7 о҆тьць̓ о҆тьць̓	о͞ць о͞ць	fehlt ein отьць
311, 6 простръвъ . вь̓сѧ и҆же	прострѣвь . всѧ иже	пространь въсѣ(х) иже
311, 15 развръже	раз҆връже	развръзе
311, 24 пришъдъше	приш͡еше	прише(д)ша

Учитывая наличие у обоих восточнославянских списков общего источника и гораздо большую инновационность киевского кодекса по сравнению с вильнюсским, можно утверждать, что инновационными являются даже те варианты киевской рукописи, которые внешне выглядят как архаизмы даже на фоне древнеболгарского Супрасльского сборника:

303, 18 дѣл͡ьма	дѣлѧ	ради
304, 1 дѣл͡ьма	дѣлѧ	ради
304, 3 дѣл͡ьма	дѣлѧ	ради
306, 16 лазарь̓ о҆умрѣ	лазарь оумре	лазарь оуспе
307, 8 трѣбова	трѣбова	трѣбоваше
307, 20 ни нъ немошти дѣлма	но немощи дѣлѧ	нѫ не немощи ради
311, 1 дѣл͡ьма	дѣлѧ	ра(ди)
311, 3 дѣл͡ьма	дѣлѧ	ради
311, 7 дѣль̓ма	дѣлѧ	ради

http://www.bibliorossica.com

Наблюдаемое здесь вторичное введение архаичной (кирилло-мефодиевской) лексемы **ради** вместо преславских по происхождению вариантов **дѣльма** и **дѣлꙗ** вполне аналогично тому процессу, который наблюдается в некоторых восточнославянских списках Евангелия XIII–XIV вв. и назван нами *вырождением второй (преславской) редакции* евангельского текста[24]. Исследование избранной гомилии показывает, что процесс лексической архаизации ее текста наметился уже в том общем источнике, к которому восходят вильнюсский и киевский списки (ср.: 305, 23 **дѣлма** Супр. – **р҃д** Вил., **ради** Киев.) и значительно активизировался во время создания последнего.

Писец киевского списка не только архаизировал лексику, но и ввел в переписываемый текст орфографические и грамматические инновации, характерные для «второго южнославянского влияния» (мену юсов; написание **ъ** на месте древнеболгарского **ѫ**; букву **ѣ** после мягких согласных; **ѫ** в союзе **нѫ** и **ъ** в местоимении **тъ**; дательный падеж вместо родительного притяжания)[25] и создающие иллюзию того, что переписанный текст восходит к среднеболгарскому оригиналу:

304, 12 **сѫпротиви**	**соупротиви**	**съпрот.**
306, 8 **глаголѫштиимъ . како**	**г҃лющимъ како**	**г҃лаща҃имы како**
306, 10 **лазара**	**лазарꙗ**	**лазарѣ**
307, 9 **глаголѫ ȍ оучители**	**г҃лю о оучители**	**г҃лꙗ оучителю**
308, 15 **сѫпротивь**	**соупротив҆**	**съпрот.**
309, 2 **ни ни . ȍно**	**ни ни онѡ** (надстрочная буква приписана позже)	**нѫ ни ѡно**
309, 7 **благодарѫ ти**	**бл҃годарю тꙗ**	**бл҃годарꙗ тꙗ**
309, 8 **словесе**	**словесе**	**слѡвеси**
309, 11 **молитвы**	**м҃лтвы**	**м҃лтвѣ**
309, 12 **благодарѫ ти**	**бл҃годарю тꙗ**	**бл҃годарꙗ тꙗ**
310, 18 **тоже**	**тоже**	**тъ же**

Данное явление полностью укладывается в начавшийся еще в первой трети XV в. процесс переноса восточнославянскими книжниками престижной для них среднеболгарской орфографии на тексты, не связанные со «вторым южнославянским влиянием» и не восходящие к среднеболгарским оригиналам[26].

В итоге получается, что из трех восточнославянских списков, восходящих к Супрасльскому сборнику XI в., именно киевский (хронологиче-

---

[24] См.: Темчин 1998а, 196–197.

[25] В этом же ряду следует рассматривать нестяженные формы имперфекта киевского списка, противопоставленные стяженным формам двух других сопоставляемых источников (см. в приведенных выше сводках словоформ: 307, 19; ср. 307, 8). О вторичном введении нестяженных форм имперфекта в восточнославянские рукописи см.: Темчин 1996, 7–19.

[26] Подробнее см.: Турилов 1998, 325, 329.

http://www.bibliorossica.com

ски самый поздний?) максимально отклоняется от древнеболгарского оригинала в отношении композиции (гомилетическая часть поставлена перед житийной), орфографии (введено среднеболгарское правописание), языка (несколько архаизирована лексика и грамматика) и самого текста. Все это свидетельствует о творческом подходе книжника к воспроизведению антиграфа, что дает основание считать данного писца канноноцентричным[27].

Основные результаты данной работы можно изложить следующим образом:

1. Древнеболгарский Супрасльский сборник бытовал на восточнославянской территории, вероятно, уже в XIII веке, когда в его текст были внесены исправления рукою древнерусского писца. В XV–XVI вв. этот кодекс активно использовался восточными славянами для создания новых рукописных копий. Сегодня известны два полных списка (санкт-петербургский и киевский) и один частичный (вильнюсский), содержащий в ряду прочих текстов 16 гомилий Супрасльского сборника.

2. Самым ранним является санкт-петербургский список, созданный в третьей четверти XV века, т. е. еще до основания Супрасльского монастыря (1498 г.). Наличие данной рукописи свидетельствует о том, что в это время древнеболгарский сборник уже находился на восточнославянской территории, и заставляет отклонить высказанные исследователями предположения о его поступлении в Супрасльский монастырь непосредственно с Балкан в течение XVI века. Санкт-Петербургский список создан на территории ВКЛ, но более точная локализация пока невозможна. Не исключено, что именно он является тем общим источником, к которому восходят киевский и вильнюсский списки. Если это так, то санкт-петербургская рукопись (не просмотренная мною de visu) не повторяет с абсолютной точностью текст Супрасльского сборника, а содержит значительное количество поновлений. Их исследование может показать, как именно восточнославянский писец третьей четверти XV в. воспринимал и понимал древнеболгарский оригинал XI века. С известными оговорками санкт-петербургский список может использоваться для восполнения текстовых утрат в древнеболгарском Супрасльском сборнике.

3. Частичный вильнюсский список, входящий в состав некогда двухтомного Златоуста постного первой четверти XVI в., сделан с более раннего (санкт-петербургского?) списка. При создании первого анонимный писец очень незначительно изменял восходящий к Супрасльскому сборнику текст, стараясь придерживаться антиграфа, т. е. был антиграфоцентричным. Дошедшая до нас вторая часть созданного им двухтомного комплекта интересна тем, что 16 гомилий Супрасльского сборника были

[27] О разграничении антиграфоцентричных и каноноцентричных писцов см.: Темчин 1998б, 104–115; Темчин 2004а, 499–513.

внесены в книгу иного типа (Златоуст постный), но при этом сохранили свою литургическую приуроченность. В результате вильнюсская рукопись характеризуется необычайно архаичным текстовым составом, чем резко отличается от остальных восточнославянских кодексов аналогичного содержания, имеющих не более 5 общих гомилий с древнеболгарским Супрасльским сборником.

4. Киевский список XVI в. сделан с той же промежуточной (санкт-петербургской?) копии каноноцентричным украинским писцом, который перекомпоновал чтения (расположил гомилии перед житиями) и ввел в переписываемый текст элементы среднеболгарской орфографии, одновременно архаизируя лексику и отчасти грамматику. В текстовом отношении эта рукопись явно вторична, и ее отклонения от Супрасльского сборника не имеют самостоятельного значения для текстологии, которое, вероятно, предполагалось Р. Айтцетмюллером.

5. Ни один из трех восточнославянских списков, восходящих к древнеболгарскому Супрасльскому сборнику, не имеет пока точной локализации. Однако можно утверждать, что все они были созданы и бытовали на территории ВКЛ: санкт-петербургский список имеет западнорусское происхождение; вильнюсский список, сделанный с более ранней промежуточной копии, содержит стихотворные комментарии писца на *руськой (простой) мове*; сам древнеболгарский сборник ранее 1532 г. поступил в Супрасльский монастырь, основанный в Подляшье православными магнатами Ходкевичами; киевский список, восходящий к той же промежуточной копии, но содержащий дополнительные статьи (среди них *Предисловие над Псалтырь* на руськой мове), создан на украинских землях, которые вместе с Подляшьем отошли к Польскому королевству в 1569 году. Данные этих рукописных источников следует учитывать при исследовании рецепции южнославянского книжного наследия в Великом княжестве Литовском[28].

Литература

Археографический сборник 1870 – Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Виленского учебного округа, т. 9. Вильна, 1870.

Благова 1966 – Благова Э. Гомилии Супрасльского и Успенского сборников // Исследования источников по истории русского языка и письменности / ред. Жуковская Л.П., Тарабасова Н.И. Москва, 1966.

Бобровский 1887 – Бобровский П.О. Судьба Супрасльской рукописи // Журнал Министерства народного просвещения, 1887.

Богуславский 2001 – Славянская энциклопедия: Киевская Русь – Московия / сост. Богуславский В.В., т. 2. Москва, 2001.

Гиндин 1988 – Гиндин Л.А. К переводческой технике кирилло-мефодиевской школы: две старославянские кальки в Супрасльской рукописи // Советское славяноведение, 1988, № 3.

[28] См. недавний обзор проблематики: Турилов 2001, 247–285.

Добрянский 1882 – Добрянский Ф.Н. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, церковнославянских и русских. Вильна, 1882.

Заимов, Капалдо 1982–1983 – Супрасълски или Ретков сборник / ред. Заимов Й., Капалдо М., т. 1. София, 1982; т. 2, София, 1983.

Иванова 1979 – Иванова Т.А. Бобровский Михаил Кириллович // Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь / ред. Дьяков В.А. Москва, 1979.

Иванова 1992 – Иванова Т.А. Старославянское РЕТЬ – Супр. р. 400.16 // Славяноведение, 1992, № 6.

Куев 1985 – Куев К.М. Бобровски, Михаил Кирилович // Кирило-Методиевска енциклопедия / ред. Динеков П., т. 1. София, 1985.

Куев 1986 – Куев К.М. Съдбата на старобългарската ръкописна книга през вековете, второ преработено и допълнено издание. София, 1986.

Лихачев 1899 – Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков, ч. 1–3. Санкт-Петербург, 1899.

Модест 1867 – Модест. Супрасльский Благовещенский монастырь // Вестник Западной России. Вильна, 1867.

Морозова, Темчин 1997 – Морозова Н.А., Темчин С.Ю. Об изучении церковнославянской письменности Великого княжества Литовского // Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim, t. 2. Kraków, 1997.

Нікалаеў 1993 – Нікалаеў М.В. Палата кнігапісная: Рукапісная кніга на Беларусі ў X–XVIII стагоддзях. Мінск, 1993.

Николай (Далматов) 1892 – Николай (Далматов). Супрасльский Благовещенский монастырь: Историко-статистическое описание. Санкт-Петербург, 1892.

Панин 1997 – Панин Л.Г. О славянских переводах памяти сорока мучеников Севастийских Ефрема Сирина // Книга и литература / ред. Алексеев В.Н. Новосибирск, 1997.

Петров 1891 – Петров Н.И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве, вып. 1: Собрание рукописей Московского митрополита Макария (Булгакова), Мелецкого монастыря на Волыни, Киево-Братского монастыря и Киевской духовной семинарии [Москва, 1891]

Пуцко 1998 – Пуцко В.Г. Древнейшие славянские книги из библиотек Беларуси // Здабыткі: Дакументальныя помнікі на Беларусі, вып. 3: Матэрыялы секцыі «Гістарычныя кнігазборы Беларусі» Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Бібліятэка ў сучаснай інфармацыйнай прасторы», прысвечанай 75-годдзю Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Мінск, 1998.

Рогов 1978 – Рогов А.И. Супрасль как один из центров культурных связей Белоруссии с другими славянскими странами // Славяне в эпоху феодализма: К столетию академика В.И. Пичеты / ред. Черепнин Л.В. Москва, 1978.

Стефова 2003 – Стефова Л. Супрасълски сборник // Кирило-Методиевска енциклопедия / ред. Грашева Л., т. 3. София, 2003.

Темчин 1996 – Темчин С.Ю. Установление направления правки в церковнославянском тексте: формы имперфекта в Остромировом евангелии // Актуальные проблемы современной русистики. Диахрония и синхрония / ред. Горшкова К.В., Ремнева М.Л. (Вопросы русского языкознания, вып. 6), Москва, 1996.

Темчин 1998а – Темчин С.Ю. Текстологическая семья Мстиславова евангелия: новые данные о группировке древнерусских списков полного апракоса // Slavistica Vilnensis, 1998 (Kalbotyra 47 (2)): XII Международный съезд славистов (Краков, 27.08–2.09.1998). Доклады литовской делегации.

Темчин 1998б – Темчин С.Ю. Писцы Синайской псалтыри по данным орфографии: диграфное и лигатурное написание *št* // Международный филологический сборник в ознаменование 150-летия со дня рождения Ф.Ф. Фортунатова / ред. Гудков В.П. Москва, 1998.

Темчин 1999 – Темчин С.Ю. Что представляла собой первая славянская книга, переведенная с греческого Кириллом и Мефодием // Byzantinoslavica, t. 60, Praha, 1999.

Темчин 2004а – Темчин С.Ю. Писцы Синайской псалтыри по данным орфографии: написание буквы *отъ* (омеги) // Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zagreb–Krk, 2004.
Темчин 2004б – Темчин С.Ю. Этапы становления славянской гимнографии (863 – ок. 1097 гг.). Часть вторая // Славянский мир между Римом и Константинополем / ред. Флоря Б.Н. (Славяне и их соседи, вып. 11), Москва, 2004.
Турилов 1986 – Турилов А.А. Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР (для Сводного каталога рукописных книг, хранящихся в СССР). Москва, 1986.
Турилов 1998 – Турилов А.А. Восточнославянская книжная культура конца XIV–XV вв. и ‘второе южнославянское влияние’ // Древнерусское искусство: Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV–XV вв. / ред. Попов Г.В. Санкт-Петербург, 1998.
Турилов 2001 – Турилов А.А. Южнославянские памятники в литературе и книжности Литовской и Московской Руси XV–первой половины XVI в.: парадоксы истории и географии культурных связей // Славянский альманах 2000. Москва, 2001.
Чтения 1892 – Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1892.
Щавинская 1998 – Щавинская Л.Л. Литературная культура белорусов Подляшья XV–XIX вв.: Книжные собрания Супрасльского Благовещенского монастыря. Минск, 1998.
Щавинская 1999 – Щавинская Л.Л. Квантитативная характеристика литературного ландшафта западной пограничной части Великого княжества Литовского середины XVI в. (по материалам книжных собраний Супрасльского Благовещенского монастыря) // Мартинас Мажвидас и духовная культура Великого княжества Литовского XVI века / ред. Лавринец П.М. Вильнюс–Москва, 1999.
Щавинская, Лабынцев 1998 – Щавинская Л.Л., Лабынцев Ю.А. Книжные собрания Супрасльского Благовещенского монастыря (XV–XIX вв.) // Здабыткі: Дакументальныя помнікі на Беларусі, вып. 3: Матэрыялы секцыі «Гістарычныя кнігазборы Беларусі» Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Бібліятэка ў сучаснай інфармацыйнай прасторы», прысвечанай 75-годдзю Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Мінск, 1998.
Щавинская, Лабынцев 2003 – Щавинская Л.Л., Лабынцев Ю.А. Литература белорусов Польши (XV–XIX вв.). Минск, 2003.
Aitzetmüller 1967–1974 – Aitzetmüller R. Eine russisch-kirchenslavische Parallelhandschrift zum aksl. Codex Suprasliensis: Materialen zu dessen Textgestalt // Anzeiger für Slavische Philologie, Bd. 2, 1967; Bd. 3, 1969; Bd. 4, 1970; Bd. 7, 1974.
Čertorickaja 1994 – Čertorickaja T.V. Vorläufiger Katalog kirchenslavischer Homilien des beweglichen Jahreszyklus: Aus Handschriften des 11.–16. Jahrhunderts vorwiegend ostslavischer Provenienz, unter der Redaktion von H. Miklas. Opladen, 1994 (Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 91: Patristica Slavica, Bd. 1).
Charkiewicz 1936 – Charkiewicz W. Bobrowski Michał (1784–1848) // Polski słownik biograficzny, t. 2. Kraków, 1936.
Hajduk 1989 – Hajduk M. Sanktuarium nad Supraślą // Slavia Orientalis, t. 38, nr. 3–4, 1989.
Kaszlej 1997 – Kaszlej A. Dzieje Kodeksu supraskiego. Supraśl, 1997.
Mironowicz 1989 – Mironowicz A. Związki literackie Kijowa z monasterem supraskim w XVI wieku // Slavia Orientalis, t. 38, nr. 3–4, 1989.
Piccard 1966 – Piccard G. Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg. Sonderreiche Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Einbuch II: Die Ochsenkopf-Wasserzeichen. Stuttgart, 1966.
Zawisza 1999 – Zawisza A. Konserwacja XI-wiecznego Kodeksu supraskiego // W obliczu katastrofy / eds. Drewniewska-Idziak B. et al. Warszawa, 1999 (Notes Konserwatorski, 2).

К характеристике канцелярии Великого княжества Литовского на рубеже XV–XVI вв.: литературная деятельность писаря Василия Никольского

Е.В. Русина (Киев)

Вопрос о культурном потенциале государственной канцелярии Великого княжества Литовского и культуротворческой деятельности ее сотрудников следует отнести к числу тех, которые до настоящего времени остаются открытыми. В этой связи в литературе можно встретить разве что упоминание о Венцлаве Миколаевиче, который, согласно высказанным в последние десятилетия гипотезам, выступил со своим знаменитым трактатом в середине XVI в. под псевдонимом Михалон Литвин. Гораздо менее известен факт участия Якуба, «наивысшего» писаря Казимира Ягеллончика, в подготовке послания, адресованного в 1476 г. представителями духовной и светской элиты Литовского государства папе Римскому Сиксту IV. Причем, необходимо отметить, что это участие коррелирует с деятельностью Якуба, направленной на поддержку Григория Болгарина при Московском дворе, куда этот писарь дважды (в 1459 и 1468 гг.) отправлялся со специальным посольством. Исключительно интересным является и факт переписки между писарем Якубом и Василием Дмитриевичем Ермолиным – известным московским архитектором-подрядчиком и книжником. Как следует из выявленного в 1920-х годах «Послания от друга к другу», Якуб просил Еромолина приобрести для него в Москве целый ряд книг, в том числе богослужебных.

Однако еще более интересным является факт написания оригинального полемического произведения другим писарем великокняжеской канцелярии, который, как мы полагаем, теперь можно считать точно установленным. Особый вес этому факту придает не раз отмечавшаяся исследователями крайняя бедность региональной литературной традиции XV – начала XVI вв. В настоящее время к ней причисляют, помимо сочинений, вышедших из среды западнорусских митрополитов, белорусско-литовских летописей и Кассиановских редакций Киево-Печерского Пате-

http://www.bibliorossica.com

рика, «Сказание о исхождении Святого Духа», написанное в 1511 г. повелением сербского воеводы Стефана Якшича «многогрешным и хуждьшим в християнех Василием презвитером Никольским от Дольняя Руси». Опубликовавший это послание «к некоему латинскому архиепископу сопротивляющуся» Ф.И. Покровский отметил, что «об авторе послания, пресвитере Василии, кроме тех немногих сведений, которые он сам дает о себе в предисловии и послесловии к посланию, ничего не известно»; однако, исходя из имени заказчика, способа датировки послания и помещенного в нем перечня тогдашних монархов («В лето 7019, индиктиона 14, по летех Христова Рождьства римленом пишоущим 1511, скиптродрьжавным же: в Оугрех и Чесех Владиславу, в Ленденех Жигимонтоу, в Роусии Василию, великаго Иоанна сыноу, грьком же страждющим под страхом Баазит соултана»), он предположил, что Василий был уроженцем Угорской Руси, где под названием «Дольней земли» известна Угорская низменность, а «долинянами» именуют «угро-русское население отрогов Карпат, спускающихся к этой низменности» (Покровский 1908, 88–89)[1]. Это, далеко не бесспорное, мнение прочно утвердилось в литературоведении [2].

Уязвимость данной гипотезы заключается в том, что термин «Дольняя (Нижняя) Русь» никогда не прилагался к Закарпатью, служа, вместо этого, традиционным обозначением Среднего и Нижнего Поднепровья. Известно, что уже древнерусские книжники делили восточнославянские земли на «нижние» и «верхние» (Ипатьевская летопись, стб. 112, 359, 369, 645); архаичное и зыбкое, словообразование «Нижняя Русь» просуществовало до XVI в.[3], проникая подчас в официальную документацию (так, в

[1] Отметим, что сохранилась и сербская версия послания (середины XVI в.), проанализированная Радоичичем: Радојичић 1967а, 273–281. Характерно, что в сербском варианте, который достаточно точно передает оригинал, Василий упоминается не как «презвитер», а как «прозываемый» Никольским (там же, 279). Эта конъектура, по-видимому, первична, поскольку «презвитер» фигурирует в позднем, рубежа XVII–XVIII вв., списке послания, а в прочих списках этот фрагмент отсутствует.

[2] Радојичић 1967б, 261; Радојичић 1967а, 279; Пелешенко 1990, 10–11; Мишанич 1998, 8.

[3] В литературе последнего времени можно встретить утверждение, что деление Руси на Верхнюю и Нижнюю фиксировало существование в XV–XVI вв. «двух этноисторических реальностей» – России и Украины (см. Наливайко 1993, 7–8), хотя подкрепляется это ссылками на А. Контарини, помещавшего Киев за пределами Нижней Руси (Барбаро и Контарини 1971, 188–189), и Ланноа, отмечавшего, например, что он прибыл в Каменец-Подольский «из Львова, проехав Верхнюю Русь» (Гильбер де-Ланноа 1873, 39). Уже двух этих примеров достаточно, чтобы предостеречь исследователей от слишком «прямолинейной» трактовки средневековых макротопонимов. Вместе с тем, необходимо учитывать, что пребывание Верхней и Нижней Руси в составе разных государственных образований неизбежно привносило в эту терминологию политические акценты.

1558 г. Сигизмунд-Август адресовал один из своих «безмытных листов» «панству нашому Великому князству Литовскому и всему Понизовью и земле Волынской»).

Соответственно откорректировав «район поиска» Василия Никольского, мы достаточно быстро обнаруживаем его следы в синхронной документации. В акте пожалования Чернигова* князю Семену Можайскому (1 июля 1496 г.) великий князь литовский Александр Казимирович изъял из-под его юрисдикции («вынял на себя») нескольких бояр, находившихся на великокняжеской службе («тые нам мають служити с тых именей своих, што в Черниговском повете мають») – и в их числе некоего Андрея Павловича с «братаничами» (племянниками по мужской линии) Халецким и Микольским (Акты ЗР, т. 1, с. 163).

Зная имя деда Микольского по отцу: Павел, и то, что он служил непосредственно великому князю Литовскому, мы имеем все основания отождествить его с писарем великокняжеской канцелярии «Никольским Васильевичем Павловича», которому в марте 1505 г. Александр Казимирович выдал «лист», закрепляющий за ним владения его отца Василия Павловича (Акты ЛМ, вып. 2, № 728, с. 170–171). Последний, как мы узнаем из указанного документа, также был «господарским» писарем, верно служил «з молодых лет» Казимиру и даже «положил свою голову» на этой службе. Заслуги Василия Павловича были отмечены пожалованием ему имения Деречин (Слонимский повет), хозяином которого он стал, женившись на вдове его прежнего владельца, Богдана Васьковича Дромутевича.

Право наследственного владения этим имением и подтвердил своему «шляхетне врожоному писарю Никольскому Васильевича» Александр, «бачачи... перво сего к отцу нашому, славное памяти королю Казимиру, и потом к нам верную а справедливую, николи не замешканую и пыльную службу». Таким образом, писарь Никольский появился при «господарском» дворе еще во времена Казимира (1440–1492 гг.) и, по-видимому, на рубеже XV–XVI вв. уже перешагнул порог своего тридцатилетия. Что касается его отца – Василия Павловича, то исходя из того, что запись, сделанную им в Литовской Метрике («А писал Васко Павлович») (РИБ,

---

Более того, в условиях, когда в Московском государстве была отвергнута Флорентийская уния, терминологическое членение Руси приобрело черты церковно-административного деления: известно, что Григорий Болгарин командировался на Русь как митрополит «киевский, литовский и всей Нижней Руси».

* Напомним, что вплоть до 1500 г. он, как и вся Северщина, находился в составе Великого княжества Литовского; переход ведущих репрезентантов этого региона – князей Семена Ивановича Можайского и Василия Ивановича Шемячича – на службу к Ивану III положил начало московско-литовской войне 1500–1503 гг., завершившейся инкорпорацией Северщины Россией, юридически оформленной в 1508 г.

стб. 60), можно датировать 1448 г.[4], заключаем, что он появился на свет, самое позднее, на рубеже 1420–1430-х гг. Соответственно, и гипотетический возраст его сына можно корректировать лишь в сторону увеличения.

Помимо «листа» на Деречин, где-то между 1500 и 1506 гг. сын Василия Павловича получил от Александра еще одну «данину» (двор Вакиники в Троцком повете), призванную компенсировать потерю Никольским его черниговской «отчины», захваченной московскими войсками; это пожалование дошло до нас в форме его подтверждения Сигизмундом I (1506 г.), который не терял надежды «сполна очистить» Северщину от неприятеля (хотя документом не исключалось, что этого не случится и «имения» Никольского и его земляков «отпишут в вечном миру за границу» (LM 8, № 206, p. 196)).

Однако минуло несколько лет – и Никольский, верой и правдой служивший Казимиру и Александру, пренебрег интересами их преемника Сигизмунда, примкнув к восстанию Михаила Глинского. Трудно сказать, что повлияло на это решение: амбиции, дремавшие в нем до поры до времени, придворные интриги, затаенные в сердце обиды или же просто связи семейства Глинских с Черниговом[5], но, начиная с 1508 г., Никольский фигурирует в документах виленского двора с постоянным определением «зрадца» (изменник).

На рубеже лета-осени того года Сигизмунд информировал Менгли-Гирея, что дьяк Никольский был одним из двух «зрадец», отправленных Глинским к Василию III, «жадаючи его, абы ему своих воевод з людьми прислал и хотячи ему вси наши граничныи городы, добывши, подати» (Акты ЗР, т. 2, № 41, с. 49; LM 8, № 69, p. 112)[6]. Но роль Никольского в мятеже не свелась к функциям посланника: сохранилось глухое известие о том, что некий Курбака «держал» Чечерск (входивший в комплекс так называемых «поднепрских волостей») «от зрадци Никольского»; летом 1508 г., исполняя приказ Сигизмунда («того наместника поимати»), чечеряне учинили над ним самосуд (LM 8, № 416, p. 312–313).

---

[4] Она находится среди записей, датированных январем и мартом 11 индикта, в составе так называемой книги «данин» Казимира, охватывающей 1440–1455 гг.

[5] На Черниговщине Глинским принадлежали Хоробор, Домыслин, Смолин; князь Иван Борисович Глинский в 1492–1496 гг. был черниговским наместником – с чем, очевидно, связана передача его родственнику Андрею Дрожче нескольких сел в Черниговском повете, ранее составлявших собственность князя Петра Михайловича Масальского (соответственно, «дворянин Андрей Дрожчич» упоминается в грамоте 1496 г.; после провала мятежа М. Глинского он вместе с братом Петром нашел пристанище в России). См.: Бычкова 1986, 62–63.

[6] В Литовской Метрике сохранился и текст одного из посланий, переданных Глинским в Москву через «пана Никольского»: Акты ЗР, т. 2, № 20, с. 22–23; LM 8, № 72, p. 117–119.

Очевидно, не лучшая доля ожидала и самого Никольского после того, как авантюра Глинского потерпела крах. Вряд ли он мог рассчитывать на снисхождение Сигизмунда, как отдельные фигуранты этого дела (например, некто Богуш Заранкович, который «ездил зрадцою з Никольским», в июле 1508 г. прощенный «господарем» и получивший обратно уже разделенную между его братьями «отчину», «статки домовые... и кони, и иные речи» (LM 8, № 339, p. 270)).

Имущество Никольского также было конфисковано. По данным Литовской Метрики, уже в августе 1508 г. его дом в Вильно, что был «против Святого Яна», выхлопотал у Сигизмунда князь Василий Полубенский (LM 8, № 356, p. 277); принадлежавший Никольскому Деречин, или Кочин, в феврале 1509 г. достался овручскому наместнику Семену Федоровичу Полозовичу (как, кстати, и «имения» князя Ивана Глинского на Киевщине) (LM 8, № 424, p. 315–316)[7]; двор Вакиники был передан в «заставу», а затем и полностью перешел к князю Глебу Юрьевичу Пронскому (1510 г.) (LM 8, № 487, p. 353–354).

Эти последние записи в Метрике, где фигурирует «зрадца» Никольский (в документе 1510 г., как и в акте 1496 г. – Микольский), интересны тем, что в них, наконец-то, называется его имя – Василий, совпадающее, как видим, с именем автора «Сказания о исхождении Святого Духа». При этом ответ на вопрос, каким образом бывший дьяк виленской великокняжеской канцелярии, на рубеже 1508–1509 гг. вместе с Глинскими эмигрировавший в Россию[8], со временем оказался при дворе Стефана Якшича, достаточно очевиден: сестра последнего Анна была женой Василия Глинского[9], который выехал в Москву вместе с братьями Иваном и Михаилом. Остается предположить, что и на чужбине Никольский поддерживал контакты с кланом Глинских и по-прежнему пользовался их особым доверием, выполняя достаточно ответственные миссии.

---

[7] Заметим, что наличие в документе имени князя Глинского стало причиной описки метриканта, ошибочно озаглавившего этот акт как «привилей пану Семену Федоровичу Полозовича на именья по князю Василю Николском, зрадцы». Никольский, конечно же, не принадлежал к титулованной знати; в синхронной документации он фигурирует только как «пан» и «дворянин» (Сб. РИО, 172; Акты ЗР, т. 2, № 20, с. 22; LM 8, № 72, p. 117).

[8] В Русском временнике (по Румянцевскому списку) он фигурирует среди выехавших на службу к Василию III «княжат и панов» как «дияк королевской Никольской» (Зимин 1970, 72).

[9] Отметим, что брата Анны (в иночестве – Анисьи) следует отличать от двух других Якшичей, носивших имя Стефан: её отца, умершего в 1489 г., и её племянника, сына Марка Якшича, умершего между 1530 и 1537 гг. (Радојичић 1967в, 175–176; Радојичић 1967б, 261; Радојичић 1967а, 276, 278).

«Установив личность» Никольского, остановимся на вопросе о среде, его выдвинувшей. Не подлежит сомнению, что род Никольского имел тесные связи с Черниговщиной. Мы, правда, очень мало знаем об отце Василия Никольского. Как уже отмечалось, упоминание его имени в Метрике единично, а предлагаемое в современной литературе отождествление писаря Васька Павловича с дьяком великокняжеской канцелярии «меняниным» (минчанином) Васьком (Васильцем) Любичем (Urzędnicy 1994, 121, № 868)[10] ошибочно: как свидетельствуют документы, тот умер «безпотомно», и принадлежавшие ему земли унаследовали его племянники (один из которых, Петрашко Фоминич Любича, тоже стал «господарским» писарем) (Archiwum 1887, 90).

На фоне отсутствия данных о Василии Павловиче особый вес приобретают известия источников о ближайших родственниках Никольского – прежде всего, о братьях отца. Так, упомянутый в грамоте 1496 г. Андрей Павлович в 80–90-х гг. XV в. был троцким подключим; в 1502 г. он получил от Александра на три года в «хлебокормление» двор Красное, что, очевидно, представляло собой компенсацию за утрату земель на Черниговщине (РИБ, стб. 262, 628; Акты ЛМ, вып. 2, № 625, с. 104). Другой дядя Никольского, Богдан Павлович, на рубеже XV–XVI вв. занимал пост виленского подключего (РИБ, стб. 841–843; LM 8, № 274, p. 228); в августе 1496 г., непосредственно после передачи Чернигова Можайскому (и, по-видимому, в связи с этим событием) он обратился к Александру, чтобы тот подтвердил своим актом «отчину и дедину его» в Черниговском повете: «имения» Сибреж и Заболовесье, селище Ргощ, а также ловище и бортную землю Замглай[11]. Документ, выданный Александром в связи с этим ходатайством, интересен для нас не только точной локализацией владений Богдана Павловича (где располагались черниговские «имения» его братьев Василия и Андрея, остается только гадать), но и указанием на то, что эти земли принадлежали его отцу и деду. Таким образом, с учетом сделанных выше хронологических выкладок, можно утверждать, что предки Никольского осели на Черниговщине, как минимум, в конце XIV в. Соответственно, нет оснований оспаривать мнение, что первым задокументированным лицом в ряду этих предков был некий Павел Мишкович, получивший в 1437 г. от Свидригайла «взамен Сновска северского, над Сновью рекой лежащего» Хальч в окрестностях Гомеля[12].

[10] Ср. упоминания о Василии Любиче в Метрике: РИБ, стб. 84, 85, 136, 137.

[11] РГАДА, ф. 389, оп. 1, д. 6, л. 133–133 об. При публикации данного документа (Акты ЛМ, вып. 1, № 314, с. 123) оригинальный текст был искажен.

[12] Данное пожалование фигурирует в выписи из новогрудских гродских книг (7 августа 1661 г.), фиксирующей уничтоженные казаками привилеи рода Халецких.

Данное утверждение появилось в литературе благодаря работам О. Галецкого и Ст. Кучиньского[13], исследовавших генеалогию рода Халецких, один из представителей которого, как уже отмечалось, упомянут в грамоте 1496 г. в качестве «братанича» Андрея Павловича. При этом другой его племянник, Никольский, был (вопреки указаниям приведенных выше источников, не привлекавшихся учеными к решению данной проблемы) идентифицирован как Иосиф Евстафьевич Халецкий (Kuczyński 1934, 20, 23)[14], что объясняется «наложением» на реалии конца XV в. позднейших (и нередко сомнительных) данных о родословном древе Халецких. По сути, исследователи окрестили Халецкими всех потомков Павла Мишковича – между тем как эта фамилия закрепилась лишь за теми из них, кто при разделе родовых владений, вместе с какими-то землями на Черниговщине, получил и Хальч (Хальче) в Гомельском повете[15]. Трудно судить, когда именно и каким образом был осуществлен этот семейный «дел»; фактом остается лишь то, что первые документальные известия о Халецких восходят к 80-м гг. XV в. Речь идет о сыне гипотетического Евстафия Павловича, Михаиле Халецком – как правило, подобно Василию Никольскому, не называемом в актовом материале по имени[16]. Оба они фигурируют вместе не только в грамоте 1496 г., но и в составе посольства, отправленного в марте 1501 г. в Заволжскую Орду (LM 5, 178), где Халецкий, как посланник великого князя литовского, был частым гостем.

Кстати, эти контакты могли переломить ход московско-литовской войны 1500–1503 гг. Недаром в Москве спустя полтора десятилетия вспоминали о том, что Александр «Ши(х) – Ахметя, царя ордынского, на христьянство навел, а в проводниках у него был его дворянин Халетской и иные королевы люди, и Ши(х)-Ахметь царь по его наводу пришел ... в Чернигов, да тут много християнской крови пролилося» (Сб. РИО, 520). Хан Заволжской Орды Ших-Ахмат в августе 1501 г. во главе 100-тысячного войска

---

[13] Halecki 1910, 134–140, 164–170, 194–201; Kuczyński 1934, 6–10, 17–23; Kuczyński 1936, 366–367.

[14] Такой же точки зрения придерживается и Яковенко 1993, 164.

[15] В грамоте 1496 г. черниговские «имения» Халецких не названы; однако в дошедшей до нас в поздней (и притом дефектной) копии «памяти» литовским послам (сост. ок. 1527 г.), содержащей перечень всех черниговских сел со спорадическими указаниями имен их прежних (до 1500 г.) владельцев, упоминается существующий поныне Слабын как село, «что было за Халенским (вариант: Харевским)», в котором без труда угадывается искаженное «Халецкий» (см. Русина 1993, 300, 301, 304).

[16] См.: РИБ, стб. 198; LM 5, 118, 126, 138, 140, 147, 148, 157, 159, 170, 172–175, 177–179. Отметим, что Михаил Халецкий имел сына Михаила, внесшего свой род в помянник Киево-Печерского монастыря; в этой записи, до сих пор не привлекавшей внимание специалистов, из мужчин названы только Михаил и Терентий (см.: Голубев 1892, 64 (приложение)).

появился на Северщине и сумел захватить Рыльск и Новгород-Северский; этот успех был бы, несомненно, развит, если бы Александр не дистанцировался от действий своего союзника, отряды которого в июне 1502 г. наголову разгромил Менгли-Гирей[17]. Таким образом, ведя переговоры с Ших-Ахматом, Халецкий по-своему способствовал возвращению в состав Литовского государства Черниговщины, с которой его связывали родовые и имущественные интересы. Впрочем, жизни в этом «медвежьем углу» он предпочел карьеру в столице, как, кстати, и остальные из известных нам потомков Павла Мишковича, которые прочно обосновались в Вильно и Троках, органично вписавшись в ряды местной бюрократии.

Их судьбу разделил и Василий Никольский. Живя в Вильно, унаследовав от отца место в «господарской» канцелярии, он получил соответствующий «вышкол» и ни воспитанием, ни образом жизни не был связан со своей «малой родиной». Правда, в «Сказании» он четко декларировал свое «нижнерусское» происхождение – но это представляется достаточно естественным для человека, порвавшего со своей «политической родиной» и еще не вполне освоившегося с ролью «московита». Как уже отмечалось выше, Ф.И. Покровский пробовал определить «гражданство» Никольского, исходя из находящегося в «Послании» перечня правящих монархов – но в нем отразился, в первую очередь, вассальный относительно Венгрии статус заказчика произведения – сербского воеводы Якшича.

На происхождение Никольского куда определеннее указывает способ датировки его «Сказания»: соединение трех систем летоисчисления (индиктового, «от сотворения мира» и «от Рождества Христова») и их параллельное применение были характерной чертой виленской великокняжеской канцелярии. В самом же тексте «Сказания» можно усмотреть, помимо риторического самоуничижения, определенные намеки на оторванность автора от традиционных условий существования – хотя в куда большей степени оно свидетельствует о культурном потенциале виленской писарской среды конца XV – начала XVI в. Это лишний раз убеждает в справедливости наблюдения М. Грушевского, что в Великом княжестве Литовском «было достаточно людей с теологической и литературной подготовкой, которые при случае могли себя с этой стороны неплохо показать – однако, вне чисто практических потребностей, ничто не стимулировало литературное творчество: отсутствовали те духовные движения, которые стихийно затягивают людей, веля каждому отважному испытать свои силы на поприще духовной деятельности» (Грушевский 1907, 353). Так что весьма симптоматично, что Василий Никольский проявил свой писательский и полемический дар за пределами родины.

[17] Подробнее см.: Kuczyński 1936, 316–337.

Литература

Акты ЗР – Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1846.

Акты ЛМ – Акты Литовской Метрики. Варшава, 1897, т. 1.

Барбаро и Контарини 1971 – Барбаро и Контарини о России: К истории итало-русских связей в XV в. Ленинград, 1971.

Бычкова 1986 – Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI в. // Историко-генеалогическое исследование. Москва, 1986.

Гильбер де-Ланноа 1873 – Путешествия Гильбера де-Ланноа в восточные земли Европы в 1413–1414 и 1421 годах // Университетские известия. Киев, 1873, № 8.

Голубев 1892 – Голубев С.Т. Древний помянник Киево-Печерской Лавры (конца XV и начала XVI столетия) // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. Киев, 1892, Кн. 6.

Грушевский 1907 – Грушевский М. Історія України-Руси. Київ; Львів, 1907, т. 6.

Зимин 1970 – Зимин А.А. Новое о восстании Михаила Глинского в 1508 году // Советские архивы, 1970, № 5.

Ипатьевская летопись – Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Москва, 1962, т. 2.

Мишанич 1998 – Мишанич О. Давня українська література в загальнослов'янському контексті // Медієвістика. Одеса, 1998, вип. 1.

Наливайко 1993 – Наливайко Д. Україна в рецепції західних гуманістів XV-XVI ст. // Європейське Відродження та українська література XIV-XVIII ст. Київ, 1993.

Пелешенко 1990 – Пелешенко Ю.В. Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця XIV – початку XVI ст. Київ, 1990.

Покровский 1908 – Покровский Ф.И. Послание Василия, пресвитера Никольского из Дольней Руси, об исхождении св. Духа // Известия Отделения русского языка и словесности Российской академии наук, 1908, т. 13, кн. 3.

Радојичић 1967а – Радојичић Ђ.Сп. Руски и српски текст Василија Никольског из Доње Русије // Радојичић Ђ.Сп. Књижевна збивања и стварања код срба у средњем веку и у турско доба. Нови Сад, 1967.

Радојичић 1967б – Радојичић Ђ.Сп. Стари српски писци украјинске народности (од краја XV до краја XVII века) // Радојичић Ђ.Сп. Књижевна збивања и стварања код срба у средњем веку и у турско доба. Нови Сад, 1967.

Радојичић 1967в – Радојичић Ђ.Сп. Доба постанка и развој старих српских родослова // Радојичић Ђ.Сп. Књижевна збивања и стварања код срба у средњем веку и у турско доба. Нови Сад, 1967.

РИБ – Русская историческая библиотека, издаваемая имп. Археографическою комиссиею. СПб., 1910, т. 27.

Русина 1993 – Русина О. Із спостережень над «Реєстром чернігівських границь» з 20-х років XVI століття // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. Львів, 1993, т. CCXXV.

Сб. РИО – Сборник имп. Русского исторического общества. СПб., 1892, т. 35.

Яковенко 1993 – Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). Київ, 1993.

Archiwum 1887 – Archiwum książat Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. Lwów, 1887, t. 1, № XCIV.

Halecki 1910 – Halecki O. Chaleccy na Ukrainie // Miesięcznik heraldyczny, 1910.

Kuczyński 1934 – Kuczyński S.M. Rodowód Michała Chaleckiego // Miesięcznik heraldyczny, 1934.

Kuczyński 1936 – Kuczyński S.M. Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy. Warszawa, 1936.

LM 5 – Lietuvos Metrika. Knyga № 5. Vilnius, 1993.

LM 8 – Lietuvos Metrika. Knyga № 8. Vilnius, 1995.

Urzędnicy 1994 – Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku: Spisy / Oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba (= Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku: Spisy. – T. XI). Kórnik, 1994.

Диспуты Иудеев (караимов) и христиан в Великом княжестве Литовском: Исаак Трокский (из Тракай)

А. Пажерайте (Вильнюс)

Вместо введения

В литовской историографии об Исааке Трокском (Тракайском) до недавнего времени почти ничего не было написано. Некоторые сведения появились только в 1980 г. в сборнике «Источники истории литовской философской мысли» (LFMIŠ 1980, 125–126). И только историк Инге Лукшайте в своем 647-страничном исследовании «Реформация в Великом Княжестве Литовском и в Малой Литве», опубликованном в 1999 г. (Lukšaitė 1999), отвела Исааку Трокскому одну треть страницы. Впрочем, р. Исаак вообще не избалован исследованиями, почти ничего неизвестно ни о его жизни, ни о личности, кроме некоторых сведений, которые сообщает Инге Лукшайте:

«Общая атмосфера побудила и богословов других вероисповеданий, опиравшихся на Библию, заняться исследованием библейских текстов. Как раз в конце XVI века, в 1593 г., [представитель] караимского духовенства Исаак Трокский (Icchak ben Abraham, около 1525 – около 1586[1]) написал труд большого объема на иврите *Укрепление веры* (*Chissuk Emunah*, латинская транскрипция *Chisuk emuna*), в котором исследовал Ветхий Завет – главную караимскую религиозную книгу, критически сопоставлял тексты Нового и Ветхого заветов. Списки сочинения и переводы в XVII веке широко распространились в Европе. Исаак Трокский, когда писал о формулировках св. Троицы в Библии, зафиксировал много отголосков полемики, происходившей между арианскими и евангеличе-

[1] В Еврейской Энциклопедии 1533–1594 гг., в издании немецкого перевода 1865 г. в Сохрау дата смерти тоже 1594 г., в обоих совпадают также и сведения о том, что текст был не написан в 1593 г., а издан его учеником Иосифом бен-Мордехаем Малиновским. Впрочем, он никак не мог написать сочинение после своей смерти, если по версии Лукшайте он умер в 1586 г.

скими реформаторами, которые находились в Великом княжестве Литовском, говорил о взглядах М. Чеховица (M. Czechowic), С. Будного (S. Budny), но нет никакого основания считать его близким к арианцам или апологетом иудейской религии. Движение по исследованию и переводам Библейских текстов, которое вдохновила Реформация, дало импульс и караимскому богослову» (Lukšaitė 1999, 456).

Многие формулировки этого текста, интерпретации, не говоря уже о ляпсусе, будто он написал книгу через несколько лет после своей смерти, к сожалению, несколько сомнительны. И это касается, во-первых, как места и значения Библии в межконфессиональных и межрелигиозных полемиках того времени, так и места изучения и исследования Библии в иудейской среде вообще; во-вторых, кого и какую точку зрения представлял р. Исаак, и в-третьих, что являлось объектом его критики, каким методом он пользовался и какое место в этом сочинении занимали тексты Чеховица и Будного. С другой стороны, в этом исследовании вообще обойден вниманием полемический характер текста Исаака Трокского, а также судьба сочинения. Далее эти и некоторые другие проблемы (роль этого сочинения в европейском свободомыслии в частности) будут рассматриваться более подробно. Наша задача не состоит в том, чтобы опровергнуть или критиковать цитированный текст. Последний был только пре-текстом для выделения указанных проблем, которые в основном нас и интересуют.

Место Библии в полемике иудеев и христиан, и как она отразилась в изданиях Библии в Великом княжестве Литовском и Польше в XVI веке

Мнение о том, что общая атмосфера эпохи каким-то образом вдохновляла и представителей других вероисповеданий, опирающихся на Библию, заняться изучением Библейских текстов, находим и в «Истории Польши» Нормана Дейвиса (Davies 1993, 260). Но Библия для всех иудеев – как раввинистических, так и караимов, является главной священной книгой, а не только «одним из религиозных» текстов наряду с другими, и она всегда была изучаема. Для караимов, которые отбросили Устный Закон, воплотившийся в раввинистическом иудаизме в Талмуд; Письменный Закон, т. е. Библия, является главным текстом, интерпретируя который подходящими методами (один из излюбленных методов – так называемый *пешер*, суть которого состоит в том, что библейский текст интерпретируется в свете актуального исторического контекста интерпретирующего; другой метод – филологический анализ, а также разные методы умозаключения (Szyszman 2000, 38–43)), караим уясняет законы, которые должен соблюдать. Можно согласиться с Н. Дейвисом, что действительно иудейская секта, называемая караимами, была особенно привержена к дословному прочтению Священного Писания. Поэтому начавшиеся

диспуты в христианской среде о Священном Писании могли заинтересовать и караимов (Davies 1993, 260). С другой стороны, можно согласиться и с другим исследователем, Робертом Даном, который предполагает, что конкретно Исаак Трокский мог воспользоваться тем, что он караим, стоящий несколько в стороне от раввинистов, чтобы выступить в полемике против христиан со своей аргументацией, используя аргументацию самих христиан, поскольку он наблюдал за полемикой, которая происходила между Мартином Чеховицем (Чеховичюсом) и раввинистическими евреями, в частности, с Иаковом Белжицем (Jakob Bełżyce) из Люблина по поводу Талмуда (Dán 1988, 72). Тракай в ту эпоху вообще был одним из центров религиозного/этнического сосуществования: наряду с караимской общиной там проживали татары, т. е. магометане, а также католики. Норман Дейвис предполагает, что группы антитринитариев в семидесятые годы XVI века начали появляться в Тракай, где одна группа осела и начала практиковать «моисеевский закон» (хотя неясно, что именно имеется в виду), и была злобно называема «необрезанными иудеями», и что одним из их сторонников был и Симон Будный, в то время один из крупнейших гебраистов. Но исследователь Роберт Дан очень сомневается насчет того, действительно ли С. Будный был сторонником иудаизирующих, несмотря на то, что он во многом опирался на так называемый «Старый Завет», но и он, и его сподвижники опирались на оригинальный текст Библии только для укрепления аргументов мессианства Иисуса, и новозаветные тексты тоже считали вполне священными (Dán 1988, 74)[2]. Его комментарии к Ветхому и Новому Завету были изданы в Несвижюсе (Несвиж) в 1572 г. Сам Исаак Трокский следил за дискуссиями Будного и Чеховица (или Чеховичюса)[3] по поводу Священного Писания, и сам написал сочинение, в котором излагал свою критическую точку зрения не, как пишет Норман Дейвис, по поводу этих споров (Davies 1993, 260), но по поводу христианских воззрений вообще, где отразилась и полемика

---

[2] Дан указывает также на то обстоятельство, что и Мартин Чеховиц в своем сочинении «Trzech dni rozmowa o dzieciokrzczeństwie», и иезуит отец Станислав Ресциус (Stanislaus Rescius) в одном уцелевшем пассаже указывают, что эти литовские «жидовствующие» практикуют моисеевский закон, в том числе и обрезание (и таким образом несколько неадекватно называть их «необрезанными евреями»). Среди них известны Даниель Белинский (Daniel Belińsky) и Матиас Веге-Глириюс (Matthias Vehe-Glirius), от которых Будный отмежевался (см. Dán 1988, 75–76).

[3] В 1684 г., в издании «Bibliotheca anti-trinitariorum» (Bibliotheca Anti-trinitariorum, sive Catalogus Scriptorum, & succincta narratio de vita eorum Auctorum, qui praeterito & hoc seculo, vulgo receptum dogma de tribus in unico Deo per omnia aequalibus personis vel impugnarunt, vel docuerunt solum Patrem D.N.J. Christi esse illum verum seu altissimum Deum. Opus posthumum Christophori Chr. Sandii. Apud JOHANNEM ACONIUM, 1684) фамилия передается как Чеховичюс (Czecowicius), и он представлен как литовский и польский деятель.

http://www.bibliorossica.com

выше названных антитринитариев. Его исторические аргументы в большинстве случаев, как утверждает Дейвис, опирались на хроники Бельского, а новозаветные тексты – на Бжескую Библию[4], комментарии Будного, а также краковскую Библию 1575 года, т. е. польский перевод с латинской Вульгаты (Davies 1993, 260)[5]. Можно добавить, что еще одним историческим источником ему служил Талмуд.

В вводных статьях изданий Библии того времени прослеживаются следы как иудейско-христианской полемики, так и вообще проявившегося в те годы интереса христиан к оригиналу библейских книг. Например, на первых страницах Библии[6], опубликованной в Брилингене в 1544 г., читаем: *Hic liber at Hebrais dici volet Beresith a prima ejus dictione hebraea, ut Genesis a Grecis et Latini, quod cieli et terra creationem narrat....* («Вот книга, на иврите Берешит называемая по первому ивритскому ее выражению, Генесис на греческом и на латыни, которая о сотворении небес и земли рассказывает...»). В предисловии к Бжестской Библии 1577 г. говорится о плачевном состоянии знания Библии среди христиан, в то время как евреи с самых малых лет учат своих детей Священному Писанию, и этим срамят христиан, но они заслоняют Талмудом действительное познание Библии.[7] В том же столетии вышло и очень интересное издание Евангелий с комментариями Николая из Лиры, композиция текста которой по своей структуре напоминает листы Талмуда: посередине несколько строчек из Евангелия, а вокруг распределены комментарии. Комментируя разногласия генеалогических списков Иисуса по Матфею и Луке, Николай из Ли-

---

[4] Biblia Sacra, to iest: Wzystkie Księgi Starego i Nowego Przymierza; z Żydowskiego i Greckiego Języka ná Polski pilnie i wiernie przetłumaczone. W Brześciu Litewskim, Roku MDLXII (1563).

[5] BIBLIA to iest księgi Starego y Nowego testamentu, 1577. Норман Дейвис, вероятно, неточно датирует последнюю. Это издание было посвящено Королю Польши и Великому Князю Литовскому: «SERENISSIMO AC POTENTISSIMO PRINCIPI, ET DOMINO, DOMINO STEPHANO EIUS NOMINIS PRIMO, DEI GRATIA POLONIAE REGI, Magno Duci Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Pomeraniae, Mazouiae, Samogitiae, Kijouiae, Volhiniae, Podlachiae, Liouniae, etc. Principi Transyluaniae. Domino Domino mihi clementissimo».

[6] BIBLIA SACROSANCTA, EX POSTREMIS orthodoxorum doctorum omnium, vigiliis, ad hebraicam veritatem, et probatissimorum, ac manuscriptorum exempliarum fidem. Cum Argumentis, Indice historiarum, et Hebraicorum nominum interpretatione. Apud Nicolaum Brylingerum, Anno M.D.XLIIII.

[7] «... Czynią nam zaprawdę sromatę Żydowie y Turcy, którzy wnet za młodu dziatet swych w żadne inne pisma nie wprawnią, iedno w ony, które sobie oni wedle podania przodków swych a wedle mnemania swego za święte a zbawienne być rozumieią, jako Żydowie którzy nie wczynionym z młodych lat swych się nie ćwiczą iedno w zakonie Bożym, którzy chociaż oni Thalmudem swym ciągnąc pisma po swey stronie zasłoniaią a prze wykład Rabinów swych tu prawdziwemu poznaniu iego przydżnie mogą, wszakoż przed się żadnego innego ćwiczenia za młodu dzieciom swym nie dawaią iedno zakon Boży...».

ры употребляет даже диаграмму кабалистических сфирот, но заполняет ее именами из этих генеалогий. Это одно из свидетельств интенсивного интереса в христианских кругах к еврейским текстам, и особенно библейским комментариям. Только Краковская Библия 1577 года, польский перевод с латинской Вульгаты, в предисловии аргументирует свой выбор придерживаться традиционного перевода, сделанного более тысячи лет назад св. Иеронимом, тем, что, как показывает практика, появившиеся в последнее время многочисленные переводы Библии, хотя и согласовывались с еврейским оригиналом, но так разнятся между собою, что вряд ли хоть один из них действительно может претендовать на полное соответствие этому оригиналу.

Судьба сочинения караима Исаака Трокского в качестве еврейского полемического антихристианского трактата

Сочинение Исаака Трокского было написано в 1585 г. или (по другим версиям) в 1593 г. (Dán 1988, 69). Публикация связывается с именем его ученика Йосефа бен Мордехая Малиновского[8]. По началу этот «польско-гебраитский теологический коктейль», по довольно сомнительному выражению Нормана Дейвиса, не заслужил большого внимания, но когда в 1681 г. был переведен на латынь, а потом и на французский и английский, то широко распространился в среде гуманистов и просветителей, которые пользовались им «для борьбы с обскурантизмом христианских Церквей» (Davies 1993, 261). Наверно он имел в виду, что не заслужил большого внимания среди гуманистов. Переводчик сочинения на немецкий язык в XIX веке Давид Дойч пишет, что пока сочинение не было напечатано (наверное, и не переведено), оно не могло быть очень доступно, а как только было напечатано, оно начало легко и широко распространятся (Deutsch 1865, VI). Немецкий исследователь Иоганн Христоф Вагензейл (Johann Christoph Wagenseil), как пишет Дойч, профессор юриспруденции и восточных языков в Альторфском Университете в Байере, однажды сопровождал графа Абенсберга в его путешествии в Африку и там приобрел одну рукопись этого сочинения. Вагензейл сделал перевод на латынь (очень грубый дословный перевод, как считает Дойч (там же, IX)) и в 1681 г. издал в Альторфе (там же, VI) в сборнике других еврейских антихристианских текстов такого рода под названием «Tela ignea satanae»[9].

---

[8] См. Deutsch 1865, VIII. Норман Дейвис передает версию, отличную от Дойча, что текст был опубликован в 1585 г. В Еврейской Энциклопедии (т. XV) указано, что Малиновский издал его в 1593 году с введением и указателем.

[9] Tela ignea satanae. Hoc est: Arcani, et horribiles Judaeorum adversus Christum Deum, et Christianam Religionem libri Anekdotoi. Sunt vero: R. Lipmanni Carmen Memoriale. Liber Nizzachon Vetus Autoris Incogniti. Acta Disputationis R. Jechielis Cum Quodam Nicolao. Acta Disputationis R. Mosis Nachmanidis Cum Fratre Paulo Christiani, Et Fratre Raymundo Martini. R. Izaaki Liber Chissuk Emuna. Libellus Toldos Jeschu. Joh. Christophorus

Таким образом, видно, что рукописи сочинения в начале XVII века распространялись в еврейской среде даже в Африке, а потом опять (или хотя бы приобретя некий другой статус) попали в Европу. Тогда оно и распространилось по всем направлениям, и стало книгой, в опровержении которой многие христианские ученые видели одну из своих главных задач (Deutsch 1865, VII). Дойч утверждает, что их попытки не увенчались большим успехом, потому что в XVIII веке оно было подхвачено свободомыслящими как один из важнейших источников своей аргументации (там же). Пользовались этим сочинением даже Вольтер и другие французские энциклопедисты, а также английские деисты (Davies 1993, 261). Что же касается Вольтера, то его позиция в отношении сочинения Исаака трудно определима. С одной стороны, он как будто действительно высоко ценил его, как можно считать по одному из его выражений в философско-литературных «Разных текстах» (Mélanges, т. 3, с. 344[10]), где он пишет: «Оно вобрало в себя все трудности, с которыми всегда сталкивались неверующие... И наконец-то даже самым закостенелым неверующим нечего добавить, что уже не находилось бы в этих *Укреплениях веры* рабби Исаака...». Но с другой стороны, во многих своих текстах Вольтер не менее, чем христианство, критикует и то, что он называет иудейством, хотя, как видно из текстов, более всего он нападает на евреев – «литературных героев Библии», которых ему без особого труда «удается» изобразить довольно жестокими и не толерантными (как этого требует от них «их Бог»)... В исторических «Разных текстах» (Mélanges, т. 3), в одной из своих полемик, в предисловии он поясняет, что один профессор из колледжа на улице Сен-Жак в Париже в 1771 г. написал сатиру против христиан на имя трех голландских евреев, а другую опубликовал в Париже в трех томах в 1776 г. на имя трех португальских евреев, проживающих в Голландии, в Утрехте (Voltaire 1824). Иронически представив себя как бы христианином, он полемизирует с этим профессором (то есть, с этими «шестью евреями»). В главе «Ordre de tuer» («Постановление об убийстве») он, в частности, пишет: «В вашем третьем письме, господин, где вы возносите прекрасную похвалу нетолерантности, вы забыли процитировать знаменитый пассаж из Второзакония:

“Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: «пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им»... Если будет уговаривать тебя тайно брат

Wagenseilius ex Europae Africaeque latebris erutos, in lucem protrusit, Theologorum Christianorum fidei, ad tanto rectius meditandum ea, quae conversionem miserrimae gentis Judaicae juvvare possunt, illos committens commendansque... Anno Christiano M. DC. LXXXI. (1681).

[10] Цит. по Deutsch 1865, VII.

твой (сын отца твоего или) сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, говоря «пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои»... то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его; но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти..." (Втр. 13: 1–2.6–10а)[11]. Вы содрогнулись, господин, если вы христианин; вы задрожали, чтобы ваши Евреи, секретарем которых вы представляете себя, не использовали этот ужасный пассаж против христиан. Фактически знаменитый рабби Исаак с пятнадцатого столетия использовал его в своем *Укреплении веры*, чтобы попытаться оправдать своих соотечественников в богоубийстве, в котором они имели несчастье быть виновными. Этот раввин претендует на то, что закон Моисея вечен, непоколебим (читайте его двадцатую главу); и из этого он вывел, что его предки поступили в своем богоубийстве как им настоятельно приказывал их закон»[12].

В действительности в упомянутой главе рабби Исаак говорит только о вечности и непоколебимости закона Моисея и ни одним словом не упоминает ни тот отрывок Второзакония, ни какое-либо богоубийство с еврейской стороны. Вольтер, видно, здесь, как и во многих своих библейских комментариях, равно как и в других полемиках, использовал тексты слишком свободно, усматривая в них то, что хотел доказать, а не то, что там написано.

Давид Дойч пишет, что р. Исаак хорошо знал как раввинистическую, так и христианскую литературу и теологию (Deutsch 1865, V). Кажется, он был хорошо осведомлен о диспутах самих христиан. Сочинение, по его мнению, до его перевода вышло три раза, с переводами на латинский, на испанский (по утверждению Вагензейля), и на немецкий (там же, IX–X). Новый перевод на немецкий язык, согласованный с рукописями, сделан Дойчем в середине XIX века и опубликован в 1865 году в Сохрау. Переводчик в предисловии признается, что цель, которую он преследует, предлагая новый перевод этого сочинения – вернуть эту книгу в обиход еврейской публики, тем более что христианские миссионеры уже давно пытаются, как он пишет, отвернуть самих евреев от их веры и повернуть в христианскую. Это значит, что сочинение даже и в XIX столетии могло

[11] Синодальный перевод.

[12] «Vous avez frémi, monsieur, si vous êtes chrétien ; vous avez tremblé que vos Juifs, dont vous êtes fait secrétaire, n'abusassent contre les chrétiens de ce passage terrible. En effet, le fameux rabbin Isaac, du quinsième siècle, l'employa dans son *Rempart de la foi*, pour tâcher de disculper ses compatriotes du déicide dont ils eurent le malheure d'être coupables. Ce rabbin prétend que la loi mosaïque est éternelle, immuable (lisez son chapitre vingtième); et de là il conclut que ses ancêtres se conduisirent dans leur déicide comme leur loi ordonnait expressément» (p. 405-406).

http://www.bibliorossica.com

остаться актуальным не только для просветителей и гуманистов, но и для евреев, даже раввинистов (там же).

Другой вопрос, какое иудейство представлял р. Исаак, и как случилось, что он так часто был представляем (и это очевидно в текстах Вольтера) просто как еврейский раввин, а не как караим? Дело в том, что на обложках сочинения не указано, является ли автор караимским или раввинистическим иудеем, более того, этот рабби Исаак говорил от имени иудеев, и в самом тексте то там, то здесь проскальзывает какое-нибудь указание на Талмуд. Путаница насчет тех и других иудеев была реальна в то время в самом местечке Тракай и вообще в Великом княжестве Литовском. Проживали ли евреи в Тракай и в каком количестве, до сих пор остается дискуссионном вопросом. Традиционно мнения евреев и караимов расходятся по поводу известной грамоты 1388 г., дарованной тракайским евреям, по поводу которой трудно сказать, кто именно имеется в виду. Аналогичная ситуация и с другими грамотами: в 1441 г. великий князь литовский Казимир Ягелла (Йогайла) предоставил тракайским евреям магдебургское право, по грамоте 1507 г. евреи могли платить такой же чинш, как и другие мещане, были освобождены от каких бы то ни было специальных налогов, мыт, полевых работ и других натуральных повинностей, могли свободно проезжать по дорогам и рекам, как и другие тракайские мещане. 3 декабря 1646 г. король Владислав IV грамотой установил, что грамоты 1441 и 1507 гг. даны не иудеям вообще, а именно караимским иудеям (*nomine judeorum Trocensium, rithus Karaimici*). Таким же образом и грамота того же года, дарованная брестским евреям, так же говорит и о тракайских евреях (Троки), т. е. в документах хотя бы до середины XVII века нет ясного различия между раввинистическими и караимскими иудеями, даже если говорится о тракайских евреях. С 1648 г. несколько раз повторялась привилегия иудеям караимского толка проживать в Тракай (1654, 1670, 1679, 1701) (см. там же). Такая же неясность и в сборнике документов, собранных Бершадским, в которых говорится о нескольких евреях из Тракай[13]. В этих документах нет упоминания ни об одном тракайском иудее караимского толка, поэтому остается вопрос,

[13] Нахим Ескович и Еско Мордухаевич (№ 58. 1555 г., Августа 19. Из актовых книг Метрики Литовской «Судных дел» № 35, f. 10. R. Жалоба Трокских евреев Нахима Есковича и Еска Мордухаевича на Наместника Трокскаго п. Богушевскаго в противузаконном заключении их в тюрму (с. 48), № 150. 1562. Из актовых книг Метрики Литовской «Судных дел» № 45, f. 17, R. Королевское решение по жалобе войта г. Троки Матфея Николаевича, совокупно с мещанами и евреями Трокскими, на арендатора «коморы солодовной» еврея Еска Мордухаевича, что он продает солод дороже и меньшею мерою, чем сам *покупает*, и др.), Еско Ишейкович, Еско Абрамович (№ 28. 1565 г. Ноября 7. Из актовых книг Метрики Литовской «Судных дел» № 46, f. 242. R. Мировая сделка Трокскаго еврея Еска Аврамовича с Федором Занькевичем, подданым княгини Ильиной с Гольшан, отыскивавшим с Еска 110 к. гр) и др. (см. Русско-Еврейский архив 1882).

имеются ли в виду в указанных документах именно раввинистические иудеи, или в использованных им документах не делалось ясного различия между ними и караимами, хотя в некоторых других документах того же сборника такое различие было сделано (см. Szyszman 2000, 155). Сегодня появляется все больше исследований этой проблемы, но нам здесь важен только тот факт, что такая путаница на самом деле была реальной. Таким же образом, наверное, и действительную принадлежность р. Исаака из одного этого сочинения установить невозможно. Каким же образом все-таки было установлено, что речь идет именно о караимском иудее? Указание на это можно найти у Дойча. Он пишет, что об авторе (как его конфессиональной принадлежности, так и о времени и месте) сочинения долгое время ходили довольно разные слухи. После его издания Исаак был представлен как раввинистический автор, а также что он из Краке (Кракау, קראקא), и далее в тексте указана дата 1615 (Deutsch 1865, VII). И только некий Иоганн Христиан Вольф усомнился в этом, найдя в издании одного сочинения «Dod Mordechai» 1715 г. о караимах под названием «Notitia Karaeorum» цитату из книги «Хазон Эмуна» (חזון אמונה), где упомянута полемика с ученым христианином и где р. Исаак Трокский (Исаак Троки) из Литвы, умерший в 1594 г., назван ее автором, и отмечено, что сочинение закончил не он сам, а его ученик Иосеф бен Мордехай Гакадош (там же, VIII). Это подтвердила и одна рукопись сочинения, которая находилась у некоего пастора Унгера, в которой не было сказано, что автор из Краке, и вместо 1615 г. указан 1593 г. Унгер высказал предположение, что קראקא (Кроки, Крокау) должно быть прочитано טראקא (Траке, Троки, Троке). В дальнейшей дискуссии и исследованиях Вольфа и Унгера (который в письмах уведомил Дойча о своих соображениях) эти предположения были подтверждены (там же, IX). Таким образом, караимство автора, по всей видимости, было установлено только в XIX веке.

Особенности полемик иудеев и христиан в XVI веке, подход р. Исаака и место текстов Чеховица и Будного

Лукшайте слишком смело, как и Дейвис, утверждает, что стремление христиан изучать эти тексты могло как-то вдохновить и иудеев. Можно говорить о каком-то влиянии только в том смысле, что в ту эпоху многовековая полемика между христианами и иудеями начала использовать иные, нежели раньше, то есть библейские, аргументы. С самого зарождения христианства христиане полемизировали с не-христианами, поначалу с язычниками и иудеями, а впоследствии только с иудеями, оставшимися маргинальной нехристианской группой в Западной Европе, по отношению к которой предпринимались всяческие попытки (как мирные, так и насильственные) убедить в правоте христианских догматов веры. Иудеи, втянутые в диспуты, были вынуждены выслушивать проповеди христианских богословов, их аргументы, и со своей стороны пытались формулиро-

вать контраргументы. Таким образом, в средневековье появилось много иудейских полемических текстов против христианства. Дискуссия была по большей части философской, потому что средневековая еврейская интеллектуальная элита была пропитана процветавшей в арабском мире философией и науками, перенятыми из античной Греции, тогда как в самой Европе значительная часть сочинений Аристотеля и Платона еще не были известны, и вся еврейская полемика была ориентирована на логическую несостоятельность христианских теологических постулатов. Использовалась силлогистика Аристотеля, аргументации арабо-еврейских философских школ, таких как мутакалимы, и т. д. (Lasker 1977).

В 1239 г. еврейский апостат Николас Донин из Рошеля предъявил римскому папе Григорию IX обвинение против Талмуда, и Григорий IX разослал буллы, чтобы экземпляры Талмуда были исследованы. В Париже было организовано такое открытое исследование (Loeb 1881, 3–4). В 1240 году в Париже состоялся диспут между Донином и четырьмя раввинами (Иехиель из Парижа (Виво из Мё (Vivo de Meaux) согласно латинским источникам), Иуда б. Давид из Мелуна, Самуил б. Соломон и Моисей из Куси (Coucy)) (там же, 4). Талмуд был осужден и несколько экземпляров были публично сожжены в Париже примерно в 1242 г. Существовали две версии пересказов этого диспута – ивритская и латинская. Часть одной из версий, ивритской, была опубликована в том же сборнике Вагензейля «Tela ignae» (там же)... И это был не единственный такой диспут. Таким образом, примерно в тринадцатом веке началось знакомство христиан с Талмудом (особенно теми пассажами, в которых можно было заподозрить анти-христианскую, или анти-христовую полемику), а в то же время и с еврейскими комментариями Библии.

Исаак Трокский жил в таком еврейском окружении, которое не занималось философией, хотя и велась некая дискуссия между евреями и христианами, и более того, полемические войны велись уже в самом христианском лагере, которые все-таки прямо или косвенно задевали и иудейский мир, потому что касались спора об интерпретациях Библии. Наверное, это обстоятельство послужило толчком и для Исаака Трокского, чтобы попытаться представить свои аргументы против христиан, хотя главная цель его книги, как видно из наименования, состояла в укреплении своей собственной веры, хотя традиционно караимский полемический пыл был направлен не против христиан, а против раввинистов... В Литве и Польше в XVI веке происходили полемические войны, как и в остальной части Европы, в самом христианском лагере. Реформаторское «возвращение к истокам» неминуемо должно было каким-то образом коснуться и иудеев, как раввинистических, так и караимов, потому что они знали иврит и читали Библию в оригинале. И были попытки использовать эти знания, а вместе с тем некоторые увлеклись и раввинистическими комментариями Библии. Во время упомянутой парижской дискус-

сии Р. Иехиель констатировал, что многие клерикалы сами учили иврит у евреев (там же, 5). Но в своих межхристианских полемических дискуссиях даже самые радикальные реформаторы предпринимали усилия отмежеваться от иудеев и иудейской традиции комментирования, наверное, чтобы и сами не были заподозрены в «иудаизировании». Но в принципе, признавая Иисуса мессией и признавая книги Нового Завета (Евангелии и Апостольские послания), вряд ли, как полагает Р. Дан, они боялись быть причисленными к настоящим «жидовствующим». С другой стороны, с христианской точки зрения, могут называться «жидовствующими» лица не обязательно порвавшие с основными христианскими постулатами веры, но только слишком увлекшиеся иудейскими текстами, комментариями, утверждающие в той или другой мере незыблемость Закона Моисея, и вообще «кокетничающие» с иудаизмом.

В этом контексте сочинение Исаака из Троки «Hizuk Emuna» («Укрепление веры») представляет как бы иудейскую точку зрения. Вопрос только, какую именно. Аргументация Исаака Трокского, кажется, не прибегает к использованию раввинистических авторов, раввинистических комментаторов Библии, как например, Рамбама (Маймонида), Нахманида, Йехуда га-Леви, ни Раши, ни Кимхи, ни Ибн Езра, а опирается только на библейский текст и разум. Но современные исследователи, такие как, например, Роберт Дан, приходят к выводу, что через посредство христианских авторов из лагеря реформатов и арианцев, к аргументам которых он прибегает, р. Исаак использует аргументы раввинистических авторов, к которым прибегали эти христианские авторы. Но, в общем, Исаак Трокский, наверное, как караим, пытается в самой Еврейской Библии найти аргументы против разных догматов и установок христианского богословия – мессианства Иисуса, св. Троицы и других, которые претендуют на то, что опираются на Библию.

Сочинение состоит из двух частей. Первая часть – из 50 глав, а вторая – из 100. В первой части каждая глава посвящена одному из христианских догматов или представлений, подтверждение которых христиане как будто находят в Еврейской Библии, например, мессианство Иисуса, или убеждение христиан, что Бог отбросил израильский народ, потому что они не поверили, что он прислал мессию, и доказательство этому – то, что у них нет своего царя, ведь они не приняли настоящего своего царя – Иисуса, и т. д. И автор пытается в той самой Библии найти аргументы как против этих христианских догматов, так и для защиты исторической судьбы израильского народа. Исаак подходит к тексту столь же критически и с тех же аналитических позиций, как и его современник Симон Будный (Lukšaitė 1999, 314): аргументы Трокского опираются в основном на филологию (на трактовку изначального значения библейских слов и выражений, сопоставление текстов (хотя не вполне «научно» с точки зрения современного текстологического анализа, так как он сопоставлял не сами

тексты, а только перекрестные цитаты одних текстов в других)), а также на исторический и лингвистический контекст. Начавшееся критическое изучение Библии в христианской Европе того времени тоже прибегало к критическим исследованиям библейских текстов, пытаясь установить изначальное значение слов, изначальные версии текстов. Как раз этим занимался и Симон Будный. Но, как будет показано, Симон Будный использовал и имевшуюся в его распоряжении раввинистическую традицию комментирования, что не было чуждо и Исааку Трокскому. Наиболее известны аргументы р. Исаака против догмата св. Троицы, по поводу которого велись дискуссии и в христианском лагере, и особенно интенсивно в XVI в. в Польше и Великом княжестве Литовском. Ссылаясь на тексты Библии, он доказывает несостоятельность христианской аргументации для доказательства этого догмата, поскольку, по его мнению, христианские теологи не понимают смыслового разнообразия многих важных терминов на древнееврейском языке. Исаак пользуется только экзегезой библейских текстов и критикой, почерпнутой из полемики самих христиан, а также текстами Нового Завета (НЗ). Например, в 10 главе он пишет, что даже в самой главной христианской молитве «Отче наш» существует обращение только к Богу Отцу как единственному Богу и вовсе не упоминается ни Св. Дух, ни Сын. И тогда он замечает, что на это обстоятельство «обращают внимание даже такие движения среди христиан, как эбиониты, серветы и арианцы», известный в то время итальянский антитринитарий Николо Парута (153?–1581) в своем сочинении на латыни «De uno vero Deo Jehova disputationes», а также Мартин Чеховиц в своем сочинении «Диалог» и другие, подобные им, как пишет Исаак, «опираясь на свое собственное Евангелие, основательно опровергают Троицу». Исаак опирается также и на Симона Будного (1530–1593). В своем сочинении он как бы суммирует аргументы религиозных полемик своего времени, используя их в своих целях. Роберт Дан, с другой стороны, исследовав эти цитаты и текстуальные референции Чеховица и Будного (антитринитарианские, в частности), которые использовал Исаак в своем труде, пришел к выводу, что его интересовали не более или менее христианские их воззрения, но именно их ссылки на средневековые раввинистические источники, в которых так или иначе прослеживалась раввинистическая полемика с христианами или просто раввинистические комментарии Библии (Dán 1988, 78). Тем более это видно из критики Нового Завета, где он полемизирует с Будным уже как с христианином (там же, 76). Но в принципе, как предполагает Р. Дан, р. Исаак сам не был чужд использованию еврейских (раввинистических) средневековых полемистов и комментаторов и прибегает к текстам антитринитариев, особенно Симона Будного, в целях пропаганды – для подкрепления своих собственных аргументов (там же, 78). Оказывается, что сами эти христианские авторы, особенно Симон Будный, каким-то образом пользовались пер-

вичными или вторичными раввинистическими источниками. В другом месте сочинения Исаака каким-то образом проскальзывает аргумент, взятый и из Талмуда. Например, в 46 гл. второй части он говорит: «[В Иоанн 7:15 написано] "И дивились Иудеи, говоря: как он знает Писания, не учившись? И это тоже не правда, поскольку Иешу Назарянин был учеником Рабби Иегошуа бен Перахии и бежал с ним в Александрию Египетскую от царя Йанная, как свидетельствует мудрецы того поколения в Талмуде, которые видели это своими глазами"»[14]. Исторически этот аргумент р. Исаака несостоятелен, потому что упомянутые события, о которых рассказывается в Вавилонском Талмуде, происходили за два столетия до первого века нашей эры, и по всей вероятности, с другой личностью с таким именем. И это обстоятельство еще более усугубляет вопрос, какую иудейскую группу в действительности представлял р. Исаак. Наверное, вообще иудейство как таковое, находящееся в оппозиции христианству (по существу не выделяя ни одной из них). С другой стороны, Талмуд в данном случае использован только как исторический источник, а не как авторитетный священный источник, каким он был бы для раввинистов.

Во второй части р. Исаак подробно рассматривает новозаветные тексты, в которых обнаруживает большие противоречия, а также некорректность использования «старозаветных» текстов, с помощью которых христианские авторы пытаются доказать свои постулаты веры. Он доказывает, что из самих этих текстов никак нельзя заключить, ни что Иисус был

[14] Вав. Сангедрин, 107б (= Вав. Сота, 47а) «Наши раввины учили: пусть всегда левая рука твоя отталкивает, а правая приближает. Но не так, как Елисей, который оттолкнул Гиезия обеими руками, и не так, как р. Иегошуа бен Перахийа оттолкнул Иешу обеими руками. – О Гиезии [говорится] во 2-й книге Царств [5:20–27]. – А Иегошуа бен Перахийа [Лидер фарисеев и председатель (наси) Иерусалимского синедриона в конце II в. до н. э.], с ним что было? Когда царь Йаннай убивал раввинов, Иегошуа бен Перахийа и Иешу ушли в Александрию Египетскую. Когда настало спокойствие, Симон бен Шетах послал ему весть: "От меня, Иерусалима, тебе, Александрии Египетской, сестре моей: мой господин [пребывает] у тебя, а я остаюсь брошенной". Тогда он поднялся и встретился с ним в гостинице. Ему устроили почетную встречу. Он сказал: как хороша эта гостиница (*aksanja*)! Он (Иешу) сказал ему: рабби, у нее глаза слезятся [игра слов, основанная на двойном значении слова ξενία – "гостиница" и "трактирщица"]. Тот ответил ему: грешник, вот что тебя занимает! [Он] собрал 400 трубачей и объявил ему анафему. Через некоторое время он (Иешу) причел к нему и сказал: прими меня; но он не стал с ним разговаривать. Однажды, когда он (Иегошуа бен Перахийа) стал читать шема, встретился ему [Иешу]; он думал принять его, поманил рукой. Но тот подумал, что его отталкивает. Тогда он (Иешу) пошел, установил кирпич (Markulis [имеется в виду изображение Гермеса (Меркурия)]) и стал поклонятся ему. Он (Иегошуа бен Перахийа) сказал ему: вернись! Он ответил ему: так я принял у тебя [учение]: кто согрешил и соблазнил народ, тому нет возможности покаяться. – И учитель сказал [в заключение]: так Иешу совращал и свел Израиль с пути». [Перевод и комментарии из кн. Иисус Христос 1998, 314–315.]

воплощением Бога (или что сам себя считал таковым), ни что он Мессия... В некоторых местах Исаак критикует интерпретации тех самых авторов, на которых опирается в других местах, как, например, на Симона Будного. В Евангелии от Матфея 23,35 Иисус указывает на библейского Захарию, сына Берахьи, но в действительности во 2 книге Паралимоменон 24,20, как отмечает р. Исаак, говорится не о Захарии, сыне Берахьи, но о Захарии, сыне Иехойады. И здесь Исаак (II ч. 22 глава) критикует Симона Будного, который в своем комментарии объясняет, что Берахья это только другое имя того самого Иехойады.

Основные направления критики, которая прослеживается в сочинении Исаака, суть невозможность прямо из текстов Святого писания вывести христианские догматы, особенно св. Троицы, мессианства и богочеловечества Иисуса, основная аргументация направлена на доказательство того, что большинство христианских догматов веры выводится из некорректно переданных и комментированных «старозаветных» текстов. Это относится, например, к тексту о грехопадении, а также к некоторым библейским представлениям, таким как представления о загробном мире, которыми в христианской теологии обосновывается вера в искупление Иисусом первородного греха. Исаак считал, что опираясь даже на новозаветные тексты нельзя заключить, что Иисус – Бог и мессия.

Вместо заключения

Сочинение Исаака Трокского можно считать составной частью межрелигиозной и межконфессиональной полемики XVI века, основным источником аргументации и предметом дискуссии которой для всех сторон (как христиан, так и раввинистических и караимских иудеев) было Священное писание. Хотя он в своем тексте использовал знаменитых литовских (т. е. из Великого княжества Литовского) авторов Мартина Чеховица (или Чеховичюса) и Симона Будного, он все-таки представлял некую общую иудейскую сторону, не делая упора на то, что он караим, а иногда даже используя некие талмудические сведения (но не аргументы), и неявные ссылки на раввинистических авторов. Такое двусмысленное положение Исаака Трокского (который долгое время считался раввинистическим иудеем, и только в середине XIX века была установлена его принадлежность к караимскому толку) отражало реальную двусмысленность положения караимов в Великом княжестве Литовском с самого начала их появления здесь, которых несколько столетий путали с раввинистическими евреями. Подход к тексту у Исаака Трокского соответствовал современному ему критическому подходу к Библии (имеется в виду не критика Библии, но критический подход, попытка установить первоначальное значение текстов, филологический метод). В тексте р. Исаака нашли отражение не только отголоски всех этих дискуссий его времени, особенно дискуссии литовско-польских антитринитариев Симона Будного и Мар-

тина Чеховица (Чеховичюса), но и сам его текст впоследствии вошел в другие полемики, а именно полемики просветителей с тем, что они называли «христианским обскурантизмом», как антихристианский текст, но в то же время и как текст, представляющий некое общее «еврейское» прочтение Библии.

Литература

Иисус Христос 1998 – Иисус Христос в документах истории. Серия: Античное Христианство. Источники. / Сост., статья и комментарии Б.Г. Деревенского. Санкт-Петербург, 1998.

Русско-Еврейский архив 1882 – Русско-Еврейский архив. Документы и материалы для истории евреев в России. Т. 2. Документы и реестры к истории Литовских евреев (1550-1569) / Собрал и издал С.А. Бершадский. С. Петербург, 1882.

Троки – Троки // Еврейская Энциклопедия, т. XV, 19.

Dán 1988 – Dán R. Isaac Troky and his "Antitrinitarian" Sources // Occident and Orient. A Tribute to the Memory of A. Schreiber Akadémiai Kiadó. Budapest, Leiden, 1988.

Davies 1993 – Davies R. Boże igrzysko. Historia Polski. T. 1. Kraków, 1993.

Deutsch 1865 – Deutsch D. Vorrede des Herausgebers und Uebersetzers // (Besestigung im Glauben, von Rabbi Yizchak, Sohn Abrahams s. A., neu herausgegeben mit verbessertem hebräischem Ferte überhaupt und insbesondere durch Benutzung correcterer Lesarten nach einem Manuscripte, vermehrt mit einer Uebersetzung ins Deutsche und begleitet von einigen Anmerkungen, von David Deutsch, Rabbiner zu Sohrau in Ober-Schlesien. – Sohrau i. O.-Schl., 1865) מרי יצחק בּרי אברהם ספר חזוק אמונה

Lasker 1977 – Lasker D.J. Jewish Philosophical Polemics against Christianity in the Middle Ages. New York, 1977.

LFMIŠ 1980 – Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai / Red. R. Plečkaitis. Vilnius, 1980, t. 1.

Loeb 1881 – Loeb I. La controverse sur le Talmud sous saint Louis. Paris, 1881.

Lukšaitė 1999 – Lukšaitė I. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. Vilnius, 1999.

Szyszman 2000 – Szyszman S. Karaizmas. Vilnius, 2000.

Voltaire 1824 – Voltaire. Mélanges historiques. T. I. Un Chrétien contre six Juifs. Ou réfutation d'un livre intitulé. Lettres de quelques Juifs portugais, allemands et polonais. 1776 // Oeuvres complètes, T. 26. Paris, 1824.

http://www.judaica-russica.com

Русские старообрядцы в Великом княжестве Литовском: становление древлеправославной традиции

Г. Поташенко (Вильнюс)

Эмиграция старообрядцев на территории Речи Посполитой имеет огромное значение для истории старообрядчества XVIII–XX вв. и сыграло определенную роль (хотя и второстепенную) во взаимоотношениях между Россией и Речью Посполитой в XVIII в. В последние десятилетия появились новые исследования по истории и книжности старообрядцев в XVIII в. на территории нынешней Польши, Латвии, Литвы и Беларуси[1]. Однако еще многие проблемы остаются не решенными. Одна из них – подробный анализ становления древлеправославной традиции, вернее – поповской и беспоповской традиций в ВКЛ, и более детальное изучение историко-культурного значения отдельных старообрядческих центров в ВКЛ и религиозных обществ в целом как в контексте российской культуры, так и в контексте великокняжеской литовской культуры. Другой малоизученный вопрос – это существование разных общин, обладающих иными верованиями, ценностями и обычаями – короче, проблемы культурного разнообразия в ВКЛ и формы терпимости к ним в сословном обществе.

В данной статье рассмотрим главные вехи становления русского старообрядчества и попытаемся определить историко-культурное значение древлеправославной традиции в Великом княжестве Литовском.

Эмиграция русских старообрядцев в ВКЛ

Не хотелось бы заниматься упрощенным пересказом, однако напомню, что первые старообрядческие поселения в Речи Посполитой возникли во второй половине XVII и XVIII вв. Здесь старообрядцы были свободными людьми, пользовались относительной религиозной свободой и в современной Литве составляют культурно-отличительную группу.

[1] Основная литература по данному вопросу после 1970 г.: Iwaniec 1977, Jaroszewicz-Pieresławcew 1995, Заварина 1977, Подмазов 1973, Podmazovs 2001, Смилянская 1999, Поташенко 1999, Грицкевич 1984, Гарбацкі 1999.

http://www.bibliotekar.ru

Большинство первых старообрядцев эмигрантов поселилось на северо-восточных и восточных землях Великого княжества Литовского, а также в герцогстве Курляндском и в Ливонском воеводстве. Начало же эмиграции старообрядцев на территорию нынешней Литвы относится к концу 1670-х гг. (Дегуцкий летописец 1990, 187). Первый достоверно известный старообрядческий храм в 1710 г. был построен в деревне Пуща около Кряунос (ныне Рокишкский район) (Дегуцкий летописец 1990, 190; Поташенко 1998, 16–23).

В XVIII в. исход староверов носил постоянный и, по-видимому, с начала этого столетия приобрел массовый характер, являясь прежде всего реакцией на суровые и нередко жестокие религиозные преследования и социально-экономические события в России (см.: Поташенко 1999, гл. 2.1). Итогом этой эмиграции великорусских в ВКЛ и в Речь Посполиту в целом было возникновение организованных старообрядческих обществ разных направлений – как поповских, так и беспоповских. Наиболее многочисленным среди них были беспоповцы-федосеевцы, поселившиеся в основном в западной и северо-восточной части ВКЛ, в Курляндии и Инфлянтах (о преобладании федосеевцев на территории современных стран Балтии см.: Подмазов 1993, 168). Относительно большое общество составляли поповцы, по крайней мере, до второй «выгонки» ветковцев в 1764 г. Кроме того, в восточной части ВКЛ еще были небольшие группы поморцев и филипповцев.

Разделы Речи Посполитой, отсутствие полных источников переписи населения ВКЛ и другие причины не позволяют более точно определить численность русских эмигрантов в стране. Всего в 1791 г. в Речи Посполитой (на территории после первого раздела) могло проживать от 100 до 180 тысяч старообрядцев или 1,1–2% от всех 8,79 млн. жителей страны (подробнее об этом см.: Поташенко 1999, 93–98). Правда, если российские источники объявляли более внушительные или совсем невероятные цифры – 300 тысяч, не считая потомства со времени начала эмиграции (по данным Н. Панина) (СИРИО 1891, т. 72, № 639), и даже почти 1 миллион и более (по неофициальным данным) (РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 647, л. 7–9; там же, ф. 248, оп. 113, д. 1491, л. 138–139), то польские современники и историки ограничивались куда более скромной цифрой – лишь в 100 или 140 тысяч старообрядцев (Korzon 1897, 320; Wielhorski 1953, 221). Старообрядцы проживали преимущественно на территории ВКЛ, где они могли составить от 3 до 5 процентов от всех 3,6 млн. жителей Великого княжества Литовского (по данным переписи населения 1790 г.).

По сравнению с первой половиной XVI в. в XVIII в. религиозная ситуация в Речи Посполитой очень изменилась. Католики из доминирующего меньшинства до Люблинской унии стали в 1791 г., перед вторым и третьим разделами, большинством (4 660 000 человек (53,3%)), униаты составляли около трети населения (2 600 000 человек (29,5%)), православные были редкостью (300 000 человек (3,4%)), численность протес-

тантов резко сократилась (150 000 человек (1,7%)) (см.: Korzon 1897, 216, 320). Старообрядцы же уступали лишь иудеям, но сравнялись с протестантами и в несколько раз превзошли традиционные религиозные меньшинства – мусульман, караимов, армян.

Таким образом, в XVIII в. старообрядцы стали новым и в конце этого века на некоторое время одним из самых больших не доминирующих религиозных меньшинств в Речи Посполитой. Заметим, что основные центры русских старообрядцев в северо-восточной, отчасти центральной и юго-восточной Литве, которые существуют или существовали до настоящего времени, сформировались именно в 70–90-е гг. XVIII столетия.

Становление древлеправославной традиции в ВКЛ

Мы уже отмечали, что старообрядческая община в ВКЛ (и в Речи Посполитой в целом) была религиозно неоднородной. Здесь одновременно формировались несколько различных направлений старообрядчества, главными среди которых были поповцы-ветковцы и беспоповцы-федосеевцы.

Какое историко-культурное значение этих старообрядческих общин и их главных центров? Какое их место в культуре ВКЛ?

Сначала остановимся на более, но отнюдь не полностью, изученной поповской традиции в ВКЛ, которая известна благодаря Ветке и окружающим ее поселениям на великокняжеских землях панов Халецких и Красильского. В российской историографии существует высокая степень согласия в том, что Ветковский или вернее Ветковско-Стародубский старообрядческий центр[2] имеет выдающееся значение для старообрядчества поповского направления и даже в российской истории и культуре в целом (Воронцова 1991, 117–126; Смилянская 1999, 205–209). Роль этого центра сопоставима со значением другого известного старообрядческого центра – Выговской киновии, для истории беспоповства. Заметим, что старообрядчество зарубежья в XVIII в. – это все-таки религиозный и культурный феномен двух обществ: российского и польско-литовского.

Пользуясь религиозной терпимостью со стороны властей и дворян ВКЛ, так недостающей на родине, Ветка притягивала десятки тысяч старообрядцев прежде всего возможностью приобщиться к полноте церковной жизни и совершить таинства (Лилеев 1895; Смилянская 1999, 206–207). Существование церквей и монастырей с дониконовскими антимнисами, ежедневными богослужениями по полному уставу и церковным благолепием – основа процветания ветковских слобод. Хорошо известно, что жители ветковских слобод, как насильственно переселенные в Россию во время выгонок 1735 и 1764 гг., так и добровольно мигрировавшие со второй половины XVIII в., образовали

[2] В первой трети XVIII в. старообрядческие монастыри и скиты возникали как за литовским рубежом, так и на близлежащих русских землях в Стародубье, и лишь после повторного разорения Ветки в 1764 г. соседний Стародубский регион стал значительным центром поповцев, который продолжил традицию Ветки.

общины и поселения в Сибири, на Иргизе, на бывших землях Польской Короны (ныне Кировоградская область центральной Украины). Влияние Ветки распространялось на старообрядческие поселения в Бессарабии и Буковине. Местные поповцы поддерживали тесные контакты и со старообрядческим казачеством Дона и Медведицы.

Рассматривая историю старообрядчества XVIII в., нельзя не учитывать полемическую борьбу на Ветке между ветковцами и дьяконовцами, федосеевцами и новоженами. Ветковские полемисты (старец Феодосий (ум. 1711) (не путать с Феодосием Васильевым); священник Иов и др.) защищали такие особенности своего согласия, как употребление собственного мира, принятие приходящих из православия в старообрядчество через перекрещивание. При этом ветковцы порицали самосожжения, не отвергали иконы, писанные нестарообрядческими иконописцами, допускали совместные трапезы с иноверцами.

Ветковские монастыри и многочисленные кельи были не только старообрядческими книгописными мастерскими, школами и книгохранилищами. «Культурное значение Ветки, – пишет один из российских исследователей, – определяется прежде всего ее местом в сохранении древнерусского книжного и художественного наследия, в создании яркого и своеобразного центра книгописания, книгопечатания и иконописания, наводнившего своей продукцией поселения старообрядцев поповцев всей России и оказавшего в конце XVIII–XIX вв. решающее влияние на формирование других книгописных центров (прежде всего Гуслицкого) и центров старообрядческого книгопечатания» (Смилянская 1999, 207).

В первой половине XVIII в. в истории старообрядчества заметную роль играл федосеевский писатель и полемист из Стародуба Иван Алексеев, ратовавший за «новоженство» (т. е. движение среди беспоповцев в защиту церковных браков), против которого в середине XVIII в. с ревностью ортодоксов встали литовские федосеевцы-безбрачники. Именно И. Алексеев был первым историографом Ветковско-Стародубского старообрядческого центра.

Культурное влияние Ветки на российское старообрядчество, хотя и важное, должно было бы рассматриваться наравне с распространением этого влияния на русских староверов и нестароверов в ВКЛ и в Речи Посполитой в целом. Гипотетически можно говорить о некотором влиянии Ветковской школы иконописи на старообрядческих и православных изографов XVIII–XX вв. на территории нынешних Беларуси, Литвы и Латвии. Кроме того, это влияние Ветки не было лишь односторонним. На примере древнейшего рукописного собрания, дошедшего до наших дней, оно также впитало в себя идейное и художественное влияние прежде всего сопредельных православных земель Беларуси, Украины, Молдавии и Московского региона.

Другим важным старообрядческим обществом в ВКЛ были беспоповцы-федосеевцы. Федосеевцы начали массовое движение, которому в XVIII – нача-

ле XX вв. было суждено привлечь в свои ряды большинство беспоповцев (2,5 млн. последователей, кроме часовенных) в Восточной и Центральной Европе, и в Сибири (см. Старообрядчество 1996, 288). Название эта община получила от своего основателя Феодосия Васильева (1660-е–1711), бывшего диакона (по другим данным – дьячка) патриаршей Церкви и позже видного наставника этого общества. Свою деятельность Феодосий начал в окрестностях Крестецкого Яма. В 1699 г. из-за усилившихся религиозных преследований в Новгородском крае он был вынужден переселиться в Речь Посполиту, где в Русаново около Невеля на землях пана Куницкого создал одно из первых беспоповских общежитий за рубежом (подробнее см.: Житие 1869; Поташенко 1999, 171–183). Уничтожив сословные и классовые различия, беспоповцы отвернулись от общества и отказались подчиниться патриаршей церкви и русскому государству. Федосеевцы занимались физическим трудом, молились, придерживались безбрачия, общей собственности, равенства и миролюбия. Несмотря на то, что эта федосеевская община существовала около девяти лет (до 1708 г.), она была довольно крупным центром: в двух её обителях проживало до 600 мужчин и до 700 женщин, создавались рукописные сочинения. Особенно плодотворным был Феодосий Васильев. Он лечил молитвой и, получив широкое признание, начал полемизировать как по поводу некоторых элементов богослужебной практики с поморцами Выга, так и осуждал доктрину русской патриаршей Церкви, особенно дух и формы никоновских новшеств. Согласно с другими новгородскими отцами Феодосий утверждал, что в мире воцарился антихрист, и делал вывод о том, что благодать иссякла, никонианское священство и им совершаемые таинства неприемлемы. Вместо существовавших семи он признавал два таинства – крещение и покаяние, которые у беспоповцев совершают миряне, и проповедовал безбрачие для всех.

В 1707 г., по-видимому, в Русаново Феодосий Васильев написал книгу «Обличение», созданную им в ответ на сочинение Стефана (Яворского), митрополита Рязанского «Значение пришествия антихристова», и Иова, митрополита Новгородского «Ответ краткий о рождении антихриста». Теоретическое обоснование в этом его произведении мысли о воцарении духовного, мысленного антихриста стала с тех пор преобладающей среди беспоповцев в XVIII–XIX вв. (Смирнов 1895, 95; Смирнов 1909, 174).

На основе дониконовского русского православия и новой трактовки эсхатологической доктрины в контексте русской культуры XVII в., Феодосий Васильев вместе с другими лидерами федосеевства положил основу аскетическим и эсхатологическим настроением отмеченной религиозно-культурной традиции. В XVIII в. эта традиция ревнителям старины в России и русским-эмигрантам в Речи Посполитой стала приемлемой альтернативой как крепостной, со времен Петра I явно подернутой дымкой европеизма, секулярной культуре, так и официальной православной. Таким образом, Феодосия Васильева можно сравнивать с его современни-

ком Андреем Денисовым, основателем и руководителем знаменитой Выговской киновии в Поморье[3].

Религиозные верования и социальную практику Феодосия Васильева можно оценивать не только как зарождение федосеевского учения, но и как продолжение (в некоторых его аспектах) восточнославянской радикальной мысли вообще (Русская мысль 1991, 114–129; Флоровский 1991, 67–73).

Принципиально то же отношение к обществу, церкви и государству, законам мы видим в XVI–XVII вв. у идеологов радикальных направлений Реформации в Западной и Центральной Европе. Они видели в гражданском обществе и его институтах мир зла, порождение уже явившегося в мир антихриста. Они рассматривали его не духовно, а антропоморфно, телесно – прежде всего, как папу римского, как светских властителей, отступавших от древних апостольских установлений. Голландские анаболисты, чешские и моравские братья, польские антитринитарии также стремились порвать какие бы то ни было отношения с господствующей церковью и государством, отказывались служить в армии, обращаться в суд и т. д. Они избирали для устройства своих общин малодоступные места, каким, например, был Раков в малой Польше, ставший в конце XVI в. центром польских антитринитариев, которых называли еще братьями польскими, раковцами или арианами. (Davies 1998, 220; Jurginis 1965, 221–237; Из истории мысли Белоруссии 1962, 40–81, 126–143).

Отмечая сходство социальных утопий и практик, нельзя упускать из виду существенных различий этих двух традиций – старообрядческой (беспоповской) и радикально реформаторской. Старообрядцы признавали главные христианские догматы и жили согласно учению и устоям древлеправославия, а радикалы-реформаторы не признавали Св. Троицы и высказывали претензии на абсолютную свободу мысли.

Гудишкская обитель около нынешней Игналины (1728–1755) – еще один важный религиозно-культурный центр федосеевцев в ВКЛ. Убегая от преследований российских властей, в 1728 г. Евстрат Васильев

---

[3] В исследованиях второй половины XIX и XX вв. значение Феодосия Васильева в истории раннего старообрядчества несколько принижено. Он остаётся в тени знаменитых поморцев – братьев Андрея и Семёна Денисовых. Однако важную роль Ф. Васильева в период становления старообрядчества, прежде всего беспоповства, отмечали уже его современники, а также некоторые критически настроенные исследователи. По словам автора «Дегуцкого летописца», даже иноверные («никониане») называли Феодосия «староверческим патриархом» (Дегуцкий летописец 1990, 191). В «Историческом Словаре Староверческой Церкви» Павел Любопытный писал: «Феодосий Васильевич основатель Церкви…, даровитый, твердой памяти и славный буквалист…, он не раз состязался с Андреем киноврахом о тайне брака и везде его побеждал откровением и мудростью…, его плоды благочестия и ныне гласят во всех концах России, и он ими навечно себя обезсмертил» (Любопытный 1863, 172).

Критический по отношению к Ф. Васильеву профессор П. Смирнов также заметил, что он «был расколоучитель исполненный ревности и великий книжник, не лишен был умственных дарований, владел устным словом и словом на бумаге» (Смирнов 1898, XVIII).

с братией прибыл в Литву и основал здесь новую обитель (Дегуцкий летописец 1990, 195). Вероятно, здесь Евстрат написал биографию своего отца – «Житие Феодосия Васильева» (1742), ставшую главным источником жизни и деятельности основателя федосеевства.

Для современников мысль о пришествии антихриста, истолкованного ими как духовное, а не физическое существо, и учение федосеевцев о всеобщем безбрачии выглядят наиболее экзотическими чертами этого религиозного общества. В 1752 г. так называемый *Польский собор* в Гудишках принял известный в истории федосеевства устав, закрепивший учение Феодосия Васильева о безбрачии для всех и принявший строгие правила относительно новоженов, т. е. сторонников принятия церковных браков среди беспоповцев (см.: Устав Польский 1864). Религиозные правила федосеевцев 1752 г. утвердили разделение с поморцами в молении и общении. Однако, несмотря на радикализацию федосеевства, эти главные беспоповские общины придерживались общих для них и важных догматических положений о пришествии духовного антихриста и отсутствии «истинного» священства. Федосеевцы и поморцы признавали св. Предание и ориентировались на дониконовское русское православие. Почти двадцать лет спустя этот устав, пересмотренный и дополненный, будет положен в основу Московской Преображенской общины, самого крупного федосеевского центра конца XVIII – начала XX вв.

После разорения Гудишкской обители российскими войсками в 1755 г. федосеевские отцы основали новую обитель в Дегучай (1756 (1758)–1851) около нынешнего г. Зарасай, которая в конце XVIII в. и первой половине XIX в. стала важным религиозным и культурным центром беспоповцев на северо-западных землях ВКЛ и в Курляндии. Уже после падения Речи Посполитой в 1807 г. Дегуцкий наставник Тит Танаев был удостоен почетного звания «общего пастыря Литвы и Курляндии», которое после его смерти переняли и два других местных наставника (Дегуцкий летописец 1990, 244–245). По убеждению старообрядцев, это звание свидетельствовало о преемственности церковного наставничества от русского православия до Никона и его сохранении в традиции последовательной передачи одному из достойных духовных отцов в крае.

Наряду со становлением и утверждением федосеевского общества в ВКЛ, в XVIII в. шло формирование его церковной организации. Не приняв священства, федосеевское общество складывалось как древлеправославная Церковь, не имеющая трехчинной иерархии. Высшим органом Ее управления был собор, т. е. собрание духовных отцов и представителей приходов. Основу церковной организации федосеевцев, как и других беспоповцев, составляли автономные приходы, которыми руководили наставники или духовные отцы. В конце XVIII в. лишь на территории нынешней Литвы было не менее 16 федосеевских приходов (Поташенко 1999, 153), а на всей территории Речи Посполитой (до 1772 г.) их могло быть приблизительно в 4 или 5 раз больше.

Отдельная тема – это старообрядческое книгопечатание в Речи Посполитой, расцвет которого пришелся на вторую половину XVIII – начало XIX вв. Старообрядческое книгопечатание было важным в истории русского и польско-литовского типографского дела. В истории российской культуры появление старообрядческих изданий за рубежом – это первая нелегальная печатная продукция, изготовлявшаяся преимущественно для распространения внутри России. Оно имеет значение и как продолжение, своеобразное развитие традиции кирилловского книгопечатания в условиях, когда к концу XVIII в. в России окончательно установились сферы использования двух принятых тогда в обращение шрифтов (гражданского и кирилловского) в зависимости от тематики, характера и назначения издаваемых книг. Кирилловскому книгопечатанию была уготована функция обеспечения церковных нужд и религиозных потребностей (Вознесенский 1996, 76–82; Вознесенский, Мангилев, Починская 1996).

Старообрядческое книгопечатание внесло определенный вклад в развитие искусства книги. На примере старообрядческой книги, по словам З. Ярошевич-Переславцев, можно проследить «встречу культур Востока и Запада»: сочетание элементов графики униатских (кирилловских) и некоторых польских книг XVIII в. в перепечатках дониконовских изданий не исключает их из числа старообрядческих, потому что издатели не всегда точно придерживались правила копирования лист в лист (см.: Jaroszewicz-Pieresławcew 1995, rozdzial II).

На территории Речи Посполитой старообрядческие книги печатались в 1701–1812 гг.: в Могилеве (1701–1705, 1733–1773), в типографиях униатских монастырей в Вильнюсе (1767–1800 (или, согласно Вознесенскому, вплоть до 1812 г. (Вознесенский 1996, 6)), в Супрасле (1777–1791), в Почаеве (1782–1795), в типографиях Антония Тизенгауза в Гродно (1781–1792) и Пьера Дюфура в Варшаве (1785–1788, 1798). Среди них были не только перепечатки дониконовских книг первой половины XVII в., но и написанные самими старообрядцами тексты, необходимые для богослужения, а также тексты, освещавшие историю борьбы за староверие и полемику с синодальной Церковью (Jaroszewicz-Pieresławcew 1995, 200). Инициатором организации книгоиздания явились калужские старообрядцы-поповцы. Решающую роль в этом сыграло местное купечество, имевшее широкие связи с торгово-предпринимательскими кругами в России и других странах (Вознесенский, Мангилев, Починская 1996, 3). Невозможность организации книгопечатания в России, где оно оставалось под запретом до 1905 г. (за исключением двух лет – с 1785 по 1787 гг., когда легально действовала первая в России старообрядческая типография в Клинцах Черниговской губернии), заставляла старообрядцев обратить свой взгляд к соседней Речи Посполитой. Здесь книгоиздательство было свободно от прямого государственного диктата.

Издательская деятельность в Речи Посполитой в то время пришла в упадок, и владельцы типографий охотно стали принимать заказы старообрядческих купцов. Особую роль в развитии этого книгопечатания сыграл Вильнюс. В 1767 г. в типографии вильнюсского Свято-Троицкого униатского монастыря

вышло первое старообрядческое издание – учение Аввы Дорофея. В период с 1767 по 1812 гг. Включительно в Вильнюсе было напечатано не менее 50 старообрядческих книг. Это были в основном книги священного писания (Псалтырь, Евангелие), богослужебные (Часослов, Часовник, Шестоднев), а также издания дидактического, гагиографического и нравственного характера (Азбука, Евангелие учительное, Службы, житие и чудеса Николая Чудотворца и др.). Издание старообрядческих книг почти во всех польско-литовских типографиях прекратилось в 90-е гг. XVIII в. Лишь в Вильнюсе заказы выполнялись до 1812 г. Возможно, что издание книг для старообрядцев продолжил Мартин Почобут, в качестве ректора Вильнюсского университета перенявший руководство Вильнюсской типографией (Jaroszewicz-Pieresławcew 1995, 72).

В XVIII – начале XIX вв. вышло огромное для того времени количество старообрядческих изданий: 150 на территории Речи Посполитой. Лишь в конце XVIII – начале XIX вв. в тайных старообрядческих типографиях, которые в разное время действовали в Клинцах, Яссах, Махновке (Киевская губерния), Янове (Подольская губерния), было напечатано более 200 книг (для сравнения: по данным В. Биржишки, в XVIII в. вышли 194 книги на литовском языке (Lietuviškos spaudos praeitis 1932, 124)). Тиражи книг также были большими: например, однократное издание отдельных книг в Супрасле достигало нескольких тысяч экземпляров (Лабынцев 1979, 175).

Таким образом, возникновение на территории Речи Посполитой во второй половине XVII и XVIII вв. новых старообрядческих обществ внесло дополнительный колорит в многонациональное общество ВКЛ. Так или иначе, в эпоху свертывания (ломки или трансформации) восточного христианства в Республике старообрядчество продолжило, оживило, а в случае поповцев, федосеевцев и преобразило православную традицию, но уже в формах русского древлеправославия. Наибольшее влияние они оказали на великорусских эмигрантов и этим способствовали появлению новых форм православия и восточно-славянской культуры, вследствие которых на бывших землях Речи Посполитой в XVIII–XX вв. Сформировались богатые традиции древлеправославия.

Литература

Вознесенский 1996 – Вознесенский А.В. Старообрядческие издания 18 – начала 19 века: Введение в изучение. Санкт-Петербург, 1996.

Вознесенский, Мангилев, Починская 1996 – Вознесенский А.В., Мангилев П.И., Починская И.В. Издательская деятельность старообрядцев (1701–1918). Материалы к словарю. Екатеринбург, 1996.

Воронцова 1991 – Воронцова А.В. О полемике «ветковцев» с дьяконовцами: малоизученные полемические сочинения представителей «ветковского» согласия // Мир старообрядчества. Вып. 1. Личность. Книга. Традиции. Москва–Санкт-Петербург, 1992.

Гарбацкі 1999 – Гарбацкі А.А. Стараабраднiцтва на Беларусі ў канцы XVII – пачатку XX ст. ст. Брэст, 1999.

Грицкевич 1984 – Грицкевич В.П. Массовая миграция русских в Литву и Белоруссию в первой половине 18 века как форма классовой борьбы против усиления крепостнического гнета (по опубликованным русским источникам) // Lietuvos Aukštųjų Mokyklų Mokslo Darbai, Istorija, t. 24. Vilnius, 1984.

Дегуцкий летописец 1990 – Хронограф, сиречь Летописец Курляндско-литовской / Подг. текста, вступ. ст. Г. Маркелова // В.П. Бударагин и др. (ed.) Древлехранилище Пушкинского Дома. Материалы и исследования. Ленинград, 1990.

Житие 1869 – Житие Феодосия Васильева, основателя федосеевского согласия, написанное сыном его, Евстратом, в 7250-м году // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете. Москва, 2 (V), 1869.

Заварина 1977 – Заварина А.А. Из истории формирования русского населения в Латвии во второй половине 18 – начале 19 века // Известия Академии наук Латвийской ССР, 1977, № 2.

Из истории мысли Белоруссии 1962 – Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Минск, 1962.

Лабынцев 1979 – Лабынцев Ю. Памятники древнерусской письменности в изданиях старооообрядческих типографий XVIII–XX вв. // Книга. Исследования и материалы. Москва, 1979 (Сборник 39).

Лилеев 1895 – Лилеев М.И. Из истории раскола на Ветке и в Стародубье XVII – XVIII вв., вып. I. Киев, 1895.

Любопытный 1863 – Любопытный П. Исторический словарь Староверческой церкви // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских, кн. 1, раздел 2, 1863.

Подмазов 1973 – Подмазов А.А. Церковь без священства. Рига, 1973.

Подмазов 1993 – Подмазов А. Старообрядчество в Балтийском регионе. Первое столетие истории // Reliģija. Vēsture. Dzīve. Reliģiska dzīve Latvijā. Rīga, 1993.

Поташенко 1998 – Поташенко Г. Первые старообрядцы в Литве: 1679-1710 // Lietuvos sentikiai: duomenys ir tyrimai. 1996-1997. Vilnius, 1998.

Поташенко 1999 – Поташенко Г. Старообрядческая Церковь в Литве в 17-м – начале 19-го века, Докторская диссертация. Вильнюсский университет. (компьютерный набор)

РГАДА – Российский государственный архив древних актов (Москва).

Русская мысль 1991 – Русская мысль в век просвещения / Н.Ф. Уткина, В.М. Ничик, П.С. Шкуринов и др. Москва, 1991.

СИРИО 1891 – Сборник Императорского русского исторического общества, 1891.

Смилянская 1999 – Смилянская Е.Б. К изучению историко-культурного значения Ветковско-Стародубского старообрядческого центра в XVIII–XX вв. // История Церкви: изучение и преподавание. Материалы научной конференции, посвященной 2000-летию христианства. Екатеринбург, 1999.

Смирнов 1895 – Смирнов П.С. История русского раскола старообрядчества. Санкт-Петербург, 1895.

Смирнов 1898 – Смирнов П.С. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. Санкт-Петербург, 1898.

Смирнов 1909 – Смирнов П.С. Споры и разделения в русском расколе в первой четверти XVIII века. Санкт-Петербург, 1909.

Старообрядчество 1996 – Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт энциклопедического словаря. Москва, 1996.

Устав Польский 1864 – Устав Польский // Сборник для истории старообрядчества. Москва, 1864.

Флоровский 1991 – Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.

Davies 1998 – Davies N. Dievo žaislas: Lenkijos istorija, t. 1. Vilnius, 1998.

Iwaniec 1977 – Iwaniec E. Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich. Warszawa, 1977.

Jaroszewicz-Pieresławcew 1995 – Jaroszewicz-Pieresławcew Z. Starowiercy w Polsce i ich księgi. Olsztyn, 1995.

Jurginis 1965 – Jurginis J. Renesansas ir humanizmas Lietuvoje. Vilnius, 1965.

Korzon 1897 – Korzon T. Wewnętrznie dzieje Polski za Stanislowa Augusta, 1764–1794, t. 1, Kraków-Warszawa, 1897.

Lietuviškos spaudos praeitis 1932 – Lietuviškos spaudos praeitis // Kultūra, 1932, Nr. 2.

Podmazovs 2001 – Podmazovs A. Vecticība Latvijā. Rīga, 2001.

Wielhorski 1953 – Wielhorski W. Stosunki narodowošziowe, wyznaniowe i językowe // Dzieje Wielkego Księstwa Litewskiego (Alma Mater Vilnensis), 1953.